

Леонтьевский центр

Научные труды

**Россия 1917–2017:
Европейская модернизация
или особый путь?**



Санкт-Петербург
2017

УДК 308
ББК 60
Р 76

Рецензенты:

*П. М. Лукичев, д-р экон. наук, проф.
А. Ю. Сунгуров, д-р полит. наук, проф.*

Р76 Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь? [Текст] / Под ред. А. П. Заостровцева — Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 240 с.

ISBN 978–5–900814–96–4

В сборнике собраны статьи представителей разных социальных наук. Его центральная тема — исторический путь России, что отражено в его названии. Однако труды историков в сборник не вошли. Эту проблему раскрывают экономисты, философы, юристы и политологи. Авторы не придерживаются единой точки зрения и часто не соглашаются друг с другом. Сборник будет интересен как специалистам в области социальных наук, так и всем интересующимся состоянием судьбами России и ее цивилизационными особенностями.

ISBN 978–5–900814–96–4



© МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
2017

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Об авторах.....	9
S. Hedlund. The Attraction of Extraction: Fundamental Institutions of Russian Long-Term Development Strategy.....	11
Ю. В. Латов, Р. М. Нуреев. Развилки развития российской власти-собственности в «век-волкодав» 1917–2017 гг.....	28
А. П. Заостровцев. «Служилое государство» в постсоветской России: II реинкарнация «Матрицы Московии».....	46
Г. Л. Тульчинский. Осмысление российских модернизационных инверсий: от А. Ахиезера к С. Хедлунду.....	69
П. А. Ореховский. Дискурс российской модернизации: неизбежность очередного провала.....	91
В. М. Широдин. Модернизация и реформы в России как взаимодействие парадигм.....	108
В. Л. Тамбовцев. Культура как основание «особого пути»: несколько критических замечаний.....	119
А. В. Оболонский. Идеологема особого пути, или «Особый путь» в цивилизационный тупик.....	135
А. Н. Медушевский. Миф русской революции: структура, эволюция и вклад в социальную трансформацию XX–XXI века.....	156
П. В. Усанов. «Новая экономическая политика» в свете австрийской школы.....	177

С. А. Афонцев. Эволюция промышленной политики:
универсальные модели и национальные приоритеты..... 190

ЛЕКЦИИ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛЕОНТЬЕВСКОЙ МЕДАЛИ «ЗА ВКЛАД
В РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 208

I. Mikloš. The End of Economic Liberalism?..... 208

Л. М. Григорьев. Различие целей и смена интересов
актеров в ходе трансформации..... 216

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этот раз регулярный сборник статей и докладов по материалам «Леонтьевских чтений» отличается спецификой, связанной с тем, что XVI чтения проходили в год столетия двух революций — Февральской и Октябрьской. И разговор, естественно, состоялся об исторических путях развития России. Само название чтений «Россия 1917–2017: европейская модернизация или особый путь?» свидетельствовало о том, что обсуждение будет дискуссионным. Так оно и получилось.

Открыл конференцию доклад шведского экономиста Стефана Хедлунда, название которого на английском звучало так: «The attraction of extraction: Fundamental institutions of Russian long-term development strategy». Смысл первых слов стал ясен только из самого доклада. *Extraction* на русский язык переводится довольно неуклюже, — тремя словами: добыча полезных ископаемых. Экстракция (но так кратко мы не говорим). Привлекательность добычи заключается в том, что доходы от природной ренты и их распределение лежат в основе российского порядка. И идут они преимущественно на милитаризацию. Об этом можно прочитать в открывающей сборник статье.

Хедлунд выделяет три фундаментальных института, сохраняющих преемственность в историческом времени: это — неподотчетное правительство, условная собственность и служилый нобилитет, который поддерживается посредством кормления. В работе описывается и маятниковый характер российской истории. Например, XX в. рассматривается как «длинное столетие», которое началось со смерти Александра III и вступления на престол Николая I, а заканчивается правлением В. Путина.

В статье Р. Нуреева и Ю. Латова описывается институциональная история России. Они рассматривают ее как гибридную (промежуточную) цивилизацию между Западом и Востоком. Поднимается вопрос об институциональной конкуренции различных исторических моделей развития и их выборе в точках бифуркации. Современная Россия определяется как наследница отношений власти-собственности, зародившихся еще в Московской Руси в результате импорта ордынских и османских институтов. В то же время авторы не исключают возможности перемен в направлении альтернативной европейской модели.

В статье А. Заостровцева «"Служилое государство" в постсоветской России: II реинкарнация "Матрицы Московии"» рассматривается институциональное ядро российского общества (Матрица Московии) на протяжении длительного исторического времени. Выделяется шесть его базовых характеристик и описывается их трансформация в рамках сохранения традиционного общества: самовластье, имперство, власть-собственность, антиличность, сословность и административная рента. Советский социализм трактуется как традиционное общество современного типа в версии 1.0 (ТОСТ-1.0), а современная Россия как ТОСТ-2.0. Делается вывод о том, что «особый путь» России обусловлен ее антагонизмом по отношению к Западной (правовой) цивилизации и представляет собой устойчивую историческую колею, выход из которой маловероятен в силу укорененной политико-экономической культуры.

Представленная в данном сборнике работа Г. Тульчинского «Осмысление российских модернизационных инверсий: от А. Ахиезера к С. Хедлунду» дает варианты объяснения инверсивного характера российских модернизаций в XX–XXI столетиях. Она содержит обзор ряда таких объяснений как поспешные плохо продуманные решения, патологичность российского опыта, особый путь. Представлены и аргументированы слабости таких объяснений. Трудности объяснения связаны с доминирующей позитивистской парадигмой в экономике и политологии. Позитивистский подход сводит объяснение к подведению под общую категорию, кроме того он элиминирует активность актора, его мотивацию и волю. Предлагается возможность конструктивистского подхода, который позволяет реконструировать реформы как конкуренцию идей, выбор решения, его реализацию. Такое объяснение вскрывает главные проблемы модернизации российского общества: доминирование государства, отсутствие других реальных социальных сил, незавершенность вопроса о собственности. Это порождает общую невменяемость, безответственность, симуляционный характер российских реформ, отсутствие политической воли к их реальному осуществлению.

П. Ореховский пишет о неизбежности очередного провала российской модернизации. Распад СССР и возврат к капитализму сопровождался большими потерями национального богатства, деиндустриализацией, ростом преступности. После стабилизации вновь возникает дискурс модернизации, возврата России на магистральный путь развития, переноса и адаптации западных институтов на отечественную почву. Однако XXI век — время постмодерна, в этот период возникают и действуют другие социальные акторы. Буржуазия, рабочие, крестья-

не — уходящие социальные группы. Дискурс модернизации — идеологическая конструкция, маскирующая неадекватность российской экономической науки нынешним реалиям.

В статье В. Широнина предпринята попытка структурирования темы модернизации применительно к России. Традиционно этот вопрос ставился как задача государства, цель которого состоит в продвижении страны и общества по пути прогресса. В статье предложено рассматривать более общий вопрос о взаимодействии нескольких социальных парадигм — исторической российской парадигмы власти, системы восточно-христианского мировоззрения и западноевропейской «технологии» общественной организации. Утверждается, что когнитивный анализ этих парадигм позволит лучше понимать динамику их взаимодействия.

Статья В. Тамбовцева посвящена критическому анализу попыток обосновать неизбежность особого пути России особенностями культуры ее населения. Показано, что популярная трактовка культуры как системы ценностей не отражает содержание культуры, а знание социетальных ценностей, характеризующих население в целом, не может характеризовать ценности отдельных индивидов, в первую очередь — потенциальных агентов изменений. Отсутствие научных данных о культуре последних означает также и отсутствие эмпирических оснований для формулирования каких-либо научных выводов о влиянии российской культуры на ход и будущее социально-экономического развития страны.

Работа А. Оболонского представляет многоаспектную критику концепции «особого пути» России, являющейся, по мнению автора, идеологической легитимацией авторитаризма. Аргументируются неадекватность подхода с позиций исторического фатализма и простого эволюционизма, а также якобы «сакральности» российской власти в массовом сознании. Рассматривается ряд критических перекрестков в российской истории, когда страна по разным причинам не смогла перейти на иную «колею» развития, которая создала бы предпосылки для ее подлинной модернизации, и в то же время отсутствие цивилизационного запрета на такой переход в близком будущем, а также факторы, могущие этому способствовать. Обозначены психологический и социально-этический аспекты анализа проблемы. Рассмотрена цена избыточного экономизма в либеральной концепции развития страны в постсоветский период, а также вред и опасность технократического подхода к социально-политическим вопросам.

А. Медушевский пишет о мифе русской революции. Суть статьи — в реконструкции революционного мифа и его роли в создании совре-

менной России. Автор анализирует его социальные корни, генезис, фазы трансформации и функции в процессе социальной мобилизации XX века, показывая, как изменялся баланс традиционализма и модернизации. На основе когнитивной теории и сравнительного подхода он изучает русский революционный цикл, раскрывая его характерные черты, логику социальной трансформации и преемственность легитимирующей формулы политического режима.

В статье П. Усанова рассмотрены причины, вынудившие большевиков пойти на экономические реформы в 1921 году, а также описаны результаты реформ и то, как согласовывалась политика НЭПа с политическими интересами элит. Исследованы идеи экономистов 1920-х годов, разделявших взгляды австрийской школы, продемонстрированы итоги дискуссии о НЭПе.

А. Афонцев исследовал эволюцию промышленной политики с позиции универсальных моделей и национальных приоритетов. В статье доказывается, что модернизация России не может быть связана с архаическими представлениями о промышленной политике в виде моделей импортозамещения, а должна ориентироваться на современные ее образцы, поощряющие технологические прорывы и повышение конкурентоспособности продукции.

В лекции лауреата Международной медали им. Василия Леонтьева (2016 г.) «За вклад в реформирование экономики», бывшего вице-премьер-министра и министра финансов Словакии Ивана Миклоша было показано значение экономической свободы для успешного экономического развития. На примере нескольких стран — Ирландии, Швеции и, конечно, Словакии были показаны истории успеха либеральных преобразований.

Второй лауреат этой же медали — главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Леонид Григорьев посвятил свое выступление проблемам российских реформ. В нем отражена вся палитра их особенностей и сложностей получения нужного результата. Докладчик полагает, что реформатор должен, в первую очередь, руководствоваться принципом «Не навреди!».

С лекциями обоих лауреатов можно познакомиться в данном сборнике.

А. П. Заостровцев, научный редактор

Организатор XVI Ежегодной международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» — «Россия 1917–2017: европейская модернизация или особый путь?» — Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». Информационные партнеры — журналы: «Экономическая политика», «Общественные науки и современность», «Финансы и бизнес».

ОБ АВТОРАХ

Афонцев Сергей Александрович — доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, профессор МГИМО МИД России.

Григорьев Леонид Маркович — ординарный профессор, руководитель Департамента мировой экономики и заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Заостровцев Андрей Павлович — кандидат экономических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Латов Юрий Валерьевич — доктор социологических и кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Медушевский Андрей Николаевич — доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий эксперт Института права и публичной политики.

Миклош Иван (Ivan Mikloš) — экс-вице-премьер и министр финансов Словацкой Республики.

Нуреев Рустем Махмудович — доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Оболонский Александр Валентинович — доктор юридических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ореховский Петр Александрович — доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Тамбовцев Виталий Леонидович — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории институционального анализа экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Тульчинский Григорий Львович — доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Усанов Павел Валерьевич — кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, директор Института экономики и права им. Фридриха фон Хайека.

Хедлунд Стефан — PhD по экономике, профессор Восточно-европейский исследований в университете Упсала (Швеция).

Широнин Вячеслав Михайлович — кандидат физико-математических наук, руководитель Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

S. Hedlund

**The Attraction of Extraction:
Fundamental Institutions of Russian Long-Term
Development Strategy**

A full century has now passed, since the Bolshevik revolution put an end to the Russian Empire. It has been a turbulent time, marked by wars and revolutions and by visions of very different futures that have been repeatedly disappointed. From a perspective of institutional theorizing, it may all be viewed as a series of “natural experiments,” providing the closest we can get to laboratory-like conditions for evaluating the prospects for achieving sustainable institutional transformation by way of direct agency.¹

The main ambition of the present paper is to explore what may be learned from those experiments, from the Bolshevik ambition to create a utopian new order and from the subsequent neoliberal ambition to create in Russia the most radically deregulated market democracy ever experienced. Both projects were preceded by state failure and by beliefs in a “window of opportunity,” where the slate had been wiped clean for inscribing a new institutional order. Neither succeeded in realizing the implied visions.

Although the two experiments differed widely on several counts, not the least of which concerns the degree of violence involved, they remain similar in one important sense. Both attempted to create a fundamentally new social order, by way of rewriting the formal rules of the game. They did so, moreover, in a direction that came into fatal conflict with those underlying informal norms that, per institutional theory, serve to provide legitimacy for the rules. They in consequence failed to achieve their objectives.

These insights demonstrate why the assumption of mainstream economics, that actors are instrumentally rational and forward looking, may at times be wide of the mark, ignoring the captivating influence of historical legacies. They in consequence suggest there are serious limitations to ambitions of social engineering, and they provide an important additional dimension to already complex theories of modernization.

¹ Thad Dunning, *Natural Experiments in the Social Sciences: A Design-Based Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

A key question that arises here concerns whether developments during the past century provide evidence of a Russian *Sonderweg* that has defied or thwarted ambitions to undertake European-style modernization. Without pre-empting too much of the subsequent discussion, it may be noted that all countries have their own specificities that in various ways, and to various degrees, influence how development proceeds.

It was after all the Germans who invented the notion of a *Sonderweg*, and the German self-identification with ideals of nation and romanticism has left a powerful mark. Something similar may be said about Swedish self-identification as a “moral superpower,” and indeed about American beliefs in being a “beacon of freedom.”

The bottom line is that we are dealing not with objective facts but rather with subjective feelings that filter how opportunity sets are perceived, and in consequence how strategies for action are formulated. Some countries are marked by formative patterns of self-identification that are deeply rooted, and different from the standard pattern of historical economic development. As evidenced by traditional Russian discourse, Russia does present a powerful case of perceived specificity.

Although the main focus of the paper will be aimed at the cumulative experiences of the century that has now passed, since the October Revolution, it may be helpful to place those experiences into a deeper historical context. If the time span is expanded to cover the past millennium, it will transpire that long-term Russian economic development has been driven by a set of fundamental institutions that have proven to be highly resilient, surviving even the most determined ambitions to chart a new course. This suggests the presence of powerful path dependence.²

It should be noted that there was nothing in the early stages to suggest that subsequent developments would become locked into a special path, or a *Sonderweg*. It was a set of special circumstances, around the fifteenth century, that gave rise to a highly specific institutional transformation, which at the time was quite rational.

The challenging question concerns how those institutions could develop such resilience, despite over time being rendered less and less suited to solving problems posed by a changing context, i.e. to adapt to modernization and globalization (before those terms came into vogue).

Although the main emphasis of the following argument will be placed on exploring historical patterns, it does seem reasonable to start in the present day, with prevailing realizations that Russia's economic growth model has run out of steam and needs to be replaced or at least revamped.

² Stefan Hedlund, *Russian Path Dependence* (London: Routledge, 2005).

End of the Road

During the first two terms of the Putin presidency, Russian economic policy making was marked by increasing complacency. As petrodollars gushed in, the early drive towards fundamental reform was replaced by a broad sense that a life lived off resource rents was more agreeable than one spent fighting for painful and politically disruptive reforms. Much time, and much political capital, was wasted basking in the shine of the black gold.

Following the collapse in the price of oil, concern has been growing that prices of oil around \$50 per barrel may represent the “new normal,” and that this calls for a drastic shift in policy. This reaction is understandable, but it misses the key point.

If the Russian economy had been marked by institutional flexibility, then the drop in hydrocarbon revenues would have presented a fiscal and monetary challenge to be overcome. But the economy is not flexible. It is in contrast mired in structural rigidities that explain why so many give voice to such pessimism about the future. It is likely the case that even if the price of oil were to come back to much higher levels, this would still not be sufficient to breathe new life and dynamism into the Russian economy.

It is symptomatic that so few see any cures that may be realistically implemented. There is broad consensus that the country’s reliance on resource-based growth has been exhausted. Even President Putin himself has recognized this. And there is no shortage of suggestions concerning what *could* be done. The problem is that such suggestions tend to founder on the sharp rocks of realism concerning political and other restrictions that cannot be easily relaxed.

The presumed need for diversification away from dependence on the extractive industries has been around for some time. Although it does beg the question of what sense there is in moving against obvious comparative advantage, it has been a standard fixture in advice offered by actors like the World Bank and the IMF.

Many have also liked to expand on dimensions of the notorious “resource curse.” It may be intuitively appealing to agree that the bonanza of sudden hydrocarbon wealth has acted as a curse of sorts. It has been associated with numerous pathological reactions, ranging from complacency in addressing needs for reform to massive corruption and temptations to play hardball with neighbors that depend on Russian energy imports. But it is far from clear that the “curse” has been brought about by oil.³

An immediate objection is that Norway has developed a dominant oil sector without falling prey to any form of curse. Other objections sug-

³ Stefan Hedlund, *Putin’s Energy Agenda: Contradictions of Russia’s Resource Wealth* (Boulder: Lynne Rienner, 2014, pp. 31–35).

gest that the econometrics used to prove the existence of a resource curse have been wide of the mark, that a longer time span would support a more intuitive understanding that having large resource endowments represents a blessing rather than a curse.⁴

The bottom line is that to the extent that revenues from hydrocarbon exports have been damaging, the roots go deeper than the discovery of oil. To drive this point home, it may be illuminating to recall what was written by Vladimir Putin, during his time at the Mining Institute in St. Petersburg, at the end of the 1990s.⁵ Both his doctoral thesis and a couple of subsequent articles expanded on two important themes.

One is that the market must not be allowed to operate in isolation from the state. Given the background of chaos and mass looting that prevailed during the predatory capitalism of the 1990s, this was an understandable conclusion. Once Putin had assumed power, he also proceeded to develop an emphasis on “national champions” that featured re-nationalization — formally as well as informally — of privatized energy companies.

While the latter may be viewed as part of a political agenda, aiming to enhance the power of the Kremlin, the focus on state and market together also illustrates a more fundamental insight. Already in the early 1950s, Lionel Robbins noted that “the pursuit of self-interest, unrestrained by suitable institutions, carries no guarantee of anything but chaos.”⁶ As would be evidenced by shock therapy, the dangers involved in sweeping deregulation were quite substantial. Putin in this sense was quite correct, albeit perhaps for the wrong reasons. Still, the key question remains. What are suitable institutions?

The second theme in Putin’s early writings held that resource rents must be allocated to support other sectors of the economy. In the present context, this is perhaps even more important, recalling a centuries-old pattern of Russian economic development.

The main problem with the current focus on the resource curse, and on the associated need to “get off the oil needle,” is that resource-based growth has been the hallmark of Russian economic development since times long before oil was discovered. This has left a heavy imprint on the country’s institutional make-up, promoting the formation of institutions that support resource extraction.

⁴ Michael L. Ross, “The Political Economy of the Resource Curse,” *World Politics* 51, no. 2 (1999).

⁵ Thane Gustafson, *Wheel of Fortune: The Battle for Oil and Power in Russia* (Cambridge, Ma: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012, pp. 246–54).

⁶ Lionel Robbins, *The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy* (London: Macmillan, 1952, p. 56).

To the extent that hydrocarbon revenues have had a negative impact, the causality has in consequence been via institutions long in place. Even a cursory sweep through the past millennium will reveal a distinct pattern of institutional development that is marked by a move from commerce to extraction.

In his grand exposé over Russian cultural history, James Billington starts out by presenting Russian culture as a tale of three cities — Kiev, Moscow and St. Petersburg. From a perspective of socio-economic development, that tale may also be viewed as a tale of three possible paths for Russia, based on three very different contexts and sets of institutions. Given the late arrival of St. Petersburg, for the purpose at hand it may be defined instead to include Kiev, Novgorod and Moscow

In the early days, Kievan Rus emerged as one of the most lucrative trading operations in Europe. From the spring collection point in Kiev, annual expeditions down the Dnieper to the Black Sea carried major cargoes of wax, furs, honey and slaves to markets in Constantinople. It is true that this trade was organized, by the Varangians, as a sort of protection racket, leaving little room for the emergence of a state. But it did remain an operation based on commerce that generated massive wealth. It in consequence is probably true that peasants did not suffer much from serfdom. These were features that must have had aformative impact on fundamental beliefs and expectations.

It is tempting to speculate that Kievan Rus *could have* developed into a Central European power, but that was not to be. It instead ended up being destroyed by the Mongols. Kiev was razed to the ground in 1240, and it would be more than a century until organized socio-economic activity of any significance could again be observed.

Turning to the case of Novgorod, it too was a commercial trading enterprise, with the city itself serving as the hub in a vast colonial hinterland that almost enveloped Moscow. It formed an important component of the Hanseatic trading league, again exporting wax, furs and honey (but no longer slaves). The type of institutions that emerged were again geared into supporting commerce, now with the addition also of elaborate institutions of governance.

Novgorod was ruled by a popular assembly, the *veche*. It did have a ruling Prince, who served as commander in chief, but he was employed under a contract that compelled him to reside outside the city limits and prohibited him from having any business interest on the inside. In addition to popular rule, Novgorod also featured secure rights to property even for women, long before any other European power.

Yet, much as the Mongols had destroyed Kiev, Novgorod would end up being destroyed by Moscow. Following a century of conflict that began

with a limited assault in 1471, in 1570 Ivan IV launched a final devastating assault that entailed wholesale killings, cementing his reputation as a “terrible” tsar.

Those who were not killed were deported, and replaced by loyal subjects from Muscovy. This was the first case of mass deportations (*vyvody*) that would later be associated with Joseph Stalin. For good measure, even the large bell that had been used to announce meetings of the *veche* was removed to Moscow.

Although later accounts would make much of Pushkin’s immortal depiction of St. Petersburg as Russia’s “window on Europe,” the roots of a Novgorodian Russia that *could have* become part of the Nordic sphere of Europe were destroyed there and then, at the hands of Ivan the Terrible.

The bottom line of the contrast between the three cities in question is that any ambition to look for historical roots of present-day developments in Russia must begin not in Kiev or in Novgorod, but in Moscow. And it must focus on how horizontal institutions that had emerged to support commerce were transformed into hierarchical institutions put into place to support resource extraction and centralized control.

Survival for the Weak

Although professional historians will be loath to accept that any process of socio-economic development has a unique origin, a solid case may be built to suggest that the institutions that emerged in Muscovy did represent a drastic change in course.

In the early days, Novgorod and Kiev formed the principal parts of what was known as the “road from the Varangians to the Greeks.” They were at the top of the peculiar system of rotation between princes of the Rurikide dynasty that defined Kievan Rus. Moscow at first formed a very minor part of what in effect was a federation of cities ruled by relatives in a strict pecking order. The watershed arrived as Moscow grew in power and gradually incorporated all the other minor principalities in the northeast.

As the Princes of Moscow morphed into Grand Princes of Muscovy, they were faced with a formidable challenge. They lived in a part of the world that was not only cold, dark and barren, meaning that survival was constantly at stake. It was also distant from markets and trade routes, meaning there was little alternative employment. And it was a neighborhood marked by hostile nomad raiders who would repeatedly torch villages and carry off inhabitants as slaves.

Like so many other states that have come and gone throughout history, some leaving little trace, the odds were not in favor of survival. Yet, Muscovy not only survived — it morphed first into a Russian Empire and then into a Soviet Union.

The key to their success was the formulation of a set of institutions to solve the problem of facing tough neighbors with a weak resource base. The core of what Marshall Poe refers to as “survival for the weak,” was an initial agreement that one of the princes would serve as *primus inter pares*, as the first among equals.⁷ The main effect of what would evolve into a fully-fledged autocracy was to secure unified command and control. The Grand Prince was given the right to pool and coordinate common resources for a common purpose. It was a rational solution, securing survival against all odds.

It began with the need to provide security against marauding bands of nomads from the east. The practical solution was to erect military garrisons along the frontier. Since the Muscovite princes were perennially short of resources, boyars who accepted such postings were given land in return for service. This was the origin of what would come to be known as a “service nobility.”

The hallmark of institutional development in early Muscovy would in consequence be the transformation of property rights, from the hereditary property (*votchina*) that prevailed in Kiev and Novgorod, and in early Muscovy, to a form of conditional property (*pomestie*) that would mark both late Muscovy and the subsequent Russian Empire. This transformation took place gradually. During the fifteenth and sixteenth centuries, nobles would hold both types of property. The watershed arrived, as noted above, with the destruction of Novgorod.

The combination of autocratic rule and conditional rights to property had two corollary effects that would leave a heavy imprint on the institutional matrix of late Muscovy, and of the subsequent Russian Empire.

The first was the practice, originated with the military garrisons, of remunerating officials by means of simply allowing them to feed off the peasants under their jurisdiction, to *kormitsya ot del*. The reliance on “feeding,” or *kormlenie*, as a way of meeting implied needs for state expenditure did alleviate a serious budget constraint for the ruler. In so doing, however, it prompted his servitors, the *kormlenshchiki*, to develop skills in playing influence games. As postings would be rotated between the boyars, and as some postings would be much more lucrative than others, the key to individual success rested in getting as close as possible to the Grand Prince.

⁷ Marshall T. Poe, *The Russian Moment in World History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003).

The second, corollary effect was the emergence of a culture of voluntary political slavery. Recalling patterns familiar from the Imperial court in China, members of the court in Muscovy would practice ritual prostration before the Grand Prince. Known in China as *koutou*, it became known in Muscovy as *chelobitie*. When addressing the Grand Prince, even senior nobles were forced not only to *koutou* but also to refer to themselves in the third person diminutive: “I, Ivashka, your slave” (*Ya, Ivashka, kholop tvoi*).

It was not surprising that an early traveler from Europe visiting Muscovy in the latter part of the sixteenth century, following the discovery by Richard Chancellor of the White Sea route in 1553, could pen a book about his impressions that was given the title *Rude and Barbarous Kingdom*.⁸ Yet, what accounts of this kind failed to realize was that being a “slave” to the Grand Prince was a mark of distinction and a potential source of great income and wealth.

The essence of the institutional matrix that emerged to define Muscovy was a set of norms defining the relation between patron and client, or between principal and agent. It did have superficial similarity to the European feudal pattern of *vassalage*, of providing protection in return for fealty. But it was also fundamentally different, in having no parallel to the core feudal principle of a right to rebel if obligations were not honored. Describing the *pomestie* system as “conditional property rights” is partly misleading, in the sense that it was a clearly defined one-way street.

The fact that the norms that evolved to support this relation would remain so resilient over coming centuries suggests that they were internalized to a degree that would have profound impact on strategies for action. The Muscovite pattern was heavily personalized, marked by dependence on the principal that in turn led to patterns of action known in present-day social science literature as rent seeking, influence games and state capture. This stands in sharp contrast to the increasing depersonalization and growing trust in anonymous agencies that is normally associated with the emergence of successful market economy.

A Long Century

Using a phrase that is common amongst historians, Russia’s twentieth century may be viewed as a “long century.” The original illustration is the “long” seventeenth century, dating from the death of Tsar Ivan IV, in 1588,

⁸ Lloyd E. Berry and Robert O. Crummey (eds.), *Rude & Barbarous Kingdom: Russia in the Accounts of Sixteenth-Century English Voyagers* (Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1968).

until the death of Emperor Peter I, in 1725. The main purpose in thus deviating from a more traditional periodization of chronology is that it allows us to look at a full cycle of institutional developments, from state collapse via various adjustments to complete restoration.

In a paraphrase of economics terminology, such a cycle may be viewed as a case of “systemic revealed preference,” capturing how a set of institutions destroyed by massive dislocations either is replaced by a new and different set or becomes re-installed.

The triggering event is a determined push to fundamentally reshape a country’s formal institutions. This may proceed via violent revolt or via a more peaceful policy to achieve “systemic change.” Thus far it is quite clear who the actors are — a revolutionary vanguard or a group of determined reformers. This also is where it becomes important to draw a line between revolt and revolution.

What follows in the wake of an urban civic revolt, or the introduction of a radical reform package, is a period of adjustment during which actors develop strategies to derive gain from the new realities. As rival agendas come into conflict, the outcome may end up being very different from what the instigators of the change had envisioned. The theoretical challenge entailed here lies in seeking to understand how sets of informal norms influence how actors perceive and in consequence act upon a new set of rules.

If the period of adjustment ends with a set of institutions fundamentally different from those that prevailed at the outset, then it may be concluded that the initial change in the formal rules was successful in winning support from sets of informal norms (traditional or newly evolving) that provided legitimacy for the new rules and thus alleviated the burden on enforcement. If, however, the outcome is marked by reversal to the initial set of institutions then it must be concluded that the new formal rules came into conflict with and were defeated by underlying informal norms.

An obvious exception to this rule is the imposition of brutal repression, whereby rules that deviate from norms may still be upheld. This exception will be associated with the emergence of complex informal norms that seek to rationalize and come to terms with feelings of dual realities. It will not be pursued further here.

The core of the argument is that the outcome of a process of institutional change will be determined by the formation of expectations that are derived from beliefs that in turn are rooted in values. The point in referring to “revealed preference” lies in highlighting that there will be cases where the “system,” defined here as a set of commonly held and deeply internalized norms, rejects the new rules, much as the human body will in some cases reject a transplant.

The reality behind the medical analogy is that actors who do not perceive new rules as legitimate, or as being in line with their own best interest, may respond by evading, avoiding or tampering with those new rules. Since informal norms are largely outside the reach of deliberate policy, any ambition to achieve a fundamental institutional transformation that fails to seriously consider the nature of prevailing norms will be bound to produce results that are very different from those anticipated.

One important caveat will be in order here. Even in cases where the set of institutions that emerges at the end of a process of attempted change bears striking resemblance to the initial set, one needs to be careful in equating the two. Those who so love citing the French epigram *plus ça change, plus c'est la même chose*, will need to recognize that history does always move forward, that, for example, Russia after the Bolshevik Revolution could never again be the same as Russia before that event.

This seemingly trivial observation goes to the very core of what drives institutional change. Exogenous drivers are straightforward policy interventions that reflect visions and ambitions to reach certain goals. Endogenous drivers in contrast are indirect, derived from sets of informal norms that are complex, poorly understood and outside policy reach.

Since norms are formed based on experience, and since experience is never static, it follows that norms will evolve over time, in the process transforming the filters that actors use to decode changes in the rules. It is for this reason that the epigram on *plus ça change* must be used with caution.

Social norms that are upheld by mechanisms of shaming and opprobrium may be deliberately introduced and manipulated, via a combination of penalties and public awareness campaigns. Campaigns against smoking and littering form excellent examples. But such observations still leave largely unanswered questions concerning how and if these social norms may be internalized and become part of a deeper-rooted structure of values and beliefs. The latter explains why social norms may not be all that successful in dealing with socially harmful behavior such as corruption and honor killings.

The bottom line is that any ambition to promote fundamental institutional change must begin by assessing how individual actors will respond. Simply assuming that they will act as textbook economic men, instrumentally rational and forward looking, will not be very helpful. It will not answer the question of exactly *how* actors will seek to maximize personal gain — by pursuing an encompassing interest that dictates placing the common interest first, or a narrow interest in bending and/or evading rules.

The core problem has been eminently formulated by Avner Greif: “Understanding how property is secured requires knowing why those who

are physically able to abuse rights refrain from doing so.” His point is that “behavioral prescriptions — rules and contracts — are nothing more than instructions that can be ignored. If prescriptive rules of behavior are to have an impact, individuals must be motivated to follow them.” And his understanding of “motivation” sums it all up: “By motivation I mean here incentives broadly defined to include expectations, beliefs, and internalized norms.”⁹

Returning to the imagery of a long century, Russian history offers two striking illustrations of cycles of institutional change that are triggered by state failure, proceed via adjustment and conclude in restoration. The formative experience dates back to the end of the sixteenth century and the “time of troubles” (*smutnoe vremya*) that marked the transition into the seventeenth.

The triggering event was the death, in 1584, of Tsar Ivan IV. His reign had been associated with foreign wars and wholesale terror that left the state seriously weakened. What followed was a period of drift, towards the collapse of Muscovy that is normally associated with the death, in 1598, of Tsar Fyodor. During the subsequent 15 years, all was up for grabs. False tsars laid claims to the throne. Foreign troops invaded from the west (Swedes) and from the south (Poles), at one point reaching into the Moscow Kremlin itself.

The “troubles” ended in 1613, when the nobility and the Church joined hands in an effort to call an Assembly of the Land, a *zemskii sobor*. The outcome of this historic event was to unite the country behind a new tsar, Mikhail Romanov, the first in a dynasty that would rule Russia for three centuries to come.

Given that Mikhail was selected from one of the lesser families, the nobles had it within their power to impose a set of restrictions on the incoming ruler, much as the English nobles would do in 1688, when inviting William of Orange to replace King James II. The “heads of grievances” that were presented to William formed the basis for what would come to be known as the Glorious Revolution, an institutional transformation that paved the way for power sharing and for the Industrial Revolution.¹⁰

The Russian nobles *could have* gone down that path, but they opted not to do so, instead agreeing that Tsar Mikhail would enjoy the same formally unlimited powers that had been wielded by Ivan the Terrible. In a somewhat pointed formulation, it may thus be said that the first democratic choice ever made by the Russians was for autocracy.

⁹ Avner Greif, *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 7–8).

¹⁰ Edward Vallance, *The Glorious Revolution, 1688: Britain's Fight for Liberty* (London: Little, Brown, 2006).

This forms a poignant illustration of revealed institutional preference, of the role of determinants of individual action that are lodged in deeply entrenched systems of informal norms. The nobles arguably made the choice they did because they felt that restoring the old order was in the collective best interest. The seventeenth century then offered a period of consolidation and territorial expansion that paved the way for Peter the Great. By the time when he was proclaimed Emperor, in 1721, the previously omnipresent danger of extinction by invasion had been removed.

Turning now to look at the “long” twentieth century that is infocus in the present paper, the starting point may be conveniently associated with the death, in 1894, of Emperor Alexander III, and the conclusion with the end, in 2008, of the second term of the Putin presidency. Its beginning is similar to that of the long seventeenth century in the sense that the first decade of rule by Emperor Nicholas II (the last of the Romanov tsars) may be compared to the decade of rule under Tsar Fyodor (the last of the Muscovite tsars). Both were periods of drift, leading up to state failure — the collapse of Muscovy and the collapse of the Russian Empire.

In contrast to the original, the “long” twentieth century may be broken down into two sub-cycles, marked by very different visions and ambitions. The first proceeded from the collapse of Empire to the creation of the USSR, and the second from the collapse of the USSR to the creation of Putin’s Russia.

The first “time of trouble” of this century may be dated from 1905, when Nicholas II issued his October Manifesto, to the creation, in 1922, of the USSR. As in the original case, it featured state failure including mass looting and a fragmentation of the state itself into numerous territories with rival sets of rulers. At the peak of the troubles, there were 18 different governments on the territory of the Russian Federation.

Once the Bolsheviks had gained the upper hand, they set about installing a “vertical of power” and to implement a reversal of all reforms that had been undertaken since the 1860s, effectively returning Russia to its long-term trajectory. Much as the seventeenth century had witnessed consolidation that paved the way for the creation of the Russian Empire, the twentieth saw consolidation that led the USSR to evolve into a superpower with global reach, on par with the US in military terms.

The second, shorter part of the long twentieth century was begun with the collapse of the USSR, conveniently dated here to 1989. As in the prior cases, it again featured state failure, including mass looting and territorial fragmentation. The USSR was dissolved into its 15 constituent parts, and for some time it looked like the Russian Federation might follow suit, in turn breaking up into its (89) constituent parts. Although the latter was averted,

the decade from 1989 until 1999 was a renewed “time of trouble,” when Russia appeared to be headed for irrevocable collapse.

The restoration was begun with the election, in March 2000, of Vladimir Putin as president. As was the case with the USSR, he began his rule by putting into place a vertical of power and by initiating a reversal of all reforms that had been implemented in the 1990s. Although the formal institutions of democracy and market economy survived, they were subjected to a process of what Marie Mendras has referred to as “hollowing out,” i.e. being deprived of real content and function.¹¹ This reflects rather strongly that action is driven not by rules alone.

By the time when Putin handed over his formal powers to Dmitry Medvedev, the restoration may be said to have been completed. Although the interregnum under Medvedev did add another episode of turbulence, peaking in the mass rallies that marked the winter of 2011–12, once Putin had returned to the Kremlin, in March 2012, he proceeded to ruthlessly stamp out all signs of opposition.

It should be recognized that all kinds of objections may be validly raised to the above representation of Russian historical developments. The purpose here has not been to present an outline of Russian history, but merely to present a set of stylized facts to serve as background to the ambition of exploring the role of historical legacies in present day predicaments. The following will place the subsequent discussion of path dependence into a context of pattern recognition and pattern reproduction.

Pattern Recognition and Reproduction

Anyone who looks back at Russian history will be struck by the presence of certain patterns or institutional solutions that tend to be repeated over time. Condensing what has been said above, there are three such that merit special attention, namely, authoritarian rule, conditional property rights, and extraction of resources to support defense.

The tradition of authoritarian rulers spans from Ivan the Terrible, to Peter the Great, Joseph Stalin and, arguably, Vladimir Putin. While outside observers have tended to highlight this tradition as a case of variously named despotism, of a country being “unfit for democracy”, Russians themselves have taken a more complex view.

It is important to note that the English language rendition of the name of the originator of this tradition has been rather unfortunate. Tsar Ivan IV is

¹¹ Marie Mendras, *Russian Politics: The Paradox of a Weak State* (New York: Columbia University Press, 2012).

known in Russian as *groznyi*, which is a much broader concept than simply “terrible.” It would have been better rendered as “awesome,” the point being that while some of his actions were terrible indeed, he also inspired both respect and admiration, for being a strong tsar.

It is the latter that has formed the mainstay of the tradition. While Peter the Great would not shy back from acts of wanton cruelty, he also transformed Russia into an empire. While Joseph Stalin was guilty of terror on par with that of Ivan Groznyi, he also transformed Russia into a superpower. And for all the critique that has been aimed at Vladimir Putin, his stellar approval rates have shown that he does have broad popular support for his program of making Russia great again.

The analytical point in holding up a long-term pattern of authoritarian rule goes beyond the open manifestations of terror and despotism. The key lies in the formation of institutions to support unaccountable government. This must not be taken to mean that power is absolute. It is trivially true that there can be no such thing. What it does mean is that there is a strong tradition of absence of formal rules and enforcement mechanisms by which rulers may be held accountable for their actions, i.e. via due process rather than a knife in the back or being smothered by a pillow.

The second pattern concerns the role of the state in relation to economic activity. The standard story of “alternative economic systems” holds that central economic planning, also known as “command economy,” was an invention associated with Stalin and the first five-year plan. If the focus is aimed merely at the massive bureaucracy, and at the mathematic planning tools that were involved, this is obviously true. But if the perspective is broadened, to include the nature of the relation between ruler and economic subjects, then a different picture emerges.

From Muscovy onwards, economic relations have been defined by vertical dependency rather than horizontal coordination. Although Peter came to be known for his opening of a window on the West, it was a temporary exercise in imitation rather than a fundamental “westernization.” The emphasis that would be placed by the Gorbachev era reformers on the “Swedish model” was in this sense nothing new.

Peter found in his northern neighbor a solid authoritarian state that had much to teach. He copied both the Swedish bureaucracy and the Swedish system of military recruitment, but he did so with a Russian twist. Although the *kollegia* in St. Petersburg were copied to the point even of carrying Swedish names, they would operate in a Russian fashion, and the Swedish army featured nothing comparable to the lifetime service of the Petrine *rekryutschina*. Most importantly, St. Petersburg was formed by boyars ordered to move there, and built by serfs driven across the country in chain

gangs. Peter himself summed up the essence of his policy rather eloquently, noting that “We need Europe for a few decades, and then we must turn our back on it.”¹²

The third pattern concerns extraction of resources for the purpose of building military defense. As noted above, this was developed in Muscovy, featuring *kormlenie*, influence games and the emergence of a service nobility. It was put to the test with Peter’s mobilization of Russia for total war, following the stunning defeat against Sweden at Narva, in 1700. It came to define the Soviet order, and it is being carried over into the present day — ranging from power vertical and structural militarization to the projection of enemies and foreign agents.

In an overall perspective, it is the latter that constitutes the main driving force in long-term Russian path dependence. The “fundamental institutions” that appear in the title of the present paper are unaccountable government, conditional property rights, and a service nobility that is sustained via *kormlenie*. The rationale that serves to maintain them is a deeply entrenched belief that this is what safeguards security of the nation.

The point in drawing a line between path dependence and pattern recognition lies in highlighting the need to identify by what means pattern reproduction takes place. The historical record in Russia features sharp swings of the pendulum, from reform to reaction and back, from markets to centralized control and back, and from open borders to autarchy and back.

The trigger for swings towards liberal reform has tended to be associated with defeats in war, prompting realization that economic underperformance leading to military defeat can only be cured via reform. The trigger for reversal has been a perception that liberal reform in the face of outside pressure generates weakness and danger that can only be overcome via reversal of reforms. This is where the core point about the “attraction of extraction” becomes relevant — it is only by pooling common resources under single command that effective defense can be ensured.

Conclusions

The main ambition of the present paper has been to explore what may be learned from Russia’s twentieth century experiments in institutional transformation, from the Bolshevik ambition to create a utopian new order and from the subsequent neoliberal ambition to create in Russia the most liberal and deregulated market democracy ever experienced. The conclusions are that the rather drastic swings, between radically different insti-

¹² Richard Pipes, *Russia under the Old Regime* (New York: Charles Scribner’s, 1974, p. 113).

tutional orders, fit well into a longer-term pattern of Russian institutional development.

An important concluding challenge in seeking to understand by what means institutional patterns are reproduced lies in coming to terms with changes in context. The past century has offered a process of dramatic transformations, both inside Russia and in relations to the outside world. Has this not served to break or at least alter the historical trajectory? To answer this key question, “modernization” may be understood in two very different ways.

One is observable changes in context, ranging from transformation of the townscape to innovations in technology and communications, and indeed to open borders and expanding global markets. In response to such changes, formal rules are continually adapted, to reflect the ever-greater complexity of contracts and markets, and to ensure that enforcement mechanisms are developed, from informal social control to formalized trust-based public agencies. Both processes are associated with the emergence of new professions that jointly make up a “transaction sector.” The role of this rapidly growing sector is to support transactions in the more traditional production sector.

There is, however, a countervailing force, which may deprive the ongoing transformations of formal rules and mechanisms of enforcement of much of their real content. A more comprehensive understanding of “modernization” will have to reach beyond the formal façade and look instead at underlying informal norms. “True” modernization will entail, for example, a transformation from survival values to self-realization values.

The crucial interlinkage between the two has been eminently illustrated in Albert Hirschman’s classic account of *Rival Views of Market Society*.¹³ Reflecting what sociologists from Karl Polanyi onward have referred to as “embeddedness,” he points at the integrative effects of markets, by which the “multiple acts of buying and selling characteristic of advanced market societies forge all sorts of social ties of trust, friendliness, sociability, and thus help keep society together.”¹⁴

The main point in the current context is that when actors meet to transact they will encounter a dense maze of informal norms that determine how they perceive the risks and opportunities placed before them. Those norms will have been formed based on past experience, and they will be resilient. What Douglass North refers to as a process of updating mental models, or as

¹³ Albert O. Hirschman, *Rival Views of Market Society and Other Recent Essays* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992).

¹⁴ Albert O. Hirschman, “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” *Journal of Economic Literature*, 20, no. 4 (1982), p. 1473.

“mental re-description,” will be rather slow-moving.¹⁵ This is why ambitions to implement radical change will so often be frustrated.

At times of routine decision making, with reasonable certainty and access to information, actors will on the whole behave in a fashion consistent with the assumptions of “economic man.” Times of great dislocation in contrast are times when the rules break down and when mechanisms of enforcement cease to function. At such times, actors will fall back on deeper rooted values and beliefs to guide their action, meaning that the assumptions of sociology, of a “sociological man,” become relevant instead, assumptions that suggest action is guided by past experience. It is this activation of informal norms that explains why history matters — not all the time but at crucial points in time.

To wrap up the argument, while the early Muscovites did score a great success in formulating an institutional solution to cope with the problems of their time, there would be a longer-term price to pay for that achievement. Despite the striking external modernization of Russia that has taken place over the past century, the informal norms that once emerged to support autocracy, conditional property rights and extraction of resources for the purpose of defense have remained resilient. The Muscovite legacy remains a defining feature of Russian institutional development — and the Kremlin seems to have little objection.

¹⁵ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 95–96).

Ю. В. Латов, Р. М. Нуреев

**Развилки развития российской власти-собственности
в «век-волкодав» 1917–2017 гг.**

В нашем докладе мы хотели бы вкратце изложить взгляд на развитие советского/российского общества, развернуто представленный в недавно изданной нашей книге, сочетающей черты монографии и учебника экономической истории для вузов [Нуреев, Латов, 2016]. Это — наша попытка максимально сблизить учебно-вузовский и научно-академический дискурс, посвященный экономической истории России.

Ключевые слова: власть-собственность, азиатский способ производства, имперская модернизация, институциональная конкуренция, бифуркации, советская модель, постсоветский период.

In our report we would like briefly outline our view on the development of Soviet/Russian society which was presented in the details in our recently published book, combining features of a monograph and a textbook of economic history for universities [Nureev, Latov, 2016]. This is our attempt to bring in maximum degree together scientific and teaching discourse, devoted to the Russian economic history.

Keywords: power-ownership, Asian mode of production, imperial modernization, bifurcation, Soviet model, post-soviet period.

Общая концепция

Институциональный подход к анализу развития российской средневековой цивилизации невозможен без обращения к теории «азиатского способа производства». С точки зрения этого подхода российская цивилизация является своего рода «двойной периферией» — периферией одновременно стран западного пути развития, основанного на частной собственности, и стран восточного пути развития, основанного на

власти-собственности. Мобилизационно-коммунальная среда российской цивилизации и сильное влияние восточных институтов создавали предпосылки для доминирования институтов «азиатского способа производства». Тем не менее на протяжении XIII–XVII вв. шло активное противоборство между четырьмя моделями российского государства — московской, литовской, новгородской и казацкой.

Развитие российской цивилизации в новое время было единством прерывистости и непрерывности. С одной стороны, с XVII в. политическая элита России систематически (хотя и с «откатами») предпринимала попытки капиталистической модернизации, ориентируясь на институты Западной Европы. С другой стороны, сильная зависимость от институтов власти-собственности ограничивала возможности реформирования, генерировала противоречивое сочетание про-западных и про-восточных тенденций. В результате к началу XX в. Россия так и не смогла окончательно решить, является ли она «другой Европой» или «не-Европой».

Институциональный подход к анализу социально-экономического развития российской цивилизации в советский период основан на ее трактовке как частичной регенерации институтов власти-собственности. В 1917–1991 гг. в России осуществлялась альтернативная модернизация, которая объективно направлена на решение тех же проблем, перед которыми стоят все «обычные» страны догоняющего развития, но принципиально другими — внерыночными — методами. Административно-командная система смогла результативно, хотя и с относительно низкой эффективностью, завершить к 1960-м гг. индустриализацию экономики, однако она принципиально не могла осуществить постиндустриальные преобразования.

При анализе социально-экономического развития России 1990–2010-х гг. подчеркивается, что многие институты «азиатского способа производства» продолжают воспроизводиться и после создания основ рыночного хозяйства. Это связано во многом с тем, что радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. осуществлялись как революция «сверху», нацеленная в первую очередь на закрепление нового политического режима. Уже в конце 1990-х гг. обозначилась «российская драма»: даже после завершения всех исходно намеченных основных экономических реформ и достижения политической стабильности Россия не может обеспечить стабильно высокие темпы и, самое главное, качество экономического роста. Таким образом, постсоветская экономическая история демонстрирует конкуренцию институтов власти-собственности и частной собственности в деятельности всех акторов хозяйственной жизни.

Итоги имперской модернизации к 1917 году

Киевская Русь (IX–XIII вв.) воспринималась современниками как одна из европейских стран, качественно от них не отличающаяся. Современные обществоведы, как указывалось в предыдущей главе, отмечают, что если не качественное, то количественное отставание домонгольской Руси от Западной Европы все же было. Киевскую Русь IX–XIII вв. сравнивают с Францией Каролингов VIII–IX вв., где тоже еще не было ни регулярной администрации, ни крупных ремесленно-торговых городов, ни развитого правового регулирования.

Русское государство XIII–XVI вв. еще более отделилось от западного пути развития, приближаясь к «восточному деспотизму». Коллективизм и авторитаризм, основные черты традиционной российской хозяйственной культуры, «впечатывались» в национальную ментальность не только типичными условиями мобилизационно-коммунальной среды, но и экстремальными (в сравнении с Западной Европой) обстоятельствами той эпохи средневековья, когда происходило формирование российского этноса. Существенную роль играло институциональное влияние Византии, Золотой Орды и Османской империи — стран с сильными авторитарными «правилами игры». Все это способствовало развитию в средневековой России институтов власти-собственности, которые отдаляли нашу страну от Западной Европы, где приоритетно развивались институты частной собственности.

Однако в новое время Россия стала активно «прорубать окно в Европу». Движимое главным образом военно-политическими интересами, государство в России становится главным агентом модернизации экономики — органом, отвечающим за социально-экономический прогресс в стране. «Поскольку экономическое развитие таким образом вызывалось острой военной необходимостью, — писал А. Гершенкрон, — оно двигалось резкими толчками: убыстрялось, когда военная необходимость усиливалась, и замедлялось, когда необходимость ослабевала» [Гершенкрон 2004, с. 434].

Результаты двухвекового опыта сознательного догоняющего развития, понимаемого как «копирующая модернизация», оказались не слишком выразительными. К 1913 г. Россия от «великих держав» по большинству показателей социально-экономического развития отставала примерно на 100 лет (табл. 1). Интересно при этом отметить, что по чисто производственным показателям разрыв был ниже, чем по показателям социального развития. Это показывает, что совершенствование «правил игры» отставало от совершенствования производства материальных благ. В результате хотя на протяжении 1612–1917 гг.

доминировала общая тенденция к сближению социально-экономических институтов России и Западной Европы, но достигнутые успехи оказались обратимыми.

Таблица 1. Отставание России накануне Первой мировой войны от «великих держав» по показателям социально-экономического развития

Показатели национального экономического развития	Год, когда был достигнут уровень Европейской России 1913 г.				Среднее отставание России от 4-х стран, лет
	Великобритания	США	Германия	Франция	
Производственные показатели					
Среднедушевой ВВП	1750	1800	Около 1850	1800	Примерно 110
Урожайность зерновых	Около 1800	Около 1850	Около 1850	Около 1850	Примерно 80
Длина железных дорог на 1 тыс. кв. км	1841	1881	1853	1857	55
Показатели производства социального и человеческого капитала					
Городское население, %	Около 1750	1850	Около 1800	Около 1800	Примерно 110
Грамотность, %	1650	1700	1700	1750	Примерно 210
Продолжительность жизни	Около 1800	Около 1800	Около 1800	1800	Примерно 110

Составлено по: [Миронов 2009, с. 464].

В настоящее время большинство исследователей признают, что после революции 1905–1907 гг. императорская Россия заметно сократила институциональное отставание от развитых стран: начал действовать парламент (хотя и с очень ограниченными полномочиями), в результате реформ П. А. Столыпина активизировалось формирование институтов частной собственности у крестьян, разрывалось хозяйственное

освоение Сибири. Возможно, если бы у России было еще несколько мирных десятилетий развития, общество бы прошло точку невозврата к институтам власти-собственности. Самоубийственную роль сыграло участие России в Первой мировой войне и неспособность буржуазно-демократических политиков найти быстрые решения после Февральской революции 1917 г.

Когда после Октябрьской революции 1917 г. радикальные социал-демократы (большевики) стали правителями России, они на собственном горьком опыте убедились, что им приходится ставить коммунистический эксперимент в стране даже не «средне-слабого», а просто слабого (после Смуты 1917–1920 гг.) развития капиталистических отношений. Такой плачевный результат привел к неверию в прогрессивные потенции российского капитализма как такового, поэтому даже «коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм» не привела в 1920-е гг. к реабилитации капиталистической модернизации. Импорт в Россию конца XIX в. марксизма как одной из форм идеологии вестернизации/европеизации парадоксально привел в начале XX в. к новому (второму после XIII в.) резкому расхождению путей институционального развития России и Запада.

Становление советской модели экономики как результат институциональной конкуренции

В советской социально-экономической истории можно выделить три наиболее важные точки бифуркации (каждая из которых представляет собой многолетний период), когда общество находилось на развилке. Это периоды Гражданской войны (1917–1921 гг.), период Великого перелома (1928–1933 гг.), а также период хрущевских и косыгинских реформ (1957–1968 гг.)¹. В каждый из этих периодов в явной или неявной форме конкурировали друг с другом разные «правила игры», разные институциональные модели будущего развития России (хотя чаще речь шла о разных модификациях власти-собственности).

Бифуркации Гражданской войны. Социально-экономическую историю Гражданской войны обычно сводят к «красной» политике во-

¹ Строго говоря, существовала еще точка бифуркации 1941 года, когда военное поражение СССР в войне с гитлеровской Германией было вполне возможно. Однако данные события являются чисто политической бифуркацией, поскольку фашисты не собирались предлагать покоренным сколько-нибудь привлекательную социально-экономическую альтернативу. Поэтому Отечественная война хотя и имела некоторые черты Второй Гражданской (можно вспомнить феномен так называемой «Локотской республики»), однако в целом являлась все же именно защитой Отечества, а не поиском новых «правил игры».

енного коммунизма, хотя значительная (а временами — подавляющая) часть территории страны контролировалась белыми правительствами, которые тоже должны были управлять экономикой. К тому же активным актором Гражданской войны были не только красные и белые, но также и «зеленые». «Зеленые» редко контролировали крупные территории, но тоже выступали за определенную модель экономики, отличную как от военного коммунизма красных, так и от «военного капитализма» белых. Если взглянуть на социально-экономические события времен Гражданской войны как на институциональную конкуренцию, то их можно интерпретировать как противостояние трех моделей — красной (военный коммунизм), белой («непредрешенчество») и зеленой («мешочнической») (табл. 2).

Таблица 2. Конкурирующие институциональные модели в период Гражданской войны

Характеристики	Военный коммунизм красных (большевиков)	«Непредрешенчество» («военный капитализм») белых правительств	Анархо-рыночная («мешочническая») модель зеленых
Аграрная политика	«Черный передел», продразверстка	Защита старых прав собственности, свободная торговля и реквизиции	«Черный передел», свободная торговля
Промышленная политика	Национализация практически всех предприятий	Защита старых прав собственности	Рабочее самоуправление
Опора на военную силу	Единая централизованная армия	Несколько централизованных армий	Децентрализованные повстанческие отряды
Причины поражения	Невозможность противостоять недовольству крестьянства	Непривлекательность для крестьянства и рабочих	Военная слабость, долгосрочная бесперспективность

Согласно распространенной точке зрения, военный коммунизм являлся вынужденной мерой советского правительства в годы Гражданской войны — изначально большевики отнюдь не собирались

за считанные месяцы огосударствлять все, что только можно. Позже многие ученые стали утверждать обратное: военный коммунизм (включая продразверстку — типичный институт власти-собственности) был идеологическим шагом большевистского руководства, сознательно стремящегося создать коммунистическую экономику буквально в один миг. Вероятно, истина находится посередине, объективные требования военного времени наложились на субъективное «революционное нетерпение».

Что касается экономической политики белых правительств, то наблюдается интересный парадокс: «белогвардейская» власть была, а сколько-нибудь четко сформулированной «белогвардейской» экономической политики в общем-то и не было. Отказ от решения наиболее острых проблем до военной победы над большевиками был возведен белыми в принцип, следование которому делало эту победу невозможной (или, по крайней мере, очень трудной). Эта странность «военного капитализма» объясняется тем, что во главе белых правительств стояли профессиональные военные, которые за редким исключением не понимали значения социально-экономических реформ.

Парадокс заключается в том, что та социально-экономическая модель, которая больше всего нравилась большинству в крестьянской России, — анархическая зеленая — была в политическом отношении наиболее аморфной и в военном отношении самой слабой. В долгосрочном аспекте «зеленая альтернатива» (анархистский «рыночный социализм») была заведомо нежизнеспособна: в отсталой аграрной стране, экономика которой к тому же сильно разрушена в результате двух войн и двух революций, осуществить экономический рост можно только за счет активного перераспределения ресурсов сельского хозяйства на нужды промышленности. Поэтому «зеленое» движение, пик которого пришелся на 1920–1921 гг., было обречено на поражение. Крестьянство оказалось вынуждено признать большевистский режим как *secondbest* (или, скорее, как меньшее зло).

Конкуренция красной, белой и зеленой моделей социально-экономического регулирования закончилась в годы Гражданской войны, в некотором смысле, общим поражением — ни одна из этих моделей не оказалась, в конечном счете, достаточно результативной. Безоговорочно победив белых в «большой гражданской войне», советское руководство пошло на компромисс в «малой гражданской войне» с зелеными. Оно хотя и жестоко подавило мятежи, но одновременно выполнило требования восставших — отменило продразверстку

и перешло от военного коммунизма к НЭПу. Новая экономическая политика стала своего рода «золотой серединой» между красной и зеленой моделями развития.

Альтернативы Великого перелома. НЭП стал по существу первым в мировой истории опытом смешанной экономики — соединения в условиях мирного времени частного предпринимательства и активного государственного регулирования. НЭП оказался вполне успешен в обеспечении восстановительного роста, однако существовали большие сомнения в том, сможет ли он обеспечить объективно необходимый качественный скачок в социально-экономическом развитии.

В 1920-е гг. партийное руководство СССР объективно решало проблемы не столько «коммунистического строительства», сколько догоняющего развития — те проблемы, которые приняли всемирные масштабы в 1950–1960-е гг., после появления массы «новорожденных» государств стран «третьего мира». Поэтому для понимания институционального выбора СССР полезно сопоставить развитие нашей страны с парадигмами экономической теории развития (economics of development) [Нуреев 2008].

Из идей пяти основных парадигм экономики развития в советской России 1920-х гг. высказывались и хотя бы частично применялись в той или иной форме абсолютно все (табл. 3). Поскольку эти парадигмы в значительной степени дополняют друг друга, НЭП можно трактовать как своеобразную институциональную конкуренцию — нащупывание оптимального пути развития. Но к концу 1920-х пришлось выбирать, на какую из парадигм делать основную ставку. В результате в 1928–1929 гг. произошел отказ от НЭПа — отказ от развития смешанной экономики в пользу институтов командной экономики (системы власти-собственности).

Предвосхищая идеи неоклассиков, партийное руководство организовало в 1930-е гг. перелив ресурсов из традиционного сельского хозяйства в современную промышленность. Как и предлагали позже традиционные институционалисты, в советской социальной политике обращалось существенное внимание на улучшение жизни самых бедных слоев города и деревни. Спецификой советского догоняющего развития стало активное применение насилия и правил «игры с нулевой суммой»: чтобы поднять индустрию, была «ограблена» деревня; чтобы добиться поддержки бедных, государство уничтожало «как класс» более состоятельные слои. Соотношение издержек и выгод советского догоняющего развития в результате оказалось не слишком эффективным.

Таблица 3. Аналогии между подходами к проблеме «первоначального социалистического накопления» в СССР 1920-х гг. и парадигмами экономической теории развития 1950–2000-х гг.

Характеристики парадигм	Кейнсианский подход	Неоклассический подход	Традиционно-институциональный подход	Неоинституциональный подход	Леворадикальный подход
Разработчики парадигмы	Х. Чинери, 1960-е гг.	У.А. Льюис, 1960-е гг.	Г. Мюрдаль, 1960-е гг.	Э. Де Сото, 1980-е гг.	А. Эммануэль, 1960-е гг.
Главная проблема модернизации	Нехватка финансовых (инвестиционных) ресурсов	Нехватка трудовых ресурсов в современном секторе	Низкое качество управления и трудовых ресурсов	Слабая защита прав собственности, рентоискательство вместо конкуренции	Тормозящее влияние капиталистической мир-системы
Метод решения главной проблемы	Внешние займы на мировом финансовом рынке	Перелив рабочей силы из традиционного сектора в современный сектор	Формирование «нового человека» — повышение уровня жизни наиболее бедных слоев населения	Защита прав собственности предпринимателей	Самодостаточное национальное экономическое развитие
Близкие подходы к «первоначальному социалистическому накоплению»	«Линия Красина»: представление концессий, наращивание экспорта	«Линия Троцкого» (концепция Е. А. Преображенского): госзакупки зерна по заниженным ценам	«Линия Бухарина»: призывы крестьян к «обогатению», пропаганда культурной революции и «врастания крестьянина в социализм»	Некоторые идеи «позднего» Ленина (о «строительных кооператорах»)	«Линия Сталина» во время «холодной войны»
Препятствия реализации в СССР 1920–1930-х гг.	Экономическая блокада со стороны развитых стран	Необходимость преодолеть сопротивление крестьянства	Нацеленность на быстрые успехи, в то время как формирование «нового человека» происходит медленно	Массовый правовой нигилизм, негативное отношение к предпринимательству	Слабое развитие многих отраслей промышленности

Незамедлительным следствием коллективизации стало падение в 1929–1933 гг. сельскохозяйственного производства. Это падение было особенно серьезным для животноводческого сектора, так как крестьяне противились приказу перевести свой скот в недавно организованные колхозы и предпочитали его забивать, чтобы «на прощание» вволю наесться. Есть несколько оценок урожаев зерна в СССР в 1928–1940 гг. в гипотетических условиях «долгого НЭПа». Сравнение разных контрфактических (ретропрогнозных) оценок с данными реальной истории показывает, что, начиная с 1931–1932 гг., фактический сбор был более чем на 10% ниже, чем в любой контрфактической модели. Это доказывает, что принудительная коллективизация оказала сильное тормозящее влияние на сбор зерновых [Хантер, Ширмер 1995]. Хотя урожай зерна в годы коллективизации был относительно стабильным, продажи зерна в 1929–1933 гг. резко выросли — частично за счет резкого сокращения скота, на корм которому была бы направлена часть зерна, продаваемого государству.

Когда к концу 1930-х гг. советская командно-административная система полностью качественно сформировалась, то возникшая система поразительно напоминала идеальную модель азиатского способа производства с типичными для него полным господством государственной власти-собственности, «тотальным контролем» и «тотальным подчинением» [Wittfogel 1957].

Пока никто из экономистов-историков не разработал достаточно доказательного ретропрогноза, как Советская Россия смогла бы осуществить ускоренную индустриализацию без «ограбления» деревни. Есть, правда, интересное ретропрогнозное исследование британского экономиста-историка Р. Аллена: по его оценке, развитие институтов централизованного планирования и неограниченного кредитования действительно сильно способствовало промышленному экономическому росту в СССР, а вот варварская политика насильственной коллективизации дала лишь относительно небольшую добавку выпуска промышленной продукции [Allen 1997; Allen 2003; Аллен 2013]. Парадоксальная «ре-интерпретация советской промышленной революции» Р. Аллена подвергается критике [Эллман 2007] и не получила общего признания. Поэтому вопрос о реальности альтернатив Великому Перелому остается открытым.

В поисках «демократического социализма»

С 1950-х гг. развитие советской экономики в течение последующей трети века происходило в рамках относительно стабильной системы

«правил игры», лишь некоторые из которых существенно изменялись. Решая проблемы догоняющего развития, партийное руководство попало в зависимость от предшествующего развития: на рубеже 1920–1930-х гг. был выбран «пакет» институтов, которые являлись относительно результативными (хотя и мало эффективными) в среднесрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе загоняли советское общество в тупик. С помощью такого типа экономики можно решать задачи первичной индустриализации и побеждать в тяжелых войнах, однако с ее помощью нельзя успешно решать задачи научно-технической революции и побеждать в мирной международной конкуренции. Чтобы разорвать эту зависимость от предшествующего советского развития, в 1991 г. пришлось отказаться от советской системы как таковой.

Вероятно, «рыночный поворот» можно было с существенно меньшими издержками осуществить не в начале 1990-х гг., а существенно раньше, еще в 1950–1960-е гг. Примером мог послужить в определенной степени опыт СФРЮ (Югославии), где при Иосипе Броз Тито с начала 1950-х гг. сформировалась национальная модель «реального социализма», которая строилась на сочетании рабочего самоуправления с товарным рынком. В КНР (Китае) руководство китайской компартии начало демонтаж командной экономики и переход к смешанной экономике с конца 1970-х гг., почти сразу после смерти Мао Дзе-дуна. У СССР тоже было «окно возможностей» после отстранения в 1953–1957 гг. от власти прямых последователей И. В. Сталина начать качественное изменение «правил игры».

Еще при Хрущеве вновь, после 30-летнего перерыва, стало возможным открытое обсуждение недостатков советской социально-экономической системы и возможности усиления в ней «хозрасчетных начал» (фактически — рыночных институтов). Когда Н. С. Хрущева свергли в 1964 г. в результате внутрипартийного заговора, то первоначально казалось, что новые руководители СССР дадут попыткам реформирования «второе дыхание». В сентябре 1965 г. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин объявил об официальной государственной реформе. Главными идеями этой реформы, концепцию которой разработал Е. Либерман, были хозрасчетные «3 С» — самокупаемость, самофинансирование и самоуправление. Результатом реформы ожидалось создание такой экономической системы, в которой директора предприятий смогли бы получить доступ к управлению некоторыми экономическими «рычагами» (прибылью, премиями, большей свободой инвестирования и т.д.). Основным направлением косыгинской реформы стало снижение количества плановых показателей для предприятий, а также, что особенно важно, — замена показателей валового выпуска

как главного индикатора успешности деятельности госпредприятий показателями «реализованного выпуска» (продаж).

Косыгинские реформы могли стать для экономики СССР тем, чем стали для экономики КНР реформы Дэн Сяо-пина, — путем к созданию смешанной экономики при сохранении власти коммунистической партии. Не случайно китайскому реформатору приписывают высказывание, что если бы косыгинские реформы удалась, то Китай снова бы учился у СССР. Однако уже через несколько лет после введения реформы некоторые внесенные в нее изменения существенно изменили и выхолостили ее общий пафос. В частности, был вновь установлен жесткий контроль над фондом поощрительных выплат работникам предприятий, заменивший более гибкую систему, предполагавшуюся в реформе. Министерства снова получили возможность контролировать условия накопления и расходования этих фондов. Если ранее основная часть прибыли предприятий изымалась в бюджет как плата за производственные фонды, то теперь — как изъятие «свободного остатка прибыли» [Ольсевич, Грегори 2000, с. 47]. В результате экономическая реформа стала очередным этапом в повышении самостоятельности руководителей советских предприятий, но не смогла существенно усилить заинтересованность в труде самих работников.

Свертывание косыгинских реформ можно рассматривать, прежде всего, как яркий пример «ресурсного проклятия»: для стран с высоким уровнем отчуждения элиты от граждан наличие полезных ископаемых, легко реализуемых на мировом рынке, становится не стимулом, а тормозом развития. Рост настороженности брежневского режима к рыночным инновациям почти совпал с «нефтяным шоком» 1973 г. Резкий рост мировых цен на нефть и газ в сочетании с началом активной разработки месторождений Западной Сибири (прежде всего, Самотлора, где «большую нефть» начали добывать с 1968 г.) позволил советскому правительству получать от экспорта энергоресурсов *очень* высокие доходы. За счет природной ренты удавалось решать продовольственные проблемы: импорт зерна стал очень важным элементом продуктообеспечения, поскольку советская деревня, из которой в 1930–1950-е гг. активно выкачивали ресурсы, деградировала и превратилась в «черную дыру», поглощавшую дотации и льготы без существенного результата².

Таким образом, третий бифуркационный период стал столкновением трех вариантов «правил игры» (табл. 4) — моделей самодо-

² Роберт Аллен также признает, что перелом в развитии советской экономики произошёл в 1970-е гг., но связывает его с иными ошибками руководства страны — с втягиванием СССР в гонку вооружений (из-за чего исследовательские ресурсы были перенаправлены из гражданских отраслей в военное производство) и курсом на переоборудование старых предприятий вместо строительства новых [Аллен, 2013, с. 278].

статочной командной экономики (пост-сталинский курс), смешанной экономики (курс косыгинских реформ) и командной экономики как «сырьевого придатка» капиталистической мир-экономики (курс «застойного» брежневского режима). Победу третьего курса можно объяснить своеобразным «предпочтением ликвидности», т. е. предпочтением тактических (среднесрочных) выгод стратегическим (долгосрочным) преимуществам.

Таблица 4. Альтернативные модели развития экономики СССР периода «оттепели»

Характеристики моделей	Самодостаточная командная экономика	Смешанная экономика («демократический рыночный социализм»)	Командная экономика как часть капиталистической мир-экономики
Ресурсы экономического развития	Государственное планирование и контроль	Активизация личных материальных интересов работников	Природная рента, получаемая за счет экспорта энергоресурсов (нефти и газа)
Актеры, выступающие за данную модель	Наиболее консервативная часть номенклатуры	Либеральная часть политической и хозяйственной элиты	Большинство политической и хозяйственной элиты
Экономисты, обосновывающие модель	Экономисты-сторонники ТОФЭ — Н. П. Федоренко, С. С. Шаталин и др.	Экономисты-«рыночники» — Е. Либерман, Д. Валовой и др.	Модель не имеет научного обоснования
Возможности извлечения бюрократической ренты	Низкие	Средние	Высокие
Опасные тенденции развития	Рост социального напряжения в обществе	Демонтаж партийной власти	Рост зависимости национальной экономики от мирового рынка

Срок относительного благополучия позднесоветской экономики совпал со сроком извлечения высокой природной ренты. Когда в первой половине 1980-х гг. мировые цены на энергоресурсы существенно упали, то необходимость реформирования «реального со-

циализма» снова встала на повестку дня. Либерализация экономики при М. С. Горбачеве сначала пошла по пути косыгинских реформ (развитие хозрасчета), однако стремительное нарастание экономических и политических трудностей быстро привело к отказу от «реального социализма» как такового.

Постсоветское воспроизводство власти-собственности

Возможна ли модернизация в «евразийской» стране? Хотя казалось, что падение СССР приведет к свертыванию институтов власти-собственности, однако, по оценке О. И. Шкаратана, в 2000-е гг. «после потрясений 1990-х гг. страна постепенно возвращается на свой евразийский путь. Авторитарные традиции как доминировали в экономике страны в прежние эпохи, так и возвращают ныне свое доминирование» [Нова ли новая Россия? 2016, с. 358, 115]. Точка зрения об устойчивом воспроизводстве власти-собственности в постсоветской России сформировалась еще во второй половине 1990-е гг. (С. Кордонский, Р. Нуреев, О. Бессонова, С. Кирдина и др. [Бессонова, Кирдина, О'Салливан 1996; Бессонова 1999; Кордонский 2000; Нуреев 2001]), когда завершились радикальные реформы и стало возможным хотя бы в первом приближении судить о том, какая именно «созидательная работа» заметна за «грудой развалин». В 2000–2010-е гг. количество работ сторонников этого подхода активно росло (см., например, [Нуреев Рунов 2002; Шкаратан 2004; Цирель 2006; Плискевич 2006; Латов, Нуреев 2015]), поскольку он позволял, с одной стороны, вписать проблемы «новой» (провозглашенной в декабре 1991 г.) Российской Федерации в контекст многовековой истории российской цивилизации.

Модернизация стран догоняющего развития с традициями власти-собственности существенно зависит от того, в какой степени гражданскому обществу удастся консолидироваться и стать реальным актором социальной жизни, частично перехватывающим у государства функции выражения «воли народа». Опыт, например, Южной Кореи показал, что на протяжении полувека отсталая восточная страна вполне может успешно пройти путь от авторитарно-диктаторских режимов до «нормального» государства, чьи основные качественные характеристики (уровень жизни, институты демократии, международная конкурентоспособность, уровень коррупции и др.) особо не отличаются от стран Западной Европы. Важнейшими условиями перехода стран догоняющего развития от анклавной к системной модернизации является минимизация «стрессовых» ситуаций, которые провоцируют регенерацию

командно-административных методов управления, и экономический подъем, стимулирующий рост среднего класса. Гораздо чаще, однако, наблюдается менее успешное развитие, когда выгоды от экономического подъема получают в основном немногочисленные верхние слои, а широкие слои населения накапливают протестные настроения, но не практический опыт организованного выражения и защиты своих интересов. В таких ситуациях развитие страны (как, например, в Египте 1950–2010-х гг.) приобретает форму череды «революций», которые приводят к смене политической и экономической элиты, но не к качественному изменению «правил игры».

В настоящее время трудно однозначно ответить, по какому пути («южнокорейскому» или «египетскому») идет постсоветское развитие России. На протяжении последней четверти века наблюдаются волнообразные изменения, когда тенденция усиления гражданского общества сменяется тенденцией ре-огосударствления, которая снова сменяется оживлением гражданской активности, и т. д. Несомненным фактом является то, что разорвать зависимость собственности от власти — т. е. ликвидировать институт власти-собственности — до сих пор не удалось. Как и в СССР, в постсоветской России власть-собственность проявляется в двух формах: с одной стороны, как зависимость легального владения собственностью (особенно крупной) от отношений с властью; с другой стороны, как нелегальная система институциональной коррупции.

Государство по-прежнему «сильнее, чем общество». Российская бизнес-элита даже в 2010-е гг. не является вполне самостоятельным экономическим субъектом, в сравнении с 1990-ми гг. ее самостоятельность скорее снизилась. Она по-прежнему стремится ограничить свою ответственность лишь внутривозвращаемой деятельностью и прямыми отношениями с заказчиками и поставщиками, отдавая на откуп государственной администрации такие важные вопросы, как формирование правил доступа к ресурсам, контроль за соблюдением качества выпускаемой потребительской продукции, антикризисное управление и важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Большой круг вопросов сохраняется и в зоне совместной ответственности. В результате, баланс *де-юре* и *де-факто* складывается явно в пользу областной администрации.

С течением времени доля фирм, согласовывающих свои ключевые решения с органами власти, не сокращается, а растет. В 2000–2010-х гг. подавляющее большинство руководителей бизнеса добровольно передавали органам власти значительную часть своей ответственности, что наглядно показывают результаты многочисленных социологических

исследований (табл. 5). Комическим проявлением этой тенденции являются публичные заявления некоторых российских «капитанов бизнеса» (например, Г. Тимченко и О. Дерипаски) о своей готовности «завтра же» отдать свои активы государству, если оно этого захочет.

Таблица 5. Доля фирм, которые никогда не согласовывают ключевые решения с органами власти, %

Органы власти	2007	2011
с федеральными органами власти	61	57
с региональными органами власти	44	33
с местными органами власти	39	15

Источник: Институт Анализа Предприятий и Рынков совместно с профессором Тимоти Фрайем (по: Кравцова М. В. Трансформация коррупционных отношений в постсоветской России.// TerraEconomicus. 2014. Т. 12. № 1. С. 77).

Государство претендует на роль главного (или даже единственно-го) руководителя институто-строительством в постсоветской России, оставаясь главным участником воспроизводства институтов власти-собственности. Сохраняется и «государство всеобщего перераспределения», и «государство тотального рентоискательства», только «скупка государства» уступила место «скупке бизнеса». Противодействие институтам «дикого капитализма» 1990-х гг. привело к усилению институтов «культурного восточного деспотизма». Этот сдвиг вызвал более или менее сознательное одобрение в 2000-е гг. большинства россиян, для которых бесконтрольный «буржуй» (а тем более — «буржуй во власти») страшнее бесконтрольного бюрократа-коррупционера. Недавний опыт Украины эту оценку в общем подтвердил³. Справедливости ради, необходимо отметить, что и в деятельности российского государства «за грудой развалин» можно при желании увидеть «созидательную работу» — об этом свидетельствует, в частности, улучшение в последние годы индекса ведения бизнеса и индекса восприятия коррупции.

³ Украина 2014–2016 гг. демонстрирует начатое еще в 1990-е гг. Юлией Тимошенко превращение крупных предпринимателей в государственных деятелей, результаты которого трудно назвать удачными. Если ранее власть контролировали «восточные» (донецкие) политики-бизнесмены, то теперь она перешла в руки «центральных» (киевских и днепропетровских). Такая разновидность власти-собственности, когда бизнес-конкуренция становится фактором общенационального политического конфликта, ничем не лучше более привычной (для России) разновидности, когда бюрократы «всего лишь» тормозят бизнес-конкуренцию, активно подыгрывая «своим» предпринимателям и/или самим себе.

И все-таки она... будет. История развития российской цивилизации показывает, на наш взгляд, что превращение ее в часть западноевропейской цивилизации мало реально. Попытки активного насаждения западноевропейских институтов всегда вызывали реакцию отторжения, что превращало историю России в чередование «приливов» и «отливов» европеизации. В XXI веке курс на вестернизацию России выглядит еще менее привлекательным: в настоящее время западноевропейская цивилизация постепенно снижает роль общемирового лидера, зато на эту роль активно претендуют конфуцианская и исламская цивилизации.

Наиболее плодотворной является самоидентификация России как самостоятельной цивилизации. Географически находясь на окраине Европы, она — «другая Европа», «альтернативная Европа». Будучи пограничной между Западом и Востоком, Россия может играть большую роль в канализации «конфликта цивилизаций» в русло взаимовыгодной институциональной конкуренции. Конкуренция национальных моделей развития России, Украины и Белоруссии в постсоветский период является частным примером этого явления.

Авторы склонны, таким образом, присоединиться к афоризму, который приписывают Петру I: «Будет ли Россия Азией или Европой, она все-таки будет Россией».

Литература

Аллен Р. С. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции. М.: РОССПЭН, 2013.

Бессонова О. Э. Раздаток: Институциональная теория хозяйственного развития России. Новосибирск: ИЭиОПП, 1999.

Бессонова О. Э., Кирдина С. Г., О'Салливан Р. Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России: Демонстрационные проекты в жилищном хозяйстве. Новосибирск: НГУ, 1996.

Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе // Истоки: экономика в контексте истории и культуры. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

Кордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2000.

Кравцова М. В. Трансформация коррупционных отношений в постсоветской России // TerraEconomicus. 2014. Т. 12. № 1.

Миронов Б. Н. Историческая социология России: учебное пособие. СПб.: Издательский дом СПбГУ; Интерсоцис, 2009.

Нова ли новая Россия? Перемены в социальной структуре общества и социальном воспроизводстве россиян по материалам опросов 1994–2013 гг.: монография. Под ред. О. И. Шкаратана, Г. А. Ястребова. М.: Университетская книга, 2016.

Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник. 2-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2008.

Нуреев Р. М., Латов Ю. В. Постсоветское институциональное развитие: в поисках выхода из колеи власти-собственности // Мир России. 2015. № 2.

Нуреев Р. М., Латов Ю. В. Экономическая история России. Опыт институционального анализа. М.: Кнорус, 2016.

Нуреев Р., Рунов А. Назад к частной собственности или вперед к частной собственности? // Общественные науки и современность. 2002. № 5.

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе: анализ и интервью с руководителями планирования СССР. М.: ТЕИС, 2000.

Плискевич Н. М. «Власть–собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. 2006. Т. 15. № 3. С. 62–113.

Хантер Г., Ширмер Я. Аграрная политика необольшевиков и альтернатива // Отечественная история. 1995. № 6.

Цирель С. В. «Власть-собственность» в трудах российских историков и экономистов // Общественные науки и современность. 2006. № 3. С. 119–131.

Шкаратан О. И. Российский порядок: вектор перемен. М.: ВИТА-Пресс, 2004.

Эллман М. Советская индустриализация: выдающийся успех? (О книге Р. Аллена «От фермы к фабрике: реинтерпритация советской промышленной революции») // Экономическая история. Обзорение. Вып. 13. М.: Издательство Московского университета, 2007 (URL: <http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB13/ellman.pdf>).

Allen R. C. Capital Accumulation, the Soft Budget Constraint and Soviet Industrialization // UBC Department of Economics Discussion Paper. 1997. November (URL: <http://www.arts.ubc.ca/econ/dp9720.pdf>).

Allen R. C. Farm to Factory: a Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Wittfogel K.-A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, 1957.

А. П. Заостровцев

**«Служилое государство» в постсоветской России:
II реинкарнация «Матрицы Московии»**

В статье рассматривается институциональное ядро российского общества (Матрица Московии) на протяжении длительного исторического времени. Выделяется шесть его базовых характеристик и описывается их трансформации в рамках сохранения традиционного общества: самовластье, имперство, власть-собственность, антиличностность, сословность и административная рента. Советский социализм трактуется как традиционное общество современного типа в версии 1.0 (ТОСТ-1.0), а современная Россия как ТОСТ-2.0. Делается вывод о том, что «особый путь» России обусловлен ее антагонизмом по отношению к Западной (правовой) цивилизации и представляет собой устойчивую историческую колею, выход из которой маловероятен в силу укорененной политико-экономической культуры.

Ключевые слова: институциональное ядро, Матрица Московии, служилое государство, самовластье, имперство, власть-собственность, сословность, административная рента, традиционное общество современного типа, зависимость от пути развития.

The article reviews the institutional core of the Russian society (Muscovite matrix) in the long historical period. The six basic features of this core are distinguished and its transformation in the framework of traditional society is described/ These features are: authoritarian rule (samovlastie), imperialistic moods (imperstvo), power-ownership, anti-personality, estates and administrative rent. Soviet socialism is treated as traditional society of modern type (TSMT-1.0), and modern Russia as TSMT-2.0. The article concludes that the Russian Sonderweg is caused by her antagonism to Western (based on the rule of law) civilization and represents its path dependence/ The way out of this path dependence has low probability because of the embedded political and economic culture.

Key-words: institutional core, Muscovite matrix, service state, authoritarian rule authoritarian rule (samovlastie), imperialistic moods (imperstvo),

power-ownership, anti-personality, estates, administrative rent, traditional society of modern type, path dependence.

Представляемая здесь работа посвящена тому, что, собственно говоря, отражено в ее названии: социальный порядок современной постсоветской России (ее ключевые институты) описываются как историческое наследие, первоисточник которого скрыт в глубине веков — в государстве, которое правильно именовать Московией (XV–XVII вв.). Отсюда и соответствующая терминология: «служилое государство» и «матрица Московии»¹. Реинкарнация Московии произошла в XX в. как реакция отторжения модернизации страны после отмены крепостного права и так называемых Великих реформ 1860-х — 1870-х гг. Ответом на последний в имперскую эпоху всплеск модернизации в виде столыпинской реформы и конституционных ограничений монархии явилось событие, столетие которого отмечается в нынешнем году. Его завершающим итогом и стал новый общественный строй, который можно назвать традиционным обществом современного типа (ТОСТ). Официально в России (СССР) он именовался социализмом. Обозначим его как ТОСТ-1.0. После короткой волны модернизации на протяжении конца 80-х и большей части 90-х гг. прошлого века Россия в веке XXI постепенно восстанавливала свои традиционные институты под оболочкой формально либеральной конституции и вроде как рыночной экономики. II реинкарнация матрицы Московии протекала довольно успешно и вскоре сформировалось ТОСТ-2.0. Эта реинкарнация, скорее всего, еще не завершена, но тенденция обозначена абсолютно четко. Традиционное общество оказалось куда более живучим и способным к адаптации к внешним вызовам, чем это было принято считать: оно меняется, меняется, порой, очень существенно, но ровно настолько, чтобы оставаться в главном самим собой. «Проклятие Русской матрицы» [Пелипенко 2015] продолжается и об окончании его действия остается только гадать.

Для начала заметим, что самые разные, даже порой неизвестные друг другу специалисты в области разных социальных наук стали утверждать в своих работах о России похожие схемы, которые сводились к тому, что есть некий набор устойчивых характеристик, который описывает ее социальный порядок на протяжении «долгого времени». О шведском экономисте Хедлунде уже было сказано ранее. Российский философ А. Пелипенко (также упомянутый выше) называл

¹ Оба термина заимствованы у шведского экономиста, специалиста по экономической истории России Стефана Хедлунда [Хедлунд 2015, Hedlund 2006].

эти характеристики не «Матрицей Московии», а «Русской матрицей» [Пелипенко 2011, 2013, 2015]. Историки Ю. Пивоваров и А. Фурсов ввели и описали понятия «Русская система» и «Русская власть» [Пивоваров, Фурсов 1999, 2001], которые с тех пор в разных сочетаниях используют их последователи [Бляхер 2002, 2014; Дубовцев, Розов 2007]. Представительницы Новосибирской экономико-социологической школы (НЭСШ) О. Бессонова и С. Кирдина тоже отдают дань матрицам [Бессонова 2015, Кирдина 2014]². Социолог О. Шкаратан пишет о российском социуме как об устойчивой модели этакратии или государственного способа производства [Шкаратан 2015]³. Юрист-либертарианец В. Четвернин относит российское общество к воспроизводящейся в историческом времени культуре потестарного (т. е. властно-силового — А. З.) типа [Четвернин 2014]. Экономисты Р. Нуреев и Ю. Латов выделяют «азиатское» или политарное общество, подводя его под знакомый еще по Марксу азиатский способ производства. И, согласно их позиции, Россия определяется как некая промежуточная цивилизация между Западом и Востоком [Нуреев, Латов 2016, с. 25–26]. Во всех перечисленных работах речь, так или иначе, идет об «особом пути» России.

Упоминание «особого пути» делает необходимым сказать о нем несколько слов. Во-первых, в глобальном контексте особым путем скорее можно назвать путь, приведшей некоторые страны к конституционной демократии и рыночной экономике. Большая часть человечества в период становления капитализма стагнировала в границах своих «азиатских матриц»⁴. Первоначальное утверждение в Голландии и Англии капиталистических отношений не в роли периферийных, но, напротив, в роли доминирующих как раз и было аномалией (особым путем). Другое дело, что потом они стали «завоевывать» мир и создали источник того, что экономисты называют современным экономическим ростом. Так что когда говорят об «особом пути» России, имеют в виду просто ее принадлежность к цивилизации, альтернативной

² Россия, согласно Кирдиной, есть представительница X-матрицы (альтернативной Западнему миру); у Бессоновой речь идет о российской матрице, основу которой составляет экономика раздатка. «Раздаточная экономика представлена как фундамент российской матрицы, в которой рыночные отношения играют вспомогательную роль» [Бессонова 2015, с. 17].

³ Шкаратану принадлежит и развернутое определение матрицы: «Матрица выступает как устойчивая, исторически сложившаяся взаимосвязанная функционирующая совокупность базовых институтов конкретно-исторических обществ, специфических в каждой из цивилизаций» [Шкаратан 2015, с. 19].

⁴ Понятно, что в термин «азиатский» вкладывается не географический, а социальный смысл.

Западной. О чем и пишет большинство вышеперечисленных авторов. Проще говоря, Россия — «не-Европа». Опять же, естественно, в социальном смысле. И если уж так не нравится выражение «особый путь» (рождающее ассоциации, и, кстати, вполне оправданные ассоциации, с немецким *Sonderweg*), то можно пользоваться термином «иной путь».

Во-вторых, у многих либеральных российских авторов употребление словосочетания «особый путь» вызывает идиосинкразию как пропаганда выдающихся достижений, социального превосходства и избранныости российского общества, которые привязываются в качестве следствий к традициям российского авторитаризма и подавления личности коллективной волей (у пропагандистов эти традиции были бы названы, конечно, как-то по-другому, например, державностью и соборностью). Однако заметим, что, констатируя ничем не ограниченную верховную власть и тотальное бесправие человека как мощный магнит, к которому постоянно притягивается на своем историческом пути Россия, совсем не обязательно возводить эти качества в культ посредством их возвеличивания и прославления. И если российский «особый путь» есть иной (альтернативный) путь по отношению к правовому обществу⁵, то сам этот факт не является основанием, чтобы не писать о нем в позитивистском (беспристрастном) духе. Автор данной работы не видит никаких особо радужных перспектив у этого пути, но и не собирается лишь на этом основании провозглашать грядущую победу его альтернативы. Матрица Московии обладает достаточной прочностью, и свернуть ее с проложенной исторической колеи крайне непросто. В завершении работы скажем об этом чуть более подробно.

Теперь же пора переходить к описанию шести базовых качеств Матрицы Московии. Оно построено преимущественно на синтезе концепций Хедлунда [Хедлунд 2015, Hedlund 2006] и Пелипенко [Пелипенко 2011, 2013, 2015] с попутным обращением к некоторым другим источникам. Для начала только заметим два обстоятельства. Во-первых, эта самая «матрица» есть не что иное, как институциональное ядро (см. приведенное выше определение матрицы по Шкаратану). Это ядро состоит из институтов-долгожителей; они трансформируются (модифицируются) со временем, но при этом сохраняют свои фундаментальные качества, порождая тем самым *зависимость от пути*

⁵ В соответствии с либертарной теорией права, автор разделяет право и закон. Общество является правовым только в той мере, в какой оно обеспечивает свободу личности. Закон же «может иметь как правовое, так и неправовое содержание» [Четвернин 2007, с. 7]. Он может предписывать все что угодно, вплоть до полного абсурда (например, карать за «оскорбление чувств») и вообще за неправильный образ мысли, обозначаемый как экстремизм).

развития. Во-вторых, рассмотрение его характеристик неизбежно строится на редукционизме: приходится отвлекаться от целого ряда частностей ради вычленения сути.

Итак, первым качеством институционального ядра следует назвать *самовластие*. Источником власти в русском социуме являются, естественно, не суверенные граждане, а суверенные властители (сама себя творящая власть). Мандат же последним на монопольное правление дает некая внешняя инстанция. В базовой ментальной модели социума утвердилось представление о власти как о мистическом посреднике по отношению к неким высшим началам: в этом плане можно даже говорить о «сакральности» власти как таковой⁶.

В исходном монархическом варианте все строилось на приверженности власти «истинной» вере, «истинному» богу. Царь православный угоден богу («повенчан на царство») и ведет своих послушных подданных праведным путем к спасению души в царство небесное (вечной жизни в райских кущах). В I реинкарнации место бога заняли «объективные законы истории», а коммунистические власти получили санкцию на монопольное правление в силу познания ими этих законов, как высшие жрецы исторического процесса. Вытекающее отсюда «научное руководство обществом» тоже вело в рай, но только не небесный, а земной (коммунизм с его общедоступностью потребительских благ). В ходе реинкарнации II «Русская Власть» не обрела собственного сакрального основания и поэтому вынуждена была обратиться к православным корням в их традиционной этакратической оболочке: верховный правитель рассматривается де-факто и неявно, как верховный жрец (эхо византийского цезарепапизма). Гегельянец вспомнил бы здесь про закон отрицания отрицания.

В общественном сознании прочно присутствует восприятие настоящей (в смысле должной) власти как некоей трансцендентальной и дистанцированной от рядовых людей субстанции. В силу этого она не может быть выборной: «Если власть выбирают, реально делегируют ей полномочия, которые можно и отнять, она перестает быть Русской Властью, ибо исчезают ее дистанцированность и трансцендентальная природа» [Бляхер 2002, с. 83]. Отсюда выборы в России, и, в первую очередь, выборы первого лица в государстве есть не наделение властью, а обряд поклонения ей⁷.

⁶ Речь идет о сакральности власти как принципа, как идеала, что, конечно же, далеко не всегда тождественно сакральности той или иной реальной власти в России и тем более ее представителей.

⁷ Не случайно на президентских выборах 2018 г. российские власти более всего озабочены явкой, т. е. процентом присягнувших на верность принципу самовластья.

На присутствие самовластья как должной модели организации власти в общественном сознании могут указать данные социологических опросов. При всей условности получаемой из них информации, никакой альтернативы им нет. Обращает на себя внимание повторяющийся много лет опрос россиян «Левада-центром» относительно предпочтительных моделей политических и экономических систем. При ответе на вопрос «Какая политическая система кажется Вам лучшей: советская, нынешняя или демократия по образцу западных стран?» в январе 2016 г. только 13% предпочли последнюю (в марте 2015 г. — 11%). В 2016 г. пользу советской высказалось 37%, нынешней — 23% [Левада-Центр 17.02.2016]. Таким образом, самовластью явно предпочитают 60%, представительное правление — лишь 13%. И тот факт, что в предыдущие годы (до Крыма) процент последних был выше, мало о чем говорит. Именно «крымские события» позволяют выявить тех, кто, вопреки всему, твердо придерживается не разделяемых большинством убеждений.

Было бы странным, если бы принятие массами самовластья не отражалось в уникально высоких и достаточно устойчивых рейтингах первого лица государства. Они уже не воспринимаются социологами как некая ненормальность («тефлоновый президент» и пр.). Давно свыклись. Достаточно открыть любой ежегодник «Левада-центра». Например, последний — «Общественное мнение — 2016». На протяжении 11 страниц (с 86 по 96 включительно) респонденты воздают должное своему кумиру. Особо показательно распределение ответов на вопрос о том, хотели бы россияне видеть В. Путина на посту президента и после 2024 г. (т. е. реально в виде пожизненного правителя России). 49% хотели бы, 28% — нет [Общественное мнение — 2016 (2017), с. 96].

Второй важнейшей составляющей институционального ядра следует считать *имперство*. Согласно А. Пелипенко, это качество вытекает из базовой («корневой и самоценной») идеи Русской матрицы — господства. Отсюда происходит «идеократический проект установления должного мирового порядка в форме безраздельного господства везде, где только можно. В идеале — на всей Земле» [Пелипенко (2013)]. Московия, как известно, безудержно рвалась к территориальной экспансии, но далеко не только обретение самих территорий представляло для нее интерес. Ей, прежде всего, было важно сокрушить антагонистический социальный порядок соседантипода в лице Великого княжества Литовского (ВКЛ).

Дело в том, что Русь, подобно Римской империи, разделилась на Западную и Восточную после покорения ее татара-монголами.

Западная часть, в конечном счете, вошла в состав ВКЛ и обрела независимость от Орды. Восточная же, с новым центром в Москве, трансформировалась в филиал (колонию) Орды и, управляясь, говоря современным языком, на принципах франчайзинга (ярлыков на княжение), постепенно внедряла у себя ее институты. Потом колония восстала против ослабшей метрополии, но конечный успех сопротивления не изменил главного: Московия стала институциональным слепком с ордынских порядков. И этот факт объясняет последующее ее наступление на несовместимые с ней и опасные для нее социальные устройства соседних государственных образований: Великий Новгород и ВКЛ⁸.

I реинкарнация Матрицы Московии возвела экспансию в основополагающий принцип существования России/СССР («мировая революция» под знаменами III Интернационала). Под новым идеологическим обоснованием на самом деле скрывалась все та же суть: институциональная экспансия порядков «новой» Московии, но только претензии теперь распространялись уже не только на соседей или славянский мир (как во времена имперской России), а на весь мир (см. вышеприведенную цитату из работы А. Пелипенко). Институциональная конкуренция, разворачивавшаяся до сей поры на относительно ограниченном пространстве, в результате I реинкарнации Матрицы Московии стала глобальной⁹.

В XX в. Россия возглавила глобальную контрмодернизацию или мировое восстание против капитализма. «Мы на горе всем буржуйм/Мировой пожар раздуем» [Блок (1989), с. 370]. Глубинный смысл этого восстания предельно точно уловил американский либертарианец Б. Линдси. Он назвал его промышленной контрреволюцией или движением «назад в будущее», которое «обещало все достижения на-

⁸ ВКЛ в XVI в. было страной более европейской, чем даже многие страны Западной Европы того времени. В 1588 г. был принят Статут ВКЛ, подготовленный под руководством канцлера А. Воловича и подканцлера Л. Сапеги. «В этом документе ярко отразились общеевропейские гуманистические веяния: главенствующий авторитет закона и общественной жизни; приоритет светской власти над духовной; тенденция к усилению правовых гарантий личности и имущества членов общества независимо от их сословного положения, уравнение в правах перед законом членов общества разного вероисповедания, ответственность государственных чиновников перед законом, усовершенствование судопроизводства на основе принципов справедливости» [Левицкий 2015, с. 233].

⁹ «Цивилизация, воплощающаяся в облике “агрессивного” и одновременно “загнивающего Запада”, воспринимается традиционными и тоталитарными обществами как нечто чуждое, идущее извне, грозящее национально-почвенным идеалам, а потому и как губительная сила. Стало быть, против носителей этой цивилизации и ее принципов следует применить насилие...» [Кантор 2007, с. 101].

уки и техники через возврат к архаическим социальным ценностям» [Линдси (2006), с. 47]. К. Маркс преобразовал «ностальгическую тоску по традиционному обществу в пророческое видение исторически предначертанного будущего» [Там же, с. 324]. Архаика пошла в наступление под маской прогресса. И не просто под маской, а с тем реальным оружием (производительными силами), которые к тому времени выковал прогресс.

«Гений промышленной контрреволюции заключался не в способности найти компромисс между прогрессом и реакцией, а в ассимиляции продуктов прогресса и их использовании в реакционных целях» [Там же, с. 47]. Более того, новая архаика оказалась в состоянии не только ассимилировать продукты материального прогресса, но и развивать их в тех областях, которые обеспечивали военное противостояние модернизированным обществам. Осуществлялось же все это научно-техническое развитие в рамках новых общественных отношений, провозглашавшихся посткапиталистическими, но на деле являвшихся взрывной реакцией докапиталистических социальных связей¹⁰.

В конце XX-начале XXI вв. ТОСТ пережили серьезную мутацию, представленную, в первую очередь, превращением командных экономик в административно управляемые рынки. ТОСТ-1.0 обрели новые качества и превратились в ТОСТ-2.0. После чего они возобновили широкое наступление на модернизированный мир, который за последние два десятка лет трансформировался в постиндустриальное общество (общество постмодерна). Надежда последнего обезопасить себя от традиционалистов за счет растворения их в потоке модернизации оказалась тщетной: бурный экономический рост Китая не превратил его в свободное общество, а Россия после временного отката от огосударствления в 90-е гг. XX в. вновь пошла по пути построения властной вертикали, подавившей глубоко чуждые исконной ее природе гражданское общество, независимый бизнес и, естественно, политическую демократию. «Конец истории» не состоялся, земная цивилизация не превратилась в спокойное мирное сообщество модернизированных стран, а осталась зоной острого конфликта двух систем: ТОСТ-2.0 сегодня наращивает противостояние с постмодерном.

Одной из наиболее острых форм такого противостояния в Европе оказалась российская экспансия в Украину. Понять глубинный

¹⁰ «Тоталитаризм есть реакция традиционного общества на техногенную цивилизацию с использованием всех приобретений этой цивилизации для воскрешения прошлого» [Там же, с. 100].

смысл этой интервенции можно только через рассмотрение ее в русле описанной выше институциональной конкуренции двух систем. В сущности, это продолжение конфликта Московии с ВКЛ: изменились только системы залпового огня, но это — не существенно. Для России утверждение западных (правовых) институтов на огромной сопредельной территории бывшей Советской империи явилось бы с большой вероятностью предпосылкой подрыва ее собственной институциональной идентичности, которую она обозначает в повседневном дискурсе как «суверенитет». Отсюда сам факт наличия потенциальной возможности такой трансформации соседа воспринимается как экзистенциальная угроза (см. приведенную выше цитату из работы Кантора о чужеродности Запада тоталитарным системам). Иначе говоря, Россия атакует Запад не потому, что она что-то с ним не поделила (хотя как сопутствующее обстоятельство и такой конфликт может иметь место), а просто потому, что он — Запад (таков, каков он есть). Борьба двух систем как институциональных антагонистов никуда не делась, не осталась в прошлом, как ошибочно стали считать в 90-е гг. прошлого века; просто понадобилось некоторое время на переформатирование из ГОСТ-1.0 в ГОСТ-2.0.

Может ли Россия вести себя по-другому? Быть чем-то вроде «Северной Бразилии», относительно спокойно существующей и даже развивающейся в рамках периферийного капитализма. По всей видимости, нет. Дело в том, что ее базовые институты неизбежно обрекают ее на отставание от Запада в гражданской области, она заведомо проигрывает ему на том поле, которое в социалистическую эпоху именовалось «мирным сосуществованием двух систем». И лишь в конфронтации с Западом ее институты сравнительно эффективны, позволяя вовлечь в гонку вооружений гораздо больший процент ВВП¹¹. Матрица Московии — это набор институтов, заточенных, прежде всего, на милитаризацию.

Имперское мышление — это не только состояние умов представителей российской элиты. Оно в полной мере присуще и массам. Склонность к имперству (державности) неплохо выявляют

¹¹ Доля ВПК в ВВП в советское время по самым скромным оценкам составляла 8,1% ВВП, а по другим оценкам доходила и до невероятной цифры в 30% ВВП [Роузфилд 2015, с. 791–792]. В 2016 г. суммарные военные расходы российского федерального бюджета, рассчитанные в соответствии со стандартом ООН для военных расходов, выросли на 0,6% ВВП и достигли 5,7% ВВП [Российская экономика... 2017, с. 512]. Согласно традиционной схеме расчета, расходы бюджета расширенного правительства на национальную оборону выросли с 2,7% ВВП в 2012 г. до 4,4% ВВП в 2016 г. [Там же, с. 56]. В то же время многие страны НАТО не могут дотянуть военные расходы и до 2% ВВП.

соцопросы. В мае 2016 г. определенно поддерживали присоединение Крыма к России 57% респондентов и скорее поддерживали 31%. И совсем немного было тех, кто разделял противоположные позиции: 8% были скорее против присоединения и лишь 2% определенно против [Общественное мнение — 2016 (2017), с. 208].

Восприятие крымских событий служит самым значимым индикатором спроса российского населения на «державность». Тот же «Левада-центр» предлагал респондентам в марте 2016 г. ответить на следующий вопрос: «О чем, по Вашему мнению, прежде всего, свидетельствует присоединение Крыма к России?». И предлагал два варианта ответов. Первый звучал так: «О том, что Россия возвращается к своей традиционной роли «великой державы», утверждает свои интересы в постсоветском пространстве». Его поддержали 79% опрошенных. Второй вариант ответа содержал следующую формулировку: «О растущем авантюризме российской власти, стремящейся отвлечь население от реальных социальных и экономических проблем, коррупции, недовольстве властями в самой России». В его пользу высказались 9% опрошенных [Там же].

Особо показательны данные, полученные «Левада-центром» в январе 2017 г. Впервые в перечень возможных ответов на вопрос: «Какие события и явления в истории страны вызывают у Вас чувство гордости?», был включен вариант «Возвращение Крыма в состав Российской Федерации» и он сразу занял второе место после победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., опередив даже ведущую роль страны в освоении космоса. В том же исследовании предлагался и такой вопрос: «Что вызывает у Вас чувство стыда и огорчения, когда Вы обращаетесь к российской истории двадцатого столетия?». На втором месте по частоте ответов оказалось разрушение СССР. Одновременно с этим стыд за стремление силой навязать свой строй другим странам и народам почти что сошел на нет: с 15% в 1999 г. до 4% в 2017 г. [Левада-Центр 01.03.2017]¹².

Все это означает, что идеология великодержавности, пережив кризис в 1990-е гг., в полной мере вернулась на свое прежнее ме-

¹² Возвращаясь к проблеме Крыма заметим, что российские граждане в большинстве своем не видят в присоединении Крыма к России нарушений международного права и международных договоренностей. «Скорее, нет» ответили 34% респондентов и «определенно нет» — 44%. На ответ «скорее, да» пришлось 9%, «определенно да» — 4%. При этом они «неравнодушны» к обустройству чужих территорий. 21% хотят, чтобы Восток Украины стал частью РФ, 37% — чтобы стал независимым государством, 21% — чтобы остался частью Украины, но получил большую независимость от Киева, и только 7% чтобы оставался частью Украины на тех же условиях, что это было до кризиса [Левада-Центр 18.04.2017].

сто. Комплекс сверхценности собственного социального порядка, который не только не стыдно, но и почетно насильственно вменять другим народам и странам, снова стал одной из ведущих доминант в российском менталитете¹³.

Центральное место власти в российском социуме обуславливает и третью базовую черту российского институционального порядка: *власть-собственность* или *властесобственность*.

Исследователи не могли не обратить внимания на то, что с собственностью в России в ее привычном западноевропейском понимании уже много веков творится что-то не то. Применительно к помещной форме владения землей в средневековой Московии историки стали говорить об «условном держании» и о государстве как «вотчинном владении» его правителя (монарха), который становился «верховным собственником» всего и вся на подвластной ему территории. Поскольку эти традиционные отношения воспроизводятся в трансформированном и модифицированном виде в течение столетий, то вполне закономерно, что именно в России была разработана и развита применимая к их описанию концепция «власти-собственности»¹⁴.

«Власть-собственность как основная характеристика «восточного деспотизма» — это нерасчлененное единство властных и собственнических функций. Речь идет о таких «правилах игры», когда политическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность органически подразумевает наличие политического авторитета» [Нуреев, Латов (2011), с. 30]. И. Бережной и В. Вольчик раскрывают сущность этого понятия через следующие три базовые характеристики. Во-первых, наделение правами соб-

¹³ Здесь нет места раскрывать истоки этой доминанты. Интересующихся можно отослать к лекции Ю. Пивоварова, где рассматривается происхождение убеждения русского народа о себе как «держателя истины в последней инстанции», нового «богоизбранного народа» и, кстати, представления о царе как «хранителе ключа от этой истины», становящегося в результате и «первым духовным лицом» [Пивоваров 2010]. И если институциональную конкуренцию можно назвать объективной основой русского имперства, то описанная Ю. Пивоваровым политическая культура становится его идеологическим каркасом, который мог нести и иное содержание (как это было в социалистическую эпоху), оставаясь по своему глубинному смыслу тем же самым: мы вправе нести миру свет истины. Именно отсюда и проистекает, в частности, показанное выше отношение к международному праву: какое, мол, там еще право, когда за нами правда!

¹⁴ Обзор посвященных этому феномену российских исследований в период до 2006 г. см.: [Цирель 2006]. За прошедшие 10 лет количество публикаций по этой теме значительно выросло [Бережной, Вольчик 2008; Рунов 2009, Нуреев 2013, Плискевич 2006, 2015]. Р. Нуреев и Ю. Латов рассматривают всю историю России в качестве циклов борьбы доминирующей власти-собственности с ее антагонистом в лице периферийной частной собственности [Нуреев, Латов 2016].

ственности на те или иные объекты возможно лишь при деятельном участии государства как основного агента распределения (перераспределения). Во-вторых, собственность может быть отображена в любое время, если власть заинтересована в перераспределении этой собственности. В-третьих, представители власти получают ренту (в явной или неявной форме) от объектов, включенных в отношения власти-собственности [Бережной, Вольчик 2008, с. 116].

В историческом плане власть-собственность прошла четыре этапа. Первый — это поместное и вотчинное владение в Московии. Различия между ними сводились к тому, что последнее было несколько ближе к классической частной собственности, однако, в сущности, и ей были свойственны качества условной собственности. Об этом свидетельствует сравнительный анализ вотчин и поместий как форм служебного землевладения в Московском государстве [Нуреев, Латов 2016, с. 33–37]. Бессонова пишет об общественно-служебной собственности как фундаменте российской матрицы, доступ к использованию объектов которой осуществляется в обмен за службу [Бессонова 2015, с. 19–21].

С конца XVIII в. начался длительный период отступления власти-собственности и столыпинская реформа означала покушение на последний ее оплот: крестьянские общины, которые выступали как властные коллективы по отношению к отдельным производителям, сосредотачивающие в своих руках полномочия по переделу используемых земельных угодий между ними. Можно сказать, что в начале XX в. власть-собственность почти целиком ушла в низовые организации крестьянства в сельской местности, хотя наблюдались достаточно большие полномочия государства по отношению к владельцам частной собственности сохранявшие некоторые наследственные признаки условного владения.

Социалистическая эпоха стала эпохой подлинного ренессанса власти-собственности. Можно сказать, что община победила общество. Нуреев и Латов применительно к советскому социализму говорят о власти-собственности «государства-класса» [Нуреев, Латов 2016, с. 132–137]. Степень условности распоряжения государственными активами стала максимальной, что вытекало из централизованного директивного планирования. В то же время агенты государства-принципала (руководители предприятий) ближе к концу социалистической эпохи видели себя нечто большим, чем простыми исполнителями воли верховного собственника. В условиях охватившего СССР общего кризиса в период т.н. перестройки они стали могильщиками власти-собственности в ее социалистическом обличье, де-факто захватывая

выделенные им в оперативное управление активы и становясь их квази-собственниками.

В 1990-е гг. в разгар реализации программ приватизации казалось, что власть-собственность — это уже экономическая история России, а не ее настоящее и уж тем более не ее будущее. Последующее десятилетие показало, что это не так. В настоящее время власть-собственность утвердилась снова и ее формы очень напоминают деление на поместья и вотчины в Московии. Поместья — это формально государственная собственность и некое ее подобие (государственные корпорации), отданная в управление менеджерам. Это — чисто условная собственность, хотя операционные возможности этих менеджеров несравненно больше по сравнению с социализмом (не говоря уже о доходах). Надо заметить, что современная поместная форма распоряжения активами заметно усиливала свои позиции¹⁵. В то же время формальные собственники (современные вотчинники) также являются условными держателями и сохраняют себя в этом качестве лишь благодаря тому, что исполняют роль порученцев государства как верховного собственника. При этом положение дел с правами формально частной собственности можно кратко описать выдержкой из интервью радио «Свобода» бывшего известного российского политика И. Заславского: «В России нет независимых бизнесменов, нет частной собственности, нет свободного рынка. От большого до малого бизнеса, особенно олигархи, то количество денег, которые у них есть на счетах и чем они номинально владеют, это в любой момент может быть отнято — это условная собственность» [Соколов 17.10.2016].

Четвертым качеством институционального ядра России назовем *деавтономизацию личности*. Под этим понимается уничтожение человека как суверенной личности через принадлежность ее верховному началу. «...Русская Власть, моносубъект, похищающий субъектность и субъектные потенции у всех остальных участников отечественного исторического процесса» [Пивоваров 2002, с. 47].

«Похищение субъектности», с одной стороны, может быть связано с тем, что О. Бессонова называет служебным трудом. «Служебный труд — участие в трудовом процессе на объектах общественно-служебной собственности и (или) выполнение определенных функций в интересах всего общества — носит обязательный характер...» [Бессонова 2015, с. 23]. Именно служебный (= принудительный) труд и по-

¹⁵ Согласно Докладу о конкуренции Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по итогам 2015 г. вклад государства (с учетом бюджетных организаций) в ВВП Российской Федерации может составить около 70%, тогда как в 2005 г. эта доля составляла около 35% [ФАС 2016]

звонит о «служебном государстве». В нем каждый человек — не автономная единица, а — функция. Служебный труд, как известно, в истории России абсолютно доминировал до объявления дворянских вольностей во второй половине XVIII в. Однако и далее он был представлен крепостным правом, а после его отмены фактически сохранялся в крестьянских общинах, выйти из которых до столыпинской реформы было достаточно трудно. Социализм стал возрождением служебного труда в масштабах всей страны и всего населения. Труд был вменен всем как обязанность, уклонение от которого рассматривалось как уголовное преступление (т.н. «тунеядство»). При этом свобода перемещения была в той или иной мере также ограничена (институт прописки, запрет на выезд из страны).

Вторая реинкарнация Матрицы Московии пока, в целом, не возродила служебный труд как универсальную систему, несмотря на появление отдельных намеков на потенциальную возможность такового. Однако деавтономизация личности всю проявилась в другом — в неспособности человека оградить себя от произвольного обращения с ним властей: недопущения необоснованного уголовного преследования, ареста, что, как увидим, стало нормой в отношении предпринимателей.

Исследователи феномена «власть-собственность» обычно упускают из вида следующее его качество: в нем подчинение агента принципалу обеспечивается снятием личной неприкосновенности с первого. Сама личность агента должна быть незащищена от насилия и произвола со стороны власть имущих. И в этом весь резон: если агент вздумает играть строго по прописанным в законах формальным правилам, то при наличии в обществе твердых юридических гарантий его гражданских прав он будет неуязвим для уголовного преследования. Просто будет не за что преследовать. А нужно, чтобы всегда было за что. Поэтому предприниматель фактически перестает быть свободной личностью: в современной России он в чем-то подобен крепостному крестьянину из эпохи Екатерины Великой, когда барин мог не только принудить его к барщине или выплате оброка (аналог дани силовикам), но и вынести ему приговор по собственному усмотрению (сослать на каторгу в Сибирь). В последнем случае он, разумеется, переставал быть даже условным держателем жилья, скота, инвентаря и пр. Здесь можно провести аналогию со столь распространенным в России силовым отжимом бизнеса, который обычно протекает под прессом возбужденного уголовного дела и, нередко, ареста предпринимателя под каким-нибудь надуманным предлогом. В России он пребывает в личной зависимо-

сти от привилегированных («титულных») сословий и может только мечтать о своей *Magna Carta*¹⁶.

К исходу президентского срока Д. Медведева (2011 г.) преследование предпринимателей по уголовным статьям достигло такого размаха, что поле для кормления сузилось и власть заговорила об амнистии осужденным. В этот период были проведены исследования сложившейся ситуации и они открыли весь масштаб происходящего. За 2000–2010 гг. в связи с предпринимательской деятельностью уголовной репрессии было подвергнуто такое количество лиц, которое составляет 15,2% от общего числа субъектов экономической деятельности (коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, фермеры) по состоянию на 2010 г. По экспертным оценкам число находящихся в местах лишения свободы лиц, осужденных в связи с предпринимательской деятельностью, составляло в 2007–2009 гг. свыше 100 000 человек [Верховенство 2013, с. 439]. 80% осужденных к моменту возбуждения уголовного дела имели стаж предпринимательской деятельности свыше 10 лет [там же, с. 476].

О чем говорят эти цифры? 15,2% — это примерно каждый шестой-седьмой. Как отмечается относительно этих цифр в одной из работ, столь обширные уголовные репрессии в отношении определенного социального слоя наблюдались только во время кампании по раскулачиванию в 20–30-е гг. прошлого века [Григорьев и др. 2011, с. 26]. Далее можно сделать вывод, что у предпринимателей растет шанс пополнить тюремный контингент по мере роста предпринимательского стажа. Нет возможности просчитать ожидаемый средний срок пребывания в бизнесе до возбуждения уголовного дела, но приводившаяся цифра в 75 тыс. арестов представителей деловых кругов в год достаточно впечатляет [Верховенство... 2013, с. 464]. Это — уникальная российская практика. Как отмечает профессор университета Торонто П. Соломон, «уголовное преследование большого количества руководителей предприятий и организаций и назначение им наказания в виде лишения свободы применяются только в России» [Соломон 2013, с. 413].

Эксперты давно заметили исключительно большой разрыв между количеством возбужденных по экономическим статьям уголовных дел в отношении предпринимателей и доведенных до суда (в отличие от дел по другим статьям УК). Последние составляли по отношению к первым 10–15%. Иначе говоря, только на одно переданное в суд дело приходится 6–10 возбужденных [Волков, Панеях, Титаев 2010, с. 3].

¹⁶ «Чтобы личность свободного человека не могла быть подвергнута аресту, заключена в тюрьму или лишена прав на владение своею землею, или поставлена вне закона, или изгнана или каким-либо способом обездолена...» [Цит по: Петрушевский 2016, с. 193].

Последовавшие исследования подтвердили наличие данного разрыва [Верховенство... 2013, с. 439]. Более того, его подтвердил и президент РФ в Послании Федеральному собранию от 03.12.2015. За 2014 г. следственными органами было возбуждено почти 200 тыс. уголовных дел по экономическим статьям. До суда дошли 46 тыс., еще 15 тыс. развалились в суде. Таким образом, приговором закончилось лишь 15% дел. При этом 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. Как выразился президент, «их попресовали, обобрали и отпустили» [Послание... 03.12.2015]. В 2016 г. ситуация не стала лучше: было возбуждено 240 065 уголовных дел по экономическим преступлениям, при этом до суда дошло не более 18%. А к реальным срокам лишения свободы приговорили примерно 20% обвиняемых [Корня 11.04.2017]. Эти соотношения (дошедшие до суда дела/возбужденные дела; приговоренные к реальным срокам/дошедшие до суда) можно назвать индексами государственного ржета. Они показывают относительные величины площади «поля кормления» силовиков. Эти площади при желании можно выразить и в абсолютных цифрах (как разности).

Вторая реинкарнация Матрицы Московии сохранила такое институциональное качество российского общества как *сословную структуру*. Она, в сущности, не исчезала полностью даже в пореформенной России. Историк С. Эжштут назвал это «партерной иерархией»¹⁷. Подробный анализ современного российского общества как сословного дан в работе социолога С. Кордонского [Кордонский 2008]. Она пришла на смену сословности социалистической эпохи. Не будем здесь вдаваться в подробности; заметим только, что «сословия имеют различающиеся права и обязанности перед государством и несут разные государственные повинности» [Там же, с. 28]. В настоящее время (и это не большой секрет) в качестве наиболее привилегированного сословия в России выделяется силовая бюрократия (номенклатура), которая является главным бенефициаром распределения *административной ренты*. Последняя неразрывно связана с сословностью и составляет шестой системообразующий признак институционального ядра современной России.

Исследователи обращают внимание на то обстоятельство, что неверно трактовать эту ренту как коррупцию. Кордонский, рассма-

¹⁷ Эта иерархия «сторго соблюдалась в театрах северной столицы Российской империи и носила откровенно антибуржуазный характер: даже в пореформенной России зрители покупали билеты и рассаживались в зале, исходя не из собственных материальных возможностей, а в строгом соответствии со своим социальным статусом и сословной принадлежностью» [Эжштут 2012, с. 17–18].

тривая российское общество как сословное, где оно не отделено от государства, определяет то, что обычно принято именовать коррупцией, как сословную ренту. В то же время «интерпретация сословной ренты как коррупции... представляется совершенно неадекватной, так как коррупция — феномен рыночный и характерный для классового общества, в котором общество отделено от государства, в то время как сословная рента интегрирует сословия в целостность сословного общественно-государственного устройства и функционально необходима» [Кордонский 2008, с. 89–90]. И видит проблему сословной ренты не в том, что она есть, а в том, что она нелегитимна [там же, с. 90]. Однако, в последнем пункте не согласимся с автором. Нелегитимность (точнее, незаконность) здесь не проблема, а, напротив, удачное институциональное решение, формирующее подсистему страха как один из ключевых элементов управления в постсоветском служилом государстве. Если закон нарушают все, то управлять можно каждым.

С. Барсукова и А. Леденева делают упор на то, что необходимо по-разному смотреть на коррупцию в зависимости от того, с каким именно обществом мы имеем дело. Они различают универсалистские общества, где публичное и приватное разделены, и партикуляристские, где они слиты. Международные организации находятся в плену «коррупционной парадигмы», предлагая для всех одинаковые рецепты антикоррупционных действий по модели универсалистских обществ. В то же время коррупция — это не ситуация, а ее интерпретация в конкретно-историческом аспекте. Нельзя, например, практику кормления называть коррупцией, пользуясь модернистским языком [Барсукова, Леденева 2014]. Даже такой публичный политик как экономист Г. Явлинский пишет, что «то, что у нас называют коррупцией, ею не является» [Явлинский 2013, с. 40]. Поскольку «в современной России это не частный случай, а сама суть государственной машины» [Там же]. И в последней своей монографии он развивает ту же мысль, говоря о ней как о норме поведения и элементе политического управления [Явлинский 2015], с. 61–62].

В заключение немного об устойчивости Матрицы Московии (институционального ядра). Сперва обратимся к концепции В. Полтеровича [Полтерович 2004]. В ней устойчивость институтов в длительном историческом периоде связывается (в какой степени обосновано — это другой вопрос) с тремя эффектами. Во-первых, с эффектом координации: чем больше акторов следуют норме, тем ниже транзакционные издержки при ее соблюдении и тем выше издержки оппортунистического поведения по отношению к ней. Во-вторых, эффектом обучения: транзакционные издержки снижаются по мере закрепления навыков

следования норме с течением времени и параллельно повышаются издержки переключения на альтернативную норму. И, в-третьих, с эффектом культурной инерции: нежеланием акторов менять устоявшиеся стереотипы поведения.

Если первые два эффекта раскрыты, то последний просто постулирован. И это — закономерно. Для автора-экономиста именно он представляет главную трудность, поскольку не позволяет оперировать привычными понятиями издержек и выгод или, по меньшей мере, затрудняет их применение. Однако на самом деле не все так плохо, если обратиться за помощью к классике новой институциональной истории — Д. Норту. Он понимал культуру весьма широко; согласно ему «культура общества — это кумулятивная совокупность всех существующих представлений и институтов» [Норт 2010, с. 124]. Иначе говоря, культура — это представления (убеждения) плюс институты. Таким образом, институты включаются в широкое определение культуры. И если «институты имеют значение», то и культура имеет значение.

Культура «представляет собой межпоколенческий перенос норм, ценностей и идей» [Там же, с. 81]. Обществу бывает необходимо время от времени давать ответы на новые вызовы, и именно «культурное наследие во многих случаях будет определять их успех или неудачу» [Там же, с. 35].

Устойчивость культурного наследия порождает «эффект колеи», который трактуется Нортом как «способ, при помощи которого институты и убеждения, сформированные в прошлом, влияют на нынешние решения...» [Там же, с. 39]. Норт указывает на то, что «вопрос о том, в какой степени это культурное наследие «поддается» целенаправленной модификации, до сих пор остается малоизученным» [Там же, с. 224]. Однако «оно при любых условиях резко ограничивает наши возможности по осуществлению изменений» [Там же]¹⁸.

Опираясь на вышеприведенные положения Норта, рассмотренное выше институциональное ядро России можно интерпретировать как квинтэссенцию ее политико-экономической культуры. Разумеется, в него могут быть включены и некоторые другие институты, а некоторые из рассмотренных признаны не столь значимыми в историческом времени. Это — вопрос дальнейших исследований в этой области. Представленный же в данной работе выбор институтов обусловлен, прежде всего, тем, что российская политическая культура «властечцентрична» [Пивоваров 2010], и этот конкретный их набор, по мнению автора, характеризует ее наиболее последовательно и всесторонне.

¹⁸ Подробнее см.: [Заостровцев 2014].

И последнее. Является ли это институциональное ядро одновременно и институциональной ловушкой для России? Если институты-долгожители изначально были неэффективны или утратили эффективность с течением времени, то в таком случае их существование сковывает развитие общества и они становятся институциональной ловушкой. В этом довольно стандартном понимании проблемы действительно кроются довольно большие сложности. Прежде всего, что понимать под термином «эффективность»? Разумеется, не Парето-эффективность — эту интеллектуальную игрушку микроэкономистов. Речь идет о том, что Норт называл адаптивной эффективностью¹⁹. И с позиции адаптивной эффективности институциональное ядро (или Матрицу Московии) нельзя оценить однозначно. Старые институты менялись в ответ на вызовы, но при этом оставались самими собой в том смысле, что не меняли своей глубинной природы и уж тем более не замещались какими-то иными, принципиально новыми²⁰. Можно сказать, что они трансформировались ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы поменять соху на атомную бомбу (если вспомнить приписываемое У. Черчиллю изречение о сталинском наследии). Однако атомная бомба, в свою очередь, служила (и служит сейчас) превосходным консервантом этакратического порядка как уходящего в глубь веков социального наследия Московии и Орды. Традиционное общество, как было уже сказано выше, оказалось достаточно эффективным, чтобы сохраняться, модифицируясь в ТОСТ-1.0 и ТОСТ-2.0, и благодаря этому бросать вызовы на протяжении столетий своим институциональным антагонистам. А российское общество оказалось, в целом, весьма неэффективным в плане успешной имплантации этих институтов-антагонистов, т. е. с точки зрения теории модернизации традиционных обществ.

Завершим наши рассуждения на эту тему данными опроса, который был проведен в 2015 г. немецким Фондом имени Ф. Науманна при поддержке «Левада-центра». Согласно ему, больше половины жителей РФ не считало для себя важными такие европейские ценности как

¹⁹ «То, что я называю адаптивной эффективностью, представляет собой непрерывное состояние, при котором общество продолжает изменять старые или создавать новые институты с появлением очередных проблем» [Норт 2010, с. 242].

²⁰ «Историческое развитие России демонстрирует фундаментальную преемственность институтов, которая сохраняется даже перед лицом радикальных переворотов» [Хедлунд 2015, с. 188]. «Царская империя, республика, советская ли система, или Российская Федерация, тем не менее, мы видим в меняющихся формах одно и то же содержание, одну и ту же субстанцию» [Пивоваров 2010].

свобода, демократия, правовая государственность и соблюдение прав человека. По-настоящему важными эти ценности называли только 8% россиян. «Скорее всего, — пришли к выводу авторы исследования, — именно эта доля населения России разделяет моральные нормы и ценности гражданского общества и правового государства» [Цит. по: Жолквер 2015].

Советская власть выработала прекрасное по своей лаконичности и точности определение — «отщепенцы». В данном контексте, это люди, которые в рамках традиционного общества последней модификации (ТОСТ-2.0) принадлежат к антагонистической ментальной модели, разделяют ценности альтернативной культуры — культуры правовых обществ. Как мы видим, их явное меньшинство (примерно столько, сколько набирают на общероссийских выборах в совокупности демократические партии и кандидаты после очистки результатов от фальсификаций). И, по всей видимости, это не то меньшинство, которое в состоянии вывернуть наизнанку мир российской архаики.

Литература

Барсукова С., Леденева А. От глобальной коррупционной парадигмы к изучению неформальных практик: различие в подходах аутсайдеров и инсайдеров // Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 118–132.

Бережной И. В., Вольчик В. В. Исследование экономической эволюции института власти-собственности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Бессонова О. Э. Рынок и раздаток в российской матрице: от конфронтации к интеграции. М.: Политическая энциклопедия, 2015.

Блок А. А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников. М.: Правда, 1989.

Бляхер Л. «Презумпция виновности». Метаморфозы политических институтов в России // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 77–91.

Бляхер Л. Искусство неуправляемой жизни. Дальний Восток. М.: Издательство «Европа», 2014.

Верховенство права как фактор экономики / Под ред. Е. В. Новиковой и др. М.: Мысль, 2013.

Волков В. В., Панях Э. Л., Титаев К. Д. Произвольная активность правоохранительных органов в сфере борьбы с экономической преступностью. Статистический анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010.

Григорьев Л. М., Жалинский А. Э., Новикова Е. В., Федотов А. Г. Проблемы свехкриминализации и декриминализации экономической

деятельности // Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. С. 22–36.

Дубовцев В. А., Розов Н. С. Природа «Русской власти»: от метафор к концепции // Полис. 2007. № 3. С. 8–23.

Жолквер Н. (21.12.2015) Опрос: Почему россияне не любят прибалтов, но завидуют им? // <http://p.dw.com/p/1HREn> (Дата обращения: 27.04.2017).

Заостровцев А. П. Дуглас Норт о культуре и историческом развитии // Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных наук и искусств СПбГУ. М. — СПб.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. С. 195–217.

Кантор В. М. Между произволом и свободой. К вопросу о русской ментальности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.

Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. Введение в X–Y-теорию. М., СПб.: Нестор-история, 2014.

Корня А. (11.04.2017). Как защитить бизнес от уголовно-го преследования // Ведомости // <http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/11/685040-zaschitit-biznes> (Дата доступа: 27.04.2017).

Левада-Центр (18.04.2017). Присоединение Крыма к России // <http://www.levada.ru/2017/04/18/15811> (Дата доступа: 27.04.2017).

Левада-Центр. (01.03.2017). Гордость и стыд // <http://www.levada.ru/2017/03/01/gordost-i-styd> (Дата доступа: 27.04.2017).

Левицкий Г. Великое княжество Литовское. М.: Ломоносов, 2015.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010.

Нуреев Р. М. Политическая экономия российской власти-собственности // Институциональные аспекты взаимодействия власти, общества и бизнеса на постсоветском пространстве (постсоветский институционализм 2012) / Науч. ред.: Р. М. Нуреев, В. В. Дементьев, Е. Капогузов. Омск: Издательство Омского государственного университета, 2013. С. 34–59.

Нуреев Р. М., Латов Ю. В. Экономическая история России (опыт институционального анализа). М.: КНОРУС, 2016.

Общественное мнение — 2016. М.: Левада-центр, 2017.

Пелипенко А. (2013). Судьба русской матрицы // <https://rufabula.com/articles/2013/06/19/russian-matrix> (Дата обращения: 27.04.2017).

Пелипенко А. (2015). Проклятье Русской матрицы // <http://apelipenko.ru/Наука/Статьи/Статьи о России/Проклятье Русской матрицы.aspx> (Дата обращения: 27.04.2017).

Пелипенко А. Российская ментальность до и после смерти «Должного». Обсуждение доклада Андрея Пелипенко «"Русская система" в культурном измерении» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов / Под ред. И. М. Клямкина. М.: Новое издательство, 2011. С. 56–117.

Петрушевский Д. М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII в. М., Челябинск: Социум, 2016.

Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И. «Русская система» как попытка понимания русской истории // Полис. 2001. № 4. С. 37–48.

Пивоваров Ю. Традиции русской государственности и современность. Лекции, читанные на телеканале «Культура» в рамках научно-познавательного проекта «ACADEMIA» 31 мая — 1 июня 2010 г. // <http://bookre.org/reader?file=65335> (Дата доступа: 27.04.2017).

Пивоваров Ю. С. Русская политическая культура и political culture (общество, власть, Ленин) // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 23–50.

Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И. Русская Система и Реформы // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 4. С. 176–197.

Плискевич Н. М. «Власть-собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. 2006. № 3. С. 62–113.

Плискевич Н. М. Трансформация системы власти-собственности в России: региональный аспект. Реформы и качество государства // Мир России. 2015. № 1. С. 8–34.

Послание президента Федеральному Собранию. 03.12.2015. // <http://kremlin.ru/events/president/news/50864>. (Дата доступа: 27.04.2017).

Российская экономика в 2016 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 38). М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017.

Роузфилд С. Экономика военно-промышленного комплекса // Экономика России. Оксфордский сборник. Книга II / Под ред. М. Алексеева и Ш. Вебера. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 791–814.

Рунов А. Традиции власти-собственности, система должностных прав и приватизация в России // Права собственности, приватизация и национализация в России / Под ред. В. Тамбовцева. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2009. С. 90–152.

Соколов М. (17.10.2016). Оттащить маньяка от ядерной кнопки // <http://www.svoboda.org/a/28059125.html> (Дата доступа: 27.04.2017).

Соломон П. Г. Уголовное преследование и регулирование бизнеса: прекращение российской исключительности и культивирование верховенства права // Верховенство права как фактор экономики / Под ред. Е. В. Новиковой и др. М.: Мысль, 2013. С. 413–430.

ФАС (2016). Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации // <http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1685> (Дата доступа: 27.04.2017).

Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.

Четвернин В. А. Понятие права: конкурирующие парадигмы // Капитализм и свобода: сборник статей. СПб.: Нестор история, 2014. С. 161–205.

Четвернин В. А. Современная либертарно-юридическая теория // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 1. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 4–11.

Шкаратан О. И. Россия как евразийская цивилизация // Россия как цивилизация: материалы к размышлению / Под ред. О. И. Шкаратана и др. М.: Редакция журнала «Мир России», 2015. С. 12–65.

Экштут С. А. Закат империи. От порядка к хаосу. М.: Вече, 2012.

Явлинский Г. А. «Компенсационный налог» и проблемы защиты прав собственности // Верховенство права как фактор экономики / Под ред. Е. В. Новиковой и др. М.: Мысль, 2003. С. 21–43.

Явлинский Г. А. Периферийный авторитаризм. Как и куда пришла Россия. М.: Медиум, 2015.

Hedlund S. Vladimir the Great, Grand Prince of Muscovy: Resurrecting the Russian Service State//Euro-Asia Studies. 2006. Vol. 58. No. 5. P. 781–785.

Г. Л. Тульчинский

Осмысление российских модернизационных инверсий: от А. Ахиезера к С. Хедлунду

В статье рассматриваются варианты объяснения инверсивного характера российских модернизаций в XX-XXI столетиях. Работа содержит обзор ряда таких объяснений, как поспешные плохо продуманные решения, патологичность российского опыта, особый путь. Представлены и аргументированы слабости таких объяснений. Трудности объяснения связаны с доминирующей позитивистской парадигмой в экономике и политологии. Позитивистский подход сводит объяснение к подведению под общую категорию, кроме того он элиминирует активность актора, его мотивацию и волю. Предлагается возможность конструктивистского подхода, который позволяет реконструировать реформы как конкуренцию идей, выбор решения, его реализацию. Такое объяснение вскрывает главные проблемы модернизации российского общества: доминирование государства, отсутствие других реальных социальных сил, незавершенность вопроса о собственности. Это порождает общую неумяемость, безответственность, симуляционный характер российских реформ, отсутствие политической воли к их реальному осуществлению.

Ключевые слова: инверсии, конструктивизм, модернизация, объяснение, позитивизм, Россия.

The article considers options for explaining the inverse nature of Russian modernizations in the 20t-21st centuries. The work contains an overview of such explanations: as hasty ill-conceived decisions, as pathological the Russian experience, as a special way for Russia. The weaknesses of such explanations are presented and argued. The explanation difficulties are connected with the dominant positivistic paradigm in economics and political sciences. Positivist approach brings an explanation to summing up under the general category, it eliminates the activity of the actor, his motivation and will. the opportunity to The constructivist approach is offered the reconstruction of the reform as a ideas competition, the choice of solution, its implementation. This explanation reveals the main problems of modernizing Russian society: the domination

of the state, the absence of other real social forces, the incompleteness of the property. This creates a total insanity, irresponsibility, a simulation character of the Russian reforms, lack of political will to their actual implementation.

Key-words: constructivism, explanation, inversion, modernization, positivism, Russia

Для начала, вроде эпитафия, — две ключевые метафоры.

Первая связана с одним личным воспоминанием... Где-то в первой половине 2000 года поймал себя на том, что происходящее в стране отчетливо напоминает сцену из «Терминатора-2», когда «хороший» Терминатор разбил вдребезги «плохого», и эти осколки, как капельки ртути, стали стягиваться, собираться... И вот он уже поднимается, и бежит в погоню...

Вторая — связана античным мифом о царе Мидасе, которого проучил Дионис, буквально осуществив просьбу Мидаса, возжелавшего, чтобы все, к чему бы он прикасался, превращалось в золото. В этом плане российские модернизации последних десятилетий — история эдакого инверсивного анти-Мидаса, превращающего задуманное «золото» — в то, что золоту противоположно.

Действительно, кооперация в 1980-х вместо насыщения рынка товарами, развития конкурентной среды и, как следствия, снижения цен, обернулась фантастически галопирующей инфляцией. Демократические выборы — «электоральной автократией». Антикоррупционные законы — ростом коррупции. Etc, etc... Известен анекдот о российском производстве — что ни начнут собирать, все получается автомат Калашникова. А любое партийное строительство заканчивается созданием очередной КПСС.

В чем причины таких инверсий? Не претендуя на исчерпывающий анализ, в работе предлагается несколько предварительных схем объяснения.

Объяснение 1. Поспешность коротких мыслей

Непродуманная поспешность — такое объяснение лежит на поверхности. Практически все модернизации в российской истории (петровские реформы, реформы Александра II, советская индустриализация, горбачевская перестройка и ельцинско-гайдаровские реформы) имели характер ускоренных «транзитов», попыток вывести страну

к цивилизационному фронтиру на основе или имеющихся образцов, или представлений о «законах общественного развития».

С точки зрения теории и практики управления это принудительные нововведения, этакие революции сверху. У такого пути есть несомненное достоинство — принудительное нововведение способно дать выигрыш во времени, когда или уже времени совсем не остается, или власти хочется что-то «сделать по-быстрому». Поскольку такой путь — путь продавливания властной воли, постольку он всегда связан с какими-то формами сопротивления (личностного, организационного, осознанного, стихийного). Люди, включая исполнителей воли, могут противиться самой идее реформ, могут не понимать смысла происходящего, или понимать его, но не правильно. Поэтому принудительное нововведение предполагает полноту полномочий административной власти, необходимой для структурных изменений, увольнений, наказаний, наконец — просто насилия, оправдываемого необходимостью противодействия врагам изменений.

Иначе говоря, встав на этот путь, надо отдавать отчет в том, что без каких-то форм сопротивления и реакций на него не обойтись. Можно только демпфировать, смягчать это сопротивление за счет разъяснительной работы, создания социальной базы и групп поддержки, работы с их мотивацией, а также — систематического контроля за процессом — в целях принятия оперативных своевременных мер к источникам и носителям сопротивления. Очевидно, что реализация такой программы предполагает «длинную» политическую волю, включая: наличие ясного продуманного плана, консолидацию ресурсов и заинтересованных социальных сил, настойчивость, готовность к преодолению сопротивления.

История знает опыт не только успешных решений кризисов через консолидацию сверху, но и таких преобразований, когда в течение 10–15 лет в обществе радикально меняется институциональная среда и страна выходила из «третьего мира — в первый». Поэтому путь принудительной революции сверху выглядит привлекательным, особенно — для авторитарных и тоталитарных политических режимов. Но и гарантий успеха такой путь не дает. Непродуманность и поспешность действий оборачивается крахом и утратой легитимности. Причем, непродуманность и поспешность дополняют и стимулируют друг друга.

С одной стороны, поспешность часто не оставляет выбора и принимаются самые простые решения, без учета долговременных последствий — в духе «нам бы только ночь простоять, да день продержаться». Или лица, принимающие решения, сознательно выбирают простые, если не упрощенные, решения, которые нередко строятся

на мифологической основе, на идеологической утопии. В этом плане восходящее к марксизму упование на экономику, которая все решает, мало отличается от идеи невидимых рук рынка, которые все сами расставят по местам. И в том, и в другом случаях проявляется утопический антиисторизм.

При этом, с другой стороны, опасность непродуманной поспешности, реализации «коротких мыслей» еще и в том, что обычно она много обещает, вызывая неоправданные надежды. Крах таких надежд больно бьет по легитимности инициаторов реформ.

Так или иначе, но необходимость как принятия решений с «длинными мыслями», так и объяснений их неудач предполагает обращение к убедительной теории. Как говорил Ленин — нет ничего практичнее хорошей теории.

Объяснение 2. Россия как патология

Тема «современные социальные науки и Россия» весьма неоднозначна и даже провокативна. Так, звучавшие еще недавно уважаемые концепции, такие как «демократический транзит», «гибридные режимы», «постколониализм» не справляются с квалификацией и объяснением происходящих в России трансформаций, а значит, сталкиваются и с проблемой прогностики.

Более того, сама динамика трансформации противоречит некоторым ключевым положениям этих концепций. Так, вопреки добротной и уважаемой теории человеческого развития Р.Инглхарта (выработанной на основе почти сорокалетнего тщательного отслеживания динамики общественных ценностей в более чем 80 странах в рамках международной исследовательской программы «World Value Survey») российское общество с начала нынешнего столетия все более явно движется в направлении доминирования ценностей выживания и традиционализма, а не свободной самореализации [Инглхарт, Вельцель 2011]. При этом наблюдается возврат некоторых институтов советского времени (доминирование государства в экономике, роль спецслужб, государственный контроль над медийной сферой), что позволяет говорить об «институциональной колее», возрождении «советской политической системы» и так далее. И если в 1970–1990-х динамика ценностного развития в СССР соответствовала цивилизационному мейнстриму «человеческого развития», то сейчас движется вспять.

Современная экономическая теория, а вслед за нею — экономическая социология, а вслед за нею — политическая наука выработали

мощный корпус методов анализа, включая количественные, позволяющие строить достаточно тонкие аналитики эмпирических данных. Предпосылкой успешности этих аналитик является стабильность социума, к которым они применяются, прежде всего — правовых институтов, обеспечивающих принятие рациональных решений.

И этот концептуальный аппарат, являющийся несомненным достижением социальной науки, испытывает вызов при объяснении российских (а как теперь выясняется — и не только российских) реалий. Самыми свежими примерами этого являются распад СССР, проблемы европейской интеграции (от Греции до Brexit), серия мировых финансовых кризисов, успешные реформы тех, от кого этого не ожидали, но не тех, кому предсказывали успех и кому помогли, все более наглядный тренд развития популистского изоляционизма. Вся эта экономическая и политическая динамика оказывалась неожиданной для respectable науки, вынужденной объяснять происходящее задним числом. Й. Шапиро расценивает это как «бегство наук от реальности» [Шапиро 2011], а С. Хедлунд — как «системный провал» [Хедлунд 2015].

Подобная ситуация является серьезным вызовом «нормальной» (в смысле Т. Куна¹) науке, сформировавшейся на основе экономического маржинализма и связанной с ним экономической и политической социологии. И этот вызов серьезен. А его игнорирование порождает довольно парадоксальную ситуацию, когда из того обстоятельства, что Россия не укладывается в нормализованные маржиналистские схематизации, делается вывод о том, что сама Россия является патологией, а российская политическая наука станет нормальной только тогда, когда сама политическая реальность в России станет соответствовать канонам «нормальной» политической теории. Вывод, в чем-то трогательный, но означает ли это, что освоение respectable методов и концепций излечит российское общество от политических «патологий»?

Вместе с тем из истории научного знания хорошо известно, что возникновение противоречий, парадоксальных ситуаций свидетельствует не о патологии реальности, а о недостаточности теоретического аппарата, языка описания, о необходимости расширения горизонта рассмотрения. Иначе мы имеем ситуацию, аналогичную попыткам описывать половинки и четвертинки яблок языком целых положительных чисел. Так и с Россией: реальность не ловится сеткой концептуального аппарата, отточенного на другом материале. Диагнозы ставятся и лечения назначаются без знания реального больного.

¹ Наука достигает «нормальной» стадии, когда доминирование конкретной парадигмы сводит научное исследование к выстраиванию все более детальных описаний в рамках данной парадигмы [Кун 2003].

Объяснение 3. Колея особого пути

Если, с одной стороны, с точки зрения концепций, выработанных преимущественно на материале стабильных экономических систем и обществ, Россия представляет собой «заповедник патологий», то, с другой стороны, именно проблемы с адекватным ответом на концептуальный вызов порождают спекуляции относительно «особого российского пути», «колеи», российской «цивилизационной альтернативы». Это, в свою очередь, позволяет сторонникам «российской патологичности» констатировать отсутствие в России полноценной политической науки, которую подменяют не научные общие доморощенные суждения, описания и обзоры [Гельман 2014, с. 7].

Такие упреки, отчасти обоснованы, но вместе с тем нельзя не признать, что, в принципе, идея «колеи» согласуется с известной идеей «культура имеет значение» (*culture matters*), согласно которой культуры, как системы порождения, хранения и трансляции социального опыта решающим образом сказываются на развитии социума. [Культура... 2002; Харрисон 2008].

Кроме того, вряд ли заслуживают упрека в «ненаучности» глубокие обстоятельные отечественные исследования «российской специфики», опирающиеся на исторический материал, анализ формирования социальных и политических институтов, сказывающихся на принятии решений, их реализации. Так, Ю. С. Пивоваровым и А. И. Фурсовым разработана концепция «русской системы», опирающаяся на глубокий анализ формирования и развития российской политической культуры и государственности [Пивоваров, Фурсов 1999; Пивоваров, Фурсов 2001]. С. Г. Кордонским, в результате анализа уровней советской и российской власти как системы кормлений, разработана теория административных рынков [Кордонский 2006; Кордонский 2010]. Недавно используемая в этих работах методология была обобщена до матричного обоснования междисциплинарной методологии [Кордонский 2011]. Социолог А. П. Давыдов в результате тщательной многолетней аналитики содержания классической и новейшей русской литературы пришел к весьма неоднозначным выводам относительно ценностного содержания российской культуры.²

В этих аналитиках, при всем различии используемого материала и подходов, просматриваются общие существенные особенности российского социума. Во-первых, это доминирование в нормативно-ценностном базисе власти — как ключевого системообразующего фактора

² См. итоговую обобщающую публикацию [Давыдов, 2012].

и актора.³ Во-вторых — вторичность экономических отношений по отношению к властным. Действительно, в России на протяжении всей ее истории никогда собственность не рождала власть, наоборот — всегда власть порождала собственность и постоянно ее переделывала. Так, за последние два столетия страна пережила пять таких радикальных переделов. В-третьих, это доминирование государственности над правами личности в правовой и нравственной культуре. В-четвертых, отторжение либеральных ценностей и перспектив модернизации капиталистического типа. В-пятых, попытки модернизации предстают исключительно переделами власти. В этом плане и «социалистическая революция», и становление СССР, и его крах (включая «Перестройку») выступают этапами саморазвертывания и самовосстановления этой весьма устойчивой системы.

К близким результатам пришел и ряд зарубежных исследователей. Р. Пайпс характеризовал российскую дореволюционную экономику как «вотчинную экономику», когда целые регионы и отрасли отдаются властью в кормление «правильным людям» [Пайпс 2008; Пайпс 2012] — и следует признать, что практика эта сохранилась до сих пор. Г. Хофстеде, Р. Льюис в сравнительных исследованиях национальных деловых культур характеризуют российскую деловую культуру как преимущественно «монособъектную» и с высокой «дистантностью» власти [Hofstede 2001; Hofstede, Hofstede, Minkov 2010; Lewis 2012].

Большинство исследователей связывают возникновение этой системы с двухсотлетним господством Орды, оказавшим влияние на становление Московского княжества, его выделения из Великого княжества Владимирского и дальнейшее бурное экстенсивное развитие, перешедшее в экспансию Российской Империи и СССР. Что позволяет иногда не только выделять «московский» этап в истории российской государственности, но начинать ее отсчет именно с этого этапа, говорить о «матрице Московии», о «политико-экономической реинкарнации» этой матрицы в России XXI века [Хедлунд 2011]. Показательно, что такие разные исследователи, как Ю. С. Пивоваров, С. Г. Кордонский, Р. Хедлунд, фактически в одном ключе говорят о матричной структуре, способной к самовоспризведению и реинкарнации в различных исторических обстоятельствах. С этой точки зрения, попытки изменения такой инерционной системы как

³ Российская государственность возникла не для защиты слободы, купцов и крестьян, ее сущность была выражена еще в византийской летописи времен Константина Багрянородного: осенью князь со своей ратью выезжает на кормление. Историки сходятся во мнении, что это исторически первый зафиксированный случай написания слова «русь».

российский социум оказываются относительно кратковременными и завершаются уже относительно длительными периодами воспроизводства «системы».

Некоторые авторы оптимистически расценивают перспективы «российской матрицы». Так, О. Э. Бессонова предложила концепцию «раздаточной экономики» и разрабатывает пути ее интеграции с рыночной [Бессонова 2015]. С. Г. Кирдина, пользуясь (вслед за К. Поланьи и Д. Норт) термином «институциональная матрица», разрабатывает концепцию двух устойчивых систем, определяющих развитие общества: институциональные матрицы типа X и Y [Кирдина 2014]. Каждая из них определяется устойчивым исторически сложившимся триплексом базовых институтов экономики, политики и идеологии. России свойственны институты X-матрицы: распределительная экономика, иерархически выстроенная административная система управления, холистически-коммунитарная идеология. Эта матрица также свойственна большинству стран Азии, Латинской Америки — в отличие от стран Западной Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, которым свойственна Y-матрица: частная собственность и рыночная экономика, многопартийная демократия и развитая правовая культура, дискретно-индивидуальная свобода. В принципе, такой подход напоминает идеи Д. Норта и его коллег о двух типах общественных систем — с институтами ограниченного и неограниченного доступа к ресурсам [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]. Однако ход новейшего развития дает мало оснований для оптимистических оценок перспектив развития обществ в рамках «жестких» институциональных матриц.

Объяснение 4. Маятник инверсий в поисках медиации

Особого внимания заслуживает известное в России, но, похоже, мало известное за рубежом обстоятельное исследование А. С. Ахиезера. Проанализировав историю развития российского общества с самого начала возникновения его государственности, он пришел к выводу о маятниковом характере развития российского социума с широкой амплитудой институциональных колебаний (если не шараханий) между полюсами институциональных послаблений и «закручивания гаек».

Согласно А. С. Ахиезеру, инверсионный цикл существует в единстве дуальной оппозиции прямой и обратной инверсии, каждая из которых возникает в результате роста внутренних противоречий, конфликтов, возникающих в крайних фазах развития. Каждой инверсии свойственно игнорирование, отрицание возможности некоторого

третьего, срединного пути. Инверсии могут вызываться как объективными социальными процессами роста дезорганизации, массовых фобий, выражающихся в форме бунта, массовых беспорядков. В менее ярких формах это может проявляться в мотивации индивидуального и массового поведения, стоящей за развитием событий. Иногда власть пытается вызвать инверсивный кризис, вписаться в него. Однако инверсия крайне трудно поддается институционализации и в конечном итоге, как правило, оборачивается против власти [Ахиезер 1998; Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2008].

Противостоит этим процессам развитие медиации — сокращение амплитуды раскачивания и выработки процедур нахождения «срединного пути», снятия крайностей полюсов дуальности. Медиация постоянно нацелена на выход за рамки оппозиций, развитие новых смыслов, созидание новых ценностей, норм, отношений. Она требует и формирует рост интеллектуального напряжения в поисках новых решений, новых путей, новых институтов. В этом плане медиация аналогична процедурам делиберации. Примером развитой медиации является либеральная демократия, сама являющаяся результатом многоуровневой медиации. Дискуссии о медиации, ее поисках ведутся в российской исследовательской среде все активней, и на достаточно высоком уровне (А. П. Давыдов, И. М. Клямкин, А. А. Пелипенко, В. М. Розин, А. В. Тихонов, В. Г. Федотова, И. Г. Яковенко и др.).⁴

Об эмпирически фиксируемых периодах, «навязчивой повторяемости» в историческом развитии России писали также А. Л. Янов [Янов 1988; Янов 2015], В. М. Пашинский [Пашинский 2011]. В принципе, идея цикличности известна и в экономической науке, и в теории цивилизации, включая попытки объяснения цикличности развития цивилизации и обществ на основе био-космических факторов. Но если отвлечься от таких интересных и перспективных обобщений, то суть модернизационных инверсий в России достаточно понятна. В кризисной ситуации элита, стремящаяся «сделать по-быстрому», пользуется готовыми схемами, выработанными в условиях других социумов: с решенным вопросом о собственности, устоявшимися институтами. Но трансплантация не приживается или адаптируется, трансформируя форму (иногда даже просто — название), но не содержание старых институтов. Возлагавшиеся надежды не реализуются, и маятник идет в другую сторону — возврата, «стабилизации»,

⁴ См., например, материалы круглого стола «Медиация как социокультурная категория» [Медиация..., 2013–2014]. // *Философские науки*. 2013, № 11, с. 34–52 (Часть 1); № 12, с. 53–73 (Часть 2); 2014, № 1, с. 58–72 (Часть 3); 2014, № 2, с. 39–64 (Часть 4); 2014, № 3, с. 64–83 (Часть 5); 2014, № 4, с. 110–122 (Часть 6); 2014, № 5, с. 132–149 (Часть 7).

«застоя». Названий у этого состояния выработано много. Длится оно до следующего впадения в ступор и очередной попытки модернизационного рывка («ускорения», «перестройки»).

Справедливости ради следует отметить, что подобные «маятники» раскачиваются в любом обществе, включая и либеральные демократии. [Зедльмайр 2008] Так же, как в рамках либерализма произошла поляризация, в зависимости от акцентирования внимания на свободе как ответственности и равенстве возможностей перед лицом закона (либеральный консерватизм), либо на правовых гарантиях свободы и справедливого распределения благ (коммунитаризм и социал-демократия), так поляризуется и политическое пространство. В США: республиканцы — демократы. В Соединенном Королевстве: консерваторы — лейбористы. В ФРГ: ХДС-ХСС — СДПГ. Аналогичные «качели» действуют в любой стабильной демократии. Но амплитуда этих «качелей» на порядок меньше, чем в России, и задается она более конкретными (часто — «техническими» проблемами), банковский процент, налоги, размер вэлфера, миграционная политика и т. п. Она не затрагивает правовых гарантий собственности, не сопровождается радикальной смены бизнес-элит, да и собственно политической элиты. Оппозиция активно участвует в политическом диалоге, имеет возможность влияния на принятие политических решений.

В России же эта амплитуда чрезвычайно размашиста — вплоть до экспроприации собственности, не просто радикальной смены элит, но и подавления оппозиции.

Как недавно писал на эту тему А. В. Рубцов, самоопределение страны распято на двух осях: «прошлое — будущее», «Запад — Восток» [Рубцов 2017]. И маятник российского самосознания с образцовой регулярностью раскачивается между модерном и традиционализмом, апологией идеального проекта и культом славного прошлого. В эту же схему вписывается и маятник западничества-славянофильства, европеизма-ориентализма, либерализма-изоляционизма и т. п. И этот мучительный поиск идентичности продолжается. И эти поиски достаточно драматичны: нынешняя озабоченность прошлым чревата не только утратой перспективы, будущего, но и уводит от решения проблем настоящего. Как писал А. П. Чехов, «русские обожают свое прошлое, ненавидят настоящее и боятся будущего». И эта схема воспроизводится в нынешней озабоченности своим образом в мире, скепсису к собственной жизни и боязни непредсказуемого будущего. Истерия вокруг мифов прошлого уводит от понимания симулякров настоящего, пустоты и безответственности нынешней мифологии. Чем больше страна отвлекается на былое и внешнее от собственных

проблем, тем более эти проблемы усугубляются, приближая надвигающийся коллапс с его оправданием происков врагов и легитимизацией чрезвычайных мер. Отсутствие в России устойчивой медиации, «утрата середины» приводит к «исчезновению настоящего страны, которая теряет себя в пустоте между победой в прошлой войне и поражением в будущей, еще не начатой модернизации» [Рубцов 2017].

Методологическое отступление

Сам предмет социально-экономических трансформаций достаточно сложен, и вряд ли возможно его полное объясняющее рассмотрение в рамках одной дисциплины. Это порождает отмеченную Т. Майером «дилемму строгости и научности» [Mayer 1993]: с одной стороны, необходимы упрощающие абстракции, а с другой, такие упрощения уводят исследователя достаточно далеко от реальности. В экономической науке давно уже сложились два подхода, которые называют «типами теории» [Райнерт 2011, с. 56], «канонами» [Автономов 2015]. Первый подход ориентирован на построение теорий, универсальных вне зависимости от исторического и регионального контекстов, и основан на абстрактных моделях (равновесие, рациональный выбор и т. п.). Второй — основан на опыте и строится «снизу вверх» [Райнерт 2011]. Примером различия этих двух подходов является противостояние неоклассической теории и немецкой исторической школы экономики [Расков, Погребняк 2013; де Сото 2007; Ефимов 2014]. Аналог есть и в теории цивилизации.

Ограничение абстрактными моделями напоминает упоминавшееся лечение без знания реального больного. А погружение «по самые брови» в историческую конкретику (в той же аналогии) таит опасность самолечения *ad hoc*, нередко заканчивающегося хирургическим вмешательством.

С логической точки зрения, два этих подхода соответствуют гипотетико-дедуктивному и индуктивному методам. Первый связан с формулировкой и операционализацией терминов некоей абстрактной модели, претендующей на обобщение эмпирических данных, построением теоретических концептов (гипотез) с последующей эмпирической верификацией (подтверждением) или фальсификации (опровержением) их следствий. Второй — с систематизацией фактологического материала, выводящей на его обобщение и возможность говорить о неких устойчивых трендах развития системы. Собственно, из истории познания известно, что именно индуктивные обобщения позволяют вводить общие

понятия и строить с их помощью дедуктивные рассуждения. Однако, с развитием логики и методологии науки, дедукция, гипотетико-дедуктивные построения, математические модели дали мощный импульс развития не только науки, но и инженерного дела.

Надо только отдавать отчет в том, что оба канона ориентированы, в конечном счете, на объяснение через подведение явлений под некую общую категорию, которая или предполагается изначально (в дедукции) или выявляется с применением правил индукции. В обоих случаях речь идет о выстраивании и прорисовывании некоего пазла, каковым выступает объективистское описание некоей реальности.

Такой позитивистской дизайн модели хорошо зарекомендовал себя в естественных науках, которым свойственно стремление достичь максимально возможной объективности. В социальных же, а тем более — в гуманитарных науках, исследуемая реальность (включая экономические и политические процессы) — суть поле и результат взаимодействия, конкуренции, конфликтов, компромиссов различных акторов, социальных сил — как внутри страны, так и внешних. Каждый из таких акторов имеет намерения, цели, планы и проекты, располагает какими-то ресурсами, организует и координирует какие-то действия, кампании. Редко, когда такие замыслы реализуются полностью. Чаще в итоге получается равнодействующая этих усилий. Именно это имеется в виду, когда историю понимают как «равнодействующую волю» (Л. Н. Толстой, Ф. Энгельс).

Но, тем не менее, при желании всегда можно проследить чей-то след: за любым фактом, событием можно проследить мотивационную цепочку, некий замысел некоего актора или ряда акторов, строящихся и реализуемых планов.

В полной мере относится это и к модернизации — как опыту воплощения различных волей, намерений. Но в обоих позитивистски ориентированных подходах происходит элиминация авторов экономических и политических изменений, их мотивации и воли. Исследование (и объяснение) сводится к некой картинке, на которой можно, в лучшем случае, проследить зависимости, детерминации параметров, действующих объективистски, «сами по себе», вне мотивации и воли реформаторов.

Методологический вывод

Ранее [Тульчинский 2017] уже обращалось внимание на недостаточность позитивистской ориентации в науках об обществе. Речь идет, как минимум, о двух упоминавшихся классах проблем объяснения,

связанных с издержками оценочной категоризации и элиминацией (воли) политического субъекта.

Дизайн позитивистской модели — опора на эмпирическое знание, возможность обработки эмпирических данных качественными и количественными методами, прослеживание зависимостей между данными, возможность предлагать различные модели, формулировать гипотезы, их верифицировать или фальсифицировать, строить индуктивные обобщения, а также аргументированно представлять следствия из этих обобщений. Он хорошо зарекомендовал себя в естественных науках. Ключевым моментом объяснения оказывается подведение предмета рассмотрения под некую общую категорию: как на стадии определения предметной области, так и на стадии формулировки итогов проведенного анализа. Необходима только операционализация качеств (свойств), задающих данную категорию, позволяющая процедуры наблюдения, измерения. Но при этом предполагается некий консенсус относительно представлений о том, что есть «факт», посылаемый любому исследованию — без такого интерпретационного фона невозможны ни верификация, ни фальсификация. В результате научное объяснение фактически сводится к распознаванию в известном уже известного, в лучшем случае — достраиванию некоего предзаданного пазла.

Кроме того, исходный посыл научного познания бифокален: с одной стороны — выявление объективной детерминированности явлений, каузальности, с другой — интенциональность, установки, выражающиеся уже в наблюдении, вычленении и распознавании предмета рассмотрения. Естественным наукам свойственно стремление элиминировать интенциональность, достичь максимально возможной объективности. В социальных же, а тем более — в гуманитарных науках, интенциональность проявляется в обоих фокусах: это не только познающий субъект, но и участники исследуемой предметности.

В анализе модернизации стремления, намерения, воля принципиально не могут быть редуцированы к наблюдениям, описаниям и установлению каузальности. В предмете модернизации — идеи, проекты и технологии. Поэтому методология ее исследования — интерпретации не только в виде параметрических моделей, но как реконструкции опыта, породившего определенный результат. Включая стремления, возможности, противостояния и т. п.

Именно это обстоятельство образует исходный посыл неоинституционализма Д. Норта, его критики подходов, ограничивающихся моделями (включая теорию игр) и измерениями, как методами синхроническими, не способными объяснять развитие, динамику процессов:

давая описания ситуаций и работы систем, они не могут описать механизмы их эволюции. [Норт 1997, с. 32, 167–169; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011, с. 34; In the Shadow 2013, р. 3–5]. Для неоинституционализма — главное — не институты, а процесс их формирования и развития. Отсюда же и принципиальная для него идея интенциональности политико-экономического развития, важности факторов, снижающих неопределенность (мнения, мифы, убеждения, когнитивные факторы, обучение, бессознательное), задающих паттерны объяснения и решений [Норт 1997, с. 175; Норт 2010, с. 42–63].

Интенциональность социальных процессов принципиальна и изначально в формировании институтов. Эту идею Д. Норта зачастую не понимают, или не хотят понимать: не институты порождают убеждения, а наоборот [Норт 2010, с. 77]. Другими словами, схема институционализации подобна схеме реализации мотивационного механизма как цепочки: намерение (представление цели как образа желаемого будущего или знания нежелаемого настоящего) — возможности (ресурсы, подготовка, способности) — решение — действие — результаты — их оценка [Тульчинский 2006].

Оба вектора проблемы объяснения модернизации — и издержки подведения под общую категорию, и элиминация вменяемого политического актора — указывают на возможную фокусировку их решения. Речь идет об учете конструктивного (порождающего) характера человеческой активности, и научного познания — в том числе.

И такая фокусировка оказывается в тренде общей методологической рефлексии последних полутора столетий. Так, в решении проблемы оснований математики (Д. Гилбертом, Л. Брауэром, А. Гейтингом, А. Марковым, Н. Шаниным) исходным понятием является «конструктивный процесс», понимаемый как алгоритм, позволяющий за конечное число шагов получить «конструктивный объект», например, число, или преобразовать одно число в другое.⁵ Компьютерное программирование во все большей степени культивирует именно алгоритмически конструктивный тип и культуру мышления.

Практически одновременно в квантовой механике и физике субатомных процессов были сформулированы соотношение неопределенностей В. Гейзенберга и, в известной степени, как его обобщение, принцип дополнительности Н. Бора, согласно которым представления

⁵ Из школьной геометрии известны два типа определения: через род и видовое отличие или — через процедуру порождения. Так, в первом случае окружность понимается как геометрическое место точек, равноудаленных от центра. Во втором — как замкнутая кривая, образуемая одним концом отрезка за счет вращения отрезка вокруг другого его конца, взятого в качестве центра вращения.

о физических сущностях зависят от используемых в эксперименте приборов, а также от используемого языка описания. В зависимости от этого субатомные объекты могут представлять в качестве корпускулы, или волны. И полнота описания будет зависеть от многообразия используемых экспериментальных и теоретических средств.

Конструктивизм, рецептура, формализм, алгоритмизация, программирование, рекурсивность, критика позитивизма, know how, компетенции — тренд, в котором внимание смещается на процессы, процедуры, порождающие предмет знания. Эпистемологическое внимание смещается на процессы, порождающие предмет знания. **Человек понимает нечто, если знает, как это нечто сделано.** Объяснение — не подведение под известное общее, а указание порождающей процедуры.

Методологическое применение

Осмысления реформ, модернизаций не может быть редуцировано к наблюдениям, описаниям и установлению каузальности. Их предмет — идеи, проекты и технологии. Их методология — интерпретации не только в виде параметрических моделей, но как реконструкции опыта, породившего определенный результат, включая цели, возможности, противостояния.

Если представить объяснение в терминах наррации, т. е. построения дискурсивных разъяснений, то оно предстает как три уровня нарративов:

1. Уровень эмпирической фактологии, предъявления описаний, данных.
2. Уровень каузальных связей, взаимосвязей и детерминаций между фактами.
3. Уровень целевого контекста, раскрывающего замысел построения и использования целостного конструкта.

Для пояснения уместно уподобление уровней их нарративности структуре детектива: презентация ситуаций дополняется агрегацией пазла, в котором могут обнаруживаться смысловые, каузальные нестыковки целого. А завершает осмысление этого целого рефлексия, достраивающая осмысление до выявления мотиваций (в духе рассказа Э. Пуаро, мисс Марпл в финале). Такая модель вполне соответствует модели научного знания И. Галтунга, демонстрируя взаимосвязь эмпирики, теории и конструктивной целостности [Galtung 1977; Alker 1996].

Модель Й.Галтунга – Г.Алкера



Конструктивизм = возможность:

- выработки предложений по проведению изменений, воплощению новой или исправлению старой реальности
- объединения усилий науки и политики.

Методологию объяснения динамики социальных процессов нельзя сводить к методологии естественных и точных наук, которые сами зависят от конструктивной концептуальной активности познающего субъекта. А в социальных науках нельзя выхолащивать саму суть предмета — наличие и волю акторов, мотивация которых редуцируется к абстрактным схемам, а сами они уподобляются автоматам в мире каузальности.

Конструктивные (алгоритмически процедурные) объяснения интегрируют 2-й и 3-й уровни объяснительной наррации, раскрывая процесс порождения феномена. Тогда как 1-й уровень выступает в качестве либо элементной базы построения, либо также как презентация «конечного продукта» всего построения.

Объяснение 5. Конструктивизм и проблема политической воли

Объяснение принятия решения и его реализации подобно выявлению действия упоминавшегося мотивационного механизма: от намерения (представления цели как образа желаемого будущего или знания нежелаемого настоящего) — к выявлению возможностей (ресурсов, мобилизации сторонников) и действию, в котором важную роль играют настойчивость, преодоление сопротивления, систематический контроль.

Реформы — алгоритмический процесс. К успеху ведут правильные шаги в правильной последовательности. Правильные шаги, но не в той

последовательности не приводят к победе.⁶ Процедурно-алгоритмическое объяснение открывает путь к пониманию реформ и модернизации как шахматной партии. Все ходы известны из теории, правил и предыдущего опыта. Но делаются эти ходы, исходя из конкретной диспозиции здесь и сейчас. Они могут оказаться успешными или нет. Именно этот опыт порождает «множественность» модернизаций (Ш. Эйзенштадт). Или, как отмечал С. Хедлунд, *history matters* [Хедлунд 215, с. 287–332].

И причины российских инверсий в том, что *culture matters* потому, что *history matters!* С. Хедлунд предложил развернутую картину этого значения. Культура — закрепленный в традициях эффективный опыт решения проблем выживания. И этот опыт имеет долгий инерционный лаг — около 12–15 лет. Россия имеет давний исторический опыт антирыночного управления, в условиях которого формируется и закрепляется мотивация не создание добавленной стоимости, а поиск, захват и (возможно) предоставление ренты. Более того, Россия имеет богатый опыт успешного выхода из кризисов (1598, 1861, 1917, 1991, 1998 годов) за счет проведения изменений «сверху» при пассивной роли населения. «Великая Октябрьская революция» также заключалась в захвате политической власти и проведении «сверху» последующих преобразований. Именно в силу относительной успешности этого опыта он и закрепился в «матрице». И для не ограниченной ничем власти реформы выглядят весьма соблазнительным искушением еще одного проявления своего доминирования. Однако искушение власти оказывается искушением властью.

С конструктивистской точки зрения — Россия за 1917–2017 годы — европейская модернизация или особый путь? Внешне, формально: урбанизация и массовое общество, ролевая революция и новые социальные лифты. Но, по сути, — подорванное сельское хозяйство, заточенные под решение военных задач промышленность и наука. Новый класс, «революция менеджеров». Но эта бюрократическая номенклатура не способна и не мотивирована к созданию конкурентной среды, условий и поддержки возникновения инноваций, их поддержки. Даже исторический фон воспринимался элитой по-разному. 1960-е за рубежом были восприняты как пик ресурсного развития цивилизации, осознание необходимости перехода к стратегиям возобновляемого роста, качественно новым технологиям — что и породило нынешнюю технотронную постиндустриальную цивилизацию. В СССР же рентное благолепие 1960-х открыло в «голубых далах светлое здание коммунизма», породи-

⁶ Именно так однажды оценивал российские реформы начала 1990-х Г. А. Явлинский: все ходы правильные, только не в той последовательности.

ло совершенно неадекватные цели, артикулированные на XXII съезде КПСС и в новой партийной программе, содержавшей обещание, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. К чему это привело — хорошо известно. Причем инерция рентных ресурсных иллюзий сохраняется до сих пор, порождая эффект «анти-Мидаса».

Да, как уже отмечалось, идея «матрицы», «колеи» согласуется с идеей «культура имеет значение». Но, как показывает исторический (включая новейший) опыт ряда стран, развитием культур можно управлять и в течение 15 лет добиваться радикальных успехов. И это не линейный процесс.

Для конструктивных изменений социума необходимы социальные силы: социальные группы, имеющие артикулированные интересы и ресурсы их достижения: финансовые, или организационные, или информационные, или символические, или те, и другие... А российское общество обессиленное, а точнее — обессилено властью [Тулчинский 2010]. Поэтому ключевой вопрос для России до сих пор — не экономика, а власть. В России на протяжении всей ее истории не собственность рождала власть, а власть порождала собственность и постоянно ее переделывала. В духе известного пушкинского перевода с французского: «"Все куплю!" — сказало злато! / "Все возьму!" — сказал булат». Собственно, именно на этом пострадали акционеры ЮКОСа, посчитавшие, что в России наступило время, когда собственность может влиять на власть или хотя бы быть ее равноправным партнером.

До сих пор ключевой вопрос российской экономики и перспектив российского общества — вопрос о собственности, гарантий ее защиты. С. Хедлунд фактически дал пример конструктивистского объяснения, подчеркнув, что новейшие российские реформы стали печальным подтверждением необходимости учитывать как мотивацию отдельных акторов придерживаться правил и уклоняющихся от них, так и мотивацию государства на поддержку тех, кто правил придерживается [Хедлунд 2015, с. 230–231]. И далее ставит диагноз полученному результату как разрушительное созидание: формирование единой командной иерархии, приватизировавшей добывающую промышленность, в то время как малый и средний бизнес были отданы на откуп криминалу и коррумпированным чиновникам.

Но введение институтов без мотивированной опоры на реальные интересы выхолащивает смысл преобразований, порождая использование новых институтов в других целях, например, «удовлетворения жадности», а точнее — закрепления коррупционных схем многоуровневых кормлений. Более того, попытки введения контроля, ограничивающего «жадность» в условиях неполноценных рынков (бартера, низкой до-

бавленной стоимости) чревато превышением роли государства и положительной обратной связью, усиливающей коррупцию [Хедлунд 2015, с. 26–55, 221–232]. А игнорирование инерционности человеческого капитала, социально-культурной памяти, стремление вытеснить ее символической политикой и пропагандой и скоропалительными решениями имеет результатом сопротивление реформам, их осознанное — или не очень — неприятие. И круг замыкается.

К аналогичному результату пришла и дискуссия по докладу Всемирного банка на Гайдаровском форуме 2017 года, показав, что Россия могла бы вернуться на траекторию устойчивого экономического роста при двух условиях: за счет увеличения производительности труда и наращивания инвестиций в человеческий капитал. Причем эти условия взаимосвязаны: проблема низкой производительности труда (инвестиции в инновации) обусловлена недоинвестированием развития человеческого капитала. К этому добавляются старение населения и миграция рабочей силы. Существующая модель, основанная на прочном влиянии государства на экономическую и социальную политику, опирается на достаточно серьезную политическую поддержку, основанную на чрезвычайных мобилизационных усилиях пропаганды, имеющих ограниченный временной ресурс. Но общественная модель и транслируемая система ценностей погружена в прошлое и не имеет образа будущего [Как России... 2017].

Коля ли это? Вечный маятник? Отчасти — да. Пока власть не заинтересована в реальной модернизации, зачищая монополию для прикормленного бизнеса. Но до тех пор, пока не будет проявлена внятная и вменяемая политическая воля к модернизации.⁷ Воля сверху или снизу? Внешняя или внутренняя? Это выходит за рамки данного рассмотрения. Возможно, пока затруднительны, сомнительны даже возможности такого рассмотрения. Российская модернизация остается проблемой теории и технологии.

Ergo

Таким образом, получается, что инверсивный характер российских модернизаций имеет две причины. Одна — социальная, связанная с особенностями российского социума, доминированием в нем властной воли при неразвитости социальных сил, для формирования которых нет

⁷ Концепт политической воли заслуживает пристального внимания. Особенно с учетом его крайне слабой проработки. Такая работа всерьез только начинается [Тульчинский 2017].

достаточных условий. Вторая — теоретическая, связанная с попытками модернизации, опираясь на чей-то исторический опыт. Однако, в силу первой причины, эти попытки оказываются поспешными и непродуманными, порождая новые напряжения и деформации социума.

Анализ способов объяснения модернизации обнаруживает особые возможности в плане методологической рефлексии и выявления перспектив научного знания. Особый интерес представляет разработка в рамках предлагаемого подхода модели политической мотивации, политической воли, политического поступка (в отличие от политического поведения) — как действия, реализующего некую мотивацию властной воли.

Для конструктивных изменений социума необходимы социальные силы: социальные группы, имеющие артикулированные интересы и ресурсы их достижения. Ключевой вопрос — о собственности и правоприменении по ее защите. Российский социум обессилен властью, которая озабочена собой, а не обществом.

Анализ способов объяснения модернизации обнаруживает особые возможности в плане методологической рефлексии и выявления перспектив конструктивизма. Особый интерес представляет разработка концепта политической воли — как вменяемого ответственного действия.

Литература

Автономов В. С. Кто (из экономистов) мыслит абстрактно, а кто нет. // *Топосы философии* Наталии Автономовой. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 237–261.

Ахиезер А. С. *Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России)*. Т. 1. От прошлого к будущему. Т. 2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. *История России: конец или новое начало?* 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое изд-во, 2008.

Бессонова О. Э. *Рынок и раздаток в российской матрице: от конфронтации к интеграции*. М.: РОССПЭН, 2015.

Гельман В. Я. *Наука без исследований: есть ли выход из тупика?* // *Троицкий вариант — наука*. 2014. № 6(150). С. 7.

Давыдов А. П. *Неполитический либерализм в России*. М.: Фонд «Либеральная миссия», Мысль, 2012.

Уэрта де Сото Х. *Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательство*. Челябинск: Социум, 2007.

Ефимов В.Е. Как капитализм, университет и математика сформировали магистральное направление экономической дисциплины // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2014. Т. 14. Вып. 2. С. 5–51.

Зедльмайр Х. Утрата середины. М.: Территория будущего, 2008.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011.

Как России расти без нефтяной ренты: рецепты экономистов на Гайдаровском форуме: <http://www.forbes.ru/biznes/337139-kak-rossii-rasti-bez-neftyanoi-renty-recepty-ekonomistov-na-gaydarovskom-forume> (Дата доступа 29.01.2017).

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Введение в X–Y-теорию. М., СПб.: Нестор-История, 2014.

Кордонский С.Г. Веерные матрицы как инструмент построения онтологий. Вашингтон: Изд-во Юго-Восток, 2011.

Кордонский С.Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006.

Кордонский С.Г. Россия: поместная федерация. М.: Европа, 2010.

Культура имеет значение / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: МШПИ, 2002.

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003.

Медиация как социокультурная категория // Философские науки. 2013. № 11. С. 34–52 (Часть 1); 2013. № 12. С. 53–73 (Часть 2); 2014. № 1. С. 58–72 (часть 3); 2014, № 2. С. 39–64 (Часть 4); 2014. № 3. С. 64–83 (часть 5); 2014. № 4. С. 110–122 (Часть 6); 2014. № 5. С. 132–149 (Часть 7).

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд эконом. книги «Начала», 1997.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2010.

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Захаров, 2012.

Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: МШПИ, 2008.

Пашинский В.М. Пространственно-временная динамика человеческих сообществ разного масштаба. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011.

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система и реформы // Pro et contra. 1999. Т. 4. № 4. С. 176–197.

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Русская система» как попытка понимания русской истории // ПолИс. 2001. № 4. С. 37–48.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М., 2011.

Расков Д. Е., Погребняк А. Г. Экономика как культура: возвращение к спору о методах // Альманах центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ — 2013. М.-СПб: Изд-во института Гайдара, 2013. С. 13–30.

Рубцов А. Эмиграция в историю // Новая газета. № 4 (18.01.2017).

Тульчинский Г. Л. Обессиленное общество // Знамя. 2010, № 1.

Тульчинский Г. Л. Объяснение в политической науке: конструктивизм vs позитивизм. // Публичная политика. 2016, № 1. С. 76–98.

Тульчинский Г. Л. Тело свободы. СПб: Алетейя, 2006.

Тульчинский Г. Л. Феномен политической воли. // Наследие. 2017, № 1. (В печати).

Харрисон Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. М.: Новое издательство, 2008.

Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.

Шапиро Й. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011.

Янов А. Л. Русская идея и 2000-й год. NY: Liberty Publishing, 1988.

Янов А. Л. Русская идея. От Николая I до Пугина. В 3-х книгах. М.: Новый хронограф, 2015.

Alker H. R., jr. Political Methodology, Old and New // A New Handbook of Political Science / ed. by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford univ. press, 1996. P. 787–799.

Galtung J. Essays in Methodology. Vol. 1: Methodology and Ideology. Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1977.

Hofstede G., Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2nd Edition, Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 2001.

Hofstede G., Hofstede G.J., Michael Minkov M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd Edition, McGraw-Hill USA, 2010.

In the Shadow of Violence / Ed. by D. C. North and etc. Cambridge: Cambr. Univ. Press, 2013.

Lewis R. D. When Cultures Collide. Leading across cultures. Boston-London: Nicolas Brealy Intern., 2012.

Mayer T. Truth versus Precision in Economics. Andershot: Gower, 1993

П.А. Ореховский

Дискурс российской модернизации: неизбежность очередного провала

Теория модернизации предполагает наличие «магистрального пути», следуя по которому отсталые страны могут добиться богатства и догнать развитые. Для этого необходимо заимствовать не только технологии, но и институты западных стран. Часть учёных относится к этой теории скептически. Её критиковали историки, наличие магистрали отрицалось школой миросистемного анализа (Дж. Арриги, И. Валлерстайн), наличие исторических законов (историцизм) отрицается австрийской школой.

Появление Советского Союза рассматривалось как подтверждение теории модернизации в её марксистской версии. Вплоть до 80-х годов XX в. социализм считался следующей, более высокой общественно-экономической формацией.

Распад СССР и возврат к капитализму сопровождался большими потерями национального богатства, деиндустриализацией, ростом преступности. После стабилизации вновь возникает дискурс модернизации, возврата России на магистральный путь развития, переноса и адаптации западных институтов на отечественную почву. Однако XXI век — время постмодерна, в этот период возникают и действуют другие социальные акторы. Буржуазия, рабочие, крестьяне — уходящие социальные группы. Дискурс модернизации — идеологическая конструкция, маскирующая неадекватность российской экономической науки нынешним реалиям.

Ключевые слова: модернизация, постмодерн, дискурс, нарратив, реформы.

The theory of modernization presupposes the existence of a «magistral», following which underdeveloped countries can achieve wealth and catch up with rich ones. For this, it is necessary to borrow not only technology, but also the institutions of Western countries. Some scientists are skeptical about this theory. It was criticized by historians, the existence of the magistral was denied by the school of world-system analysis (G. Arrighi, I. Wallerstein), the existence of historical laws (“historicism”) is denied by the Austrian school.

The emergence of the Soviet Union was seen as a proof of the theory of modernization in its Marxist version. Socialism was considered the next, higher socio-economic formation up until the 80s of the 20th century.

The collapse of the USSR and a return to capitalism were accompanied by large losses of national wealth, de-industrialization, and increased crime. After stabilization, a discourse of modernization reappears. Russia is returning to the magistral of development. Again, it is said about the need to transfer and adapt Western institutions to domestic soil. However, the twenty-first century is a time of postmodernity, during this period other social actors emerge and act. The bourgeoisie, workers, peasants are social groups from last. The discourse of modernization is an ideological construction that masks the inadequacy of the Russian economic science to the present realities.

Keywords: modernization, postmodern, discourse, narrative, reforms.

Введение: теория модернизации и её критики

В России теорию модернизации чаще всего связывают с марксистским тезисом о передовых и отсталых странах и выводом о необходимости усилий по преодолению отставания. Собственно, в этом случае «модернизация» и есть «преодоление отставания», причём бедная страна заимствует у богатой не только технологии, но и институты. «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего...» [Маркс, Энгельс 1954, с. 354]. Стремление к повышению материального благополучия заставляет заимствовать опыт других стран — большинство людей «в той или иной степени заинтересованы в материальном улучшении своей жизни, а некоторые из них всегда будут пытаться удовлетворить это желание при подходящей возможности», поэтому «структуры... немодернизированного общества начинают передавать из рук в руки то изменение, которое направлено на структуры ... модернизированного общества» [Лахман 2010, с. 376]. При этом особенностью модерна как Нового времени является ещё и то, что богатство, как показывает М. Вебер, получает религиозно-моральную санкцию [Вебер 1990, с. 44–271]. Рост материального благосостояния — одновременно и технический, и духовный прогресс: богатые люди и богатые нации оказываются ближе к Богу, чем бедные.

Окончательную респектабельность теория модернизации приобретает вместе с математической формализацией. В конце 50-х гг. XX в. Р. Дорфман, П. Самуэльсон и Р. Солоу доказывают теорему магистральной: при моделировании экономической динамики для достаточно продолжительного периода времени основная часть состояний, образующих оптимальную, по критерию максимума линейного функционала, траекторию, определяется только структурой модели и не зависит от вида оптимизируемой целевой функции. Наличие магистралей позволяло сделать выводы об общих «магистральных путях» развития групп стран (клубов) и о существовании определенных оптимальных пропорций, на которые следует ориентироваться в экономической политике¹. Перевод вербальных утверждений в формально-математические сделал теорию модернизации внеисторической, справедливой для любых человеческих сообществ, желающих улучшить своё благосостояние. Это даёт возможность рассматривать в качестве модернизационных реформ многие политические мероприятия, скажем, введение законов Солона в Древней Греции или изменения в системе государственной бюрократии в Китае, предложенные Конфуцием. В этом отношении модернизация становится синонимом «всего хорошего против всего плохого», другими словами, прогресса.

Вместе с тем многие историки, экономисты, философы относились к теории модернизации скептически. Критика шла по разным направлениям. Ниже мы остановимся на трёх, наиболее известных вариантах такой критики.

Модерн как результат раскола элит. Как пишет Р. Лахман: «Мои доводы расходятся по основным вопросам с теорией модернизации, в правильности которой я сомневаюсь, и, как я полагаю, мне удалось продемонстрировать, что очень редко предоставляется возможность действия в направлении модернизации или каком-либо ещё направлении» [Лахман 2010, с. 377]. Р. Лахман показывает, что вместо даль-

¹ Сравн.: «Теория модернизации занималась проблемами и возможностями, связанными с превращением (бывших) колоний в процветающие современные страны. Такие авторы, как Ростуо, Хоузли, Айзенштадт, Нэш и Маклелланд, придерживались идеи о том, что «развитость» — это единое, объективное состояние, к которому должно прийти любое общество... Таким образом, развитые страны могли служить примером для подражания для менее развитых стран. Они просто дальше ушли в направлении развитости. Экономисты приняли идею Рошера об использовании исторического знания для того, чтобы вывести универсальные законы развития, но релевантными они сочли исключительно знания по истории западных стран; в конце концов западные страны были единственными развитыми странами. Универсальная модель развития была построена на исторической эволюции западных держав» [Бегельсдайт, Маселанд, 2016, с. 70–71].

нейшего развития технического прогресса, перехода к промышленной революции и либеральной демократии капиталистические Венеция и Генуя пережили «откат» к феодальным институтам. Результаты чумы (Черной Смерти) в разных регионах Англии и Франции прямо противоположны — в одних регионах наблюдается рост зарплат и становление мелкого товарного производства, в других — усиление крепостничества, затрудняющее горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. Те социальные феномены, которые в рамках марксизма интерпретируются как буржуазно-демократические революции, по Лахману являются случайным результатом ожесточения межэлитной борьбы, в которой «прогрессивные классы» побеждают отнюдь не всегда.

Модерн как переход от «мира-империи» к «миру-экономике». Богатство и бедность, «развитость» и «отсталость» страны, по мнению представителей миросистемного анализа, в меньшей степени зависят от внутренних факторов (технологий, институтов), по сравнению с местом, которое занимает государственный субъект в иерархии «мира — системы». Государства ядра богаты, регионы периферии бедны, страны полупериферии находятся в промежуточном положении. Вплоть до 16 в. положение города (страны, региона) в мир-системе определялось через вооруженное насилие, войну. Нельзя сказать, что политико-экономические институты Карфагена были отсталыми по сравнению с Римом, или что Золотая Орда была более прогрессивна, чем Киевская Русь. Специфика эпохи модерна заключается в переходе от вооружённого насилия к экономической борьбе, при этом логика войны подчиняется теперь экономике. Подъём и упадок связан с двухвековым чередованием доминирования промышленно-торгового («мастерская мира») и финансового капитала. Дж Арриги выделяет соответственно венецианско-генуэзский (14–15 вв.), голландский (16–17 вв.), английский (18–19 вв.), американский (20 в.) циклы доминирования [Арриги 2012]. Развивая эту же логику, И. Валлерстайн доказывает, что каждая страна, добивающаяся богатства и доминирования, развивается по собственной траектории; повторить чужой опыт для того, чтобы занять высокое место в иерархии мира — системы и потеснить лидеров, невозможно [Валлерстайн].

Модерн как становление «открытого общества», отрицание «историцизма». Существуют ли законы истории? Теория модернизации — один из вариантов осмысления человеческой деятельности во времени, движения от низших форм к высшим, прогресса, развития. Такое осмысление зачастую основывается на представлении о существовании объективных, наиндивидуальных сил, определяющих

законы развития человеческого общества. Австрийская школа, использующая методологический индивидуализм, отрицает наличие таких сил. «Всех австрийцев объединяет то, что они воспринимают историю как переплетение, зачастую случайное, способов, которыми отдельные люди пытаются достичь своих личных субъективных целей с результатами своей деятельности. Такой взгляд исключает возможность восприятия истории как движения по направлению к чему-то, что будет осуществлено с помощью более или менее осознанной деятельности человека, и как некоего процесса, чей смысл можно раскрыть с помощью откровения или философских спекуляций...» [Кубедду 2008, с. 65]. С этих позиций теория модернизации — один из вариантов вредного историцизма, а Гегель со своей философией истории, наряду с Платоном и Марксом — идеологические проповедники тоталитаризма, враги свободы [Поппер 1992]. Модерн и западные инклюзивные, транспарентные институты — результат долгой борьбы и рационального выбора либеральных прагматичных индивидов, в двадцатом веке окончательно утвердивших свои человеческие права и подчинивших себе прежнего грозного Левиафана — государство.

Следует отметить, что во всех вариантах этой критики модерн рассматривается как *специфический исторический период*, «эпоха модерна». Но любое историческое событие имеет своё начало и конец. Взгляды на события этой эпохи могут меняться, но достоверность теории модернизации, которая выходит за рамки исторического периода модерна, выглядит весьма сомнительной.

Основной тезис нашего доклада — модернизация представляет собой лишь один из дискурсов для осмысления истории, характерный для общественной мысли XIX–XX вв. При этом мы не будем оценивать верность или ошибочность утверждений, сделанных в рамках этого дискурса. Намного более важным представляется то, что в двадцать первом веке понятийный аппарат этой теории перестаёт быть актуальным, устаревает. Но само по себе скептическое отношение к модернизации, которого мы придерживаемся, отнюдь не является чем-то новым и оригинальным.

1. Эволюция дискурса модернизации в СССР и постсоветской России

Дискурс модернизации в СССР. В период 1917–1929 гг., во время военного коммунизма и нэпа, велись острые дискуссии об институциональных реформах и модернизации промышленности. Тем не

менее уже тогда почти у всех участников дискуссий не было сомнений *в превосходстве* новых, социалистических институтов над капиталистическими. Эта уверенность основывалась на модернистских представлениях, что новый общественный строй — следующая, более высокая ступень развития человечества. Естественно, казалось самоочевидным, что человечество идет по этим ступеням вверх, достигая большего материального благосостояния, увеличивая багаж знаний, обеспечивая все большие личные и гражданские свободы, и движение это является выражением прогресса. Падение царизма, социальная революция, победа рабочих и крестьян в отсталой стране — все это считалось прогрессивным, должно было приветствоваться «цивилизованным человечеством».

Критика СССР шла в основном с Запада, однако критиковались «частности» нового советского строя. К последним относились диктатура пролетариата, ущемление прав бывших привилегированных сословий, бесхозяйственность и бюрократия, монополия на власть одной партии. При этом кто-то полагал, что все это — временные явления, наследие царизма и гражданской войны, кто-то считал, что советский строй — цивилизационный тупик, и со временем страна вернется к буржуазному мироустройству, но — в любом варианте — никак не к монархии. «Социалистический эксперимент» вполне ложился в модернизационную логику, сравнение царской России и СССР обычно сопровождалось выводами о преимуществах последнего. Характерно, что в XXI веке и выводы, и даже сам характер сравнения радикально меняются, более того, появятся сторонники восстановления монархии.

В период 1929–1956 гг. дискуссии об институциональных реформах не допускаются. Сам термин «модернизация» приобретает исключительно технический характер, становясь синонимом «реконструкции», «реновации» и применяется к оборудованию, предприятиям, отраслям. После смерти И. В. Сталина и XX съезда КПСС ситуация начинает меняться — признаётся, что социалистические институты нуждаются в «совершенствовании». Однако само слово «реформа» встречается редко, и даже комплекс мероприятий, связанных с именем А. Н. Косыгина, называют реформами лишь для краткого обозначения «совершенствования»². Уверенность в том, что СССР находится на

² См. названия официальных документов: «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» (Постановление сентябрьского 1965 г. Пленума ЦК КПСС); «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» (Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от

более высокой ступени развития, чем западные страны, сохраняется по-прежнему, распад колониальной системы свидетельствует, по мнению многих, о том, что «социализм находится в историческом наступлении», и вообще «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»³.

Только в 1970-е гг. в связи с популярностью и переводом на русский язык работ Дж. К. Гэлбрейта возникает идея конвергенции⁴, но как когда-то с «революцией управляющих» А. Берли и Г. Минца, автора критикуют и справа, и слева. Советский социализм считается единственно правильной моделью высшего общественного строя, поддержка конвергенции, как и чехословацких или венгерских вариантов «социализма с человеческим лицом» может вызвать обвинения в ревизионизме и принципиальных ошибках, с последующими организационными выводами. «Зияющие высоты» А. Зиновьева, как и работы Я. Кронрода, посвящённые новому классу — номенклатуре партийно-хозяйственных работников, пишутся «в стол», открытая дискуссия о возможностях и необходимости модернизации советского общества по-прежнему невозможна.

В 1985–1991 гг. в обществе возникает и утверждается представление о том, что «социалистические» институты оказались хуже, чем «капиталистические». Формируется общественный консенсус в отношении провала «социалистического эксперимента» и необходимости радикальных реформ. Нарастает разочарование в марксизме как парадигме прогресса, знаменующего переход от низших общественно-экономических формаций к высшим. Это приводит и к отказу от советского нарратива модерна, его место занимает другой нарратив — вестернизации (советский вариант оказался «неправильным»). Требование позднего советского общества — заимствование западных технологий, институтов, стандартов потребления и образа жизни — вполне укладывается в общий дискурс теории модернизации, как она понимается западными теоретиками. Реформы М. С. Горбачёва — «гласность», «перестройка», «ускорение» — воспринимаются как «давно назревшие», заодно в обществе формируется убеждение о том, что на самом деле СССР — отсталое, неразвитое государство,

4 октября 1965 г.); «О мерах по дальнейшему улучшению кредитования и расчётов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании производства» (Постановление СМ СССР от 3 апреля 1967 г.); и тому подобное.

³ Из доклада Н. С. Хрущёва XXII Съезду КПСС в 1961 г. Фраза вошла в Третью программу КПСС, впоследствии была изъята.

⁴ «Новое индустриальное общество» на русском языке вышло в издательстве Прогресс в 1969 г., «Экономические теории и цели общества» — в том же издательстве в 1976 г.

место которого среди стран третьего мира, «Верхняя Вольта с баллистическими ракетами»⁵.

Переходный период. В 90-е годы Россия переживает своеобразный когнитивный диссонанс. Развитие промышленности и становление капитализма в Новое время сопровождалось ростом доходов, увеличением социальной мобильности, приближением к равенству всех граждан перед законом. Переход от социализма к капитализму, несмотря на широковещательные обещания перестроечных политических деятелей, вызвал трансформационный спад, снижение доходов, деиндустриализацию, появление дифференцированного судопроизводства (своим — все, остальным по закону), разложение и отказ от прежних социальных норм, регулировавших поведение граждан.

Крах ожиданий вызвал социальную афазию — в стране исчез общий язык для описания действительности. Стало очевидно, что марксистский инструментарий, где партии являлись выразителями классовых интересов, а государство — аппаратом насилия в руках правящего класса, профсоюзы — школа пролетариата и т.д., не позволяет хоть как-то адекватно понимать и описывать постсоветское общество. Но другой общепризнанной когнитивной схемы в то время не было. Как результат, возник плюрализм реальности — рядом с друг другом существовали криминальная революция, либеральная демократия, семибанкирщина — олигархия, дикий капитализм, национализм, региональный эгоизм, сепаратизм, диктат Москвы... Отсутствие сколько-нибудь общих дискурсов делало дальнейший распад России весьма вероятным событием. Ни о какой модернизации речи не возникало, хотя ориентация на Запад как на желаемый образец политико-экономического устройства в целом сохранялась.

В конце 90-х российская элита переживает неожиданный новый когнитивный шок, который пришел извне и был связан с войной НАТО в Югославии. Хотя прежний тренд вестернизации продолжал реализовываться, несмотря на многочисленные разочарования, для многих становится очевидным, что югославский сценарий легко может повториться и в России. После некоторой паузы возрождается риторика «национальных интересов», входящая в конфликт с «европейским выбором». Важным — и очень запоминающимся — символическим жестом является разворот самолёта премьер-министра Е. М. Примакова над Атлантикой.

⁵ Это определение ошибочно приписывалась кумиру российских либералов М. Тэтчер. На самом деле так охарактеризовал СССР лидер немецких социал-демократов, канцлер ФРГ Г. Шмидт.

Внешнеполитическое разочарование дополняется переосмыслением опыта государственного строительства 90-х: вдруг оказалось, что замечательные западные институты в России почему-то не приживаются. Естественно, что об общей неэффективности или тем более негодности заимствуемых западных институтов не могло быть и речи — они же являются передовыми, лучшими. Поэтому был сделан вывод о том, что их неправильно внедряли, то есть «младореформаторы» плохо делали реформы. Такой очевидный вывод напрашивался еще и потому, что оппозиционность по отношению к правительству приобретала ценность сама по себе, как *свидетельство прогрессивности*. Каким бы ни было правительство, бывшие или действующие чиновники, но они представляли *плохое* государство, противостоящее *хорошему* обществу, от лица которого говорили (и говорят) системные и внесистемные оппозиционеры.

Довольно быстро возникает множество проектов правильных, хороших реформ. К числу наиболее известных нарративов, в которых объясняется государству, что надо делать, следует отнести:

- институты нужно *выращивать* [Кузьминов, Радаев, Яковлев, Ясин 2005], а не насаждать. Реформирование требует времени и опеки государства, которое должно при этом находиться под контролем общества;

- трансплантация институтов должна производиться по общим универсальным правилам, которые укладываются в теорию реформ [Полтерович 2007]. Чиновники может и хотели сделать «как лучше», но не умеют, а умных людей, которых, в частности, представляет Российская академия наук, не спрашивают;

- для того, чтобы новые институты заработали, необходимо пере-заключение общественного договора [Аузан 2006]. Речь идёт ни много, ни мало об учреждении нового государства, основанного на одобряемых большинством социальных групп, справедливых началах. Этот нарратив, по сути, в перспективе предполагал разработку какой-то новой Конституции и созыв учредительного собрания, но до таких конкретных предложений, как правило, не доходило.

Тем не менее, продолжение реформ, пусть даже теперь они становятся правильными, означает, что общество живет в переходном периоде. Последний явно затягивался. Переходное, временное, неустойчивое состояние становилось нормой. Такая ситуация предоставляла возможности сторонникам реформ упражняться в риторике — в 90-е годы критиковали реформы М. С. Горбачева, потом стали критиковать реформы Е. Т. Гайдара и А. Б. Чубайса, далее этот процесс мог продолжаться бесконечно. Любая переходная эпоха чревата

множеством политических и экономических рисков, так что дискурс реформ незаметно сменился дискурсом стабилизации. Это означало существенный когнитивный сдвиг — как бы ни была плоха (хороша) новая система институтов, она знаменовала собой уже качественно иное общественное устройство, никак не связанное с СССР. Признание России страной с рыночной экономикой, как и достижение стабилизации, означало окончание «радикальных рыночных реформ».

Но стабилизация — это определённый момент, он ещё короче, чем переходный период. Кроме того, стабилизация не может выступать в качестве мобилизующего императива развития. Поэтому почти сразу же, ещё в начале нулевых, в России возникает и дискурс новой модернизации. Любопытно отметить, что одновременно это означало и «затаптывание» концепта переходного периода — он закончился стабилизацией, но откуда и куда перешли, уже не обсуждается, причём это можно проследить даже на примере упомянутых нарративов. Все они отталкивались уже от результатов «неправильных реформ», но не от «тоталитарного советского прошлого». Неопределенность, межеумочность и, в конечном счете, отказ от обсуждения проблемы переходного периода оставляет большой простор для интерпретаций: например, перешли от социализма к капитализму, от тоталитаризма к демократии, от равенства к неравенству и олигархии, от передовой в научно-техническом отношении страны к сырьевой колонии запада... Российское прошлое осталось (и остаётся) непредсказуемым.

В свою очередь, дискурс модернизации постепенно становится основным и захватывает всё когнитивное пространство. Происходит захват прошлого — Пётр Великий, как и П. А. Столыпин — модернизаторы Российской империи, а большевики, как оказалось, реализовывали советский модернизационный проект. Естественно, осуществляется и захват будущего — формируется консенсус в отношении технического обновления и изменения институтов. Враги модернизации, как и положено, находятся в настоящем времени — это чиновники, олигархи, те, кто хотел бы оставить «все, как есть». Неожиданно в одной компании с ними оказались и либералы — реформаторы, как авторы концептов переходного периода и стабилизации, то есть того, что имеется сейчас, всех не устраивает и подлежит переделке. В дискурсе новой модернизации именно либеральные реформы, которые осуществлялись нечестно и неправильно, привели к появлению и обогащению олигархии и ее союзника — коррумпированного чиновничества. Логично — во время «советской модернизации» этих социальных групп не было. Дополнительно в вину либералам-реформаторам ставят в вину и развал СССР, где они якобы выступали в качестве пособников Запада в холодной войне. Хотя

это также слабо связано с действительностью, однако также имеет свою логику: ведь либералы были сторонниками вестернизации. Как мы уже говорили ранее, именно вестернизация в 80-е гг. стала «правильной альтернативой» исчерпавшей себя социалистической модернизации. Если за неудачу последней несут идеологическую ответственность марксисты (и коммунисты), то неудачи вестернизации в глазах общества отвечают либералы (и члены различных Союзов правых сил). Конечно же, и те, и другие стремятся снять с себя эту ответственность, переложив ее на «неправильных» реформаторов. Причем, если отбросить неизбежное в таких случаях риторическое манипулирование и лукавство, то для верящих в истинность марксизма, как и для адептов неолиберализма, по-другому и быть не может. Как в свое время показал еще И. Лакатос, опровержения теории при ее верификации не являются достаточным поводом для отказа от этой теории [Лакатос 2003].

Нарративы современной российской модернизации.

(1) Модернизация как номер технологического уклада⁶. Это — наиболее распространённый нарратив, часто используемый российскими экономистами. Хотя представлениям об их существовании едва ли более 30 лет, данный (отметим, весьма спорный) концепт прочно вошёл в российский научный оборот. Экономическое развитие рассматривается как смена технологических укладов (поэтому, в соответствии с циклами Кондратьева, модернизация должна происходить — спонтанно или планоно — раз примерно в полвека), это позволит создать необходимую передовую «материально-техническую базу» и достичь, наконец, желаемого западного уровня жизни. Естественно, что, начиная с Петра Великого, такая модернизация прежде всего предполагает перенос и освоение передовых технологий (в 21 в. это нанотехнологии, роботизация, информатизация и т.д.). Поскольку олигархи модернизироваться не хотят, их должно заставить это сделать государство, как Петр это сделал с боярами.

Заодно привлекательность данного нарратива в отсутствии крупных институциональных изменений, по сути, такая модернизация реализуется через дирижизм, поэтому приветствуется и чиновниками, и бюджетниками. Дополнительно сюда включается и мотив справедливости: полное изъятие природной ренты, вплоть до национализации

⁶ Наиболее влиятельным представителем этого взгляда на модернизацию является С. Ю. Глазьев, к которому примыкают и другие многочисленные критики «монетаристской политики» российского правительства. См., например [Глазьев, 2010].

добывающей промышленности, прогрессивное налогообложение, естественно — борьба с олигархами, строительство «социального государства».

(2) Модернизация как необходимость буржуазно-демократической революции. В России сохраняется азиатский способ производства, поскольку власть и собственность не разделены, как в Европе до буржуазных революций. Отсюда внешне парадоксальный вопрос: «Назад к частной собственности или вперёд к частной собственности?» [Нуреев 2011; Плискевич 2008] решается в пользу ответа «вперед»; вперёд к судебной реформе, изменению политического режима, защите предпринимателей. К этому нарративу примыкают и уже упоминавшиеся исследователи — разработчики «нормальных» реформ. Как ни странно, но такую революцию косвенно поддерживают и сторонники «особого пути» России — будь-то концепция «экономики раздатка», X-Y — матриц или «ресурсного государства» [Бессонова;2006; Кирдина;2001; Кордонский 2007]. Российская альтернатива вестернизации — внеэкономическое насилие, сословность, иерархия, красноречиво описываемая этими авторами, вряд ли может мобилизовать кого-либо на свою поддержку.

Любопытно отметить, что, в отличие от сторонников продвижения «нового технологического уклада», в рамках рассматриваемого нарратива концепт «буржуазно-демократической революции» практически никогда не называется этим именем. Говорится о разделении «власти-собственности», спецификации и защите прав собственности, гражданских правах, строительстве новых институтов и т. д. Отчасти это результат общего негативного отношения к концепту «социальной революции», но, по-видимому, главное все же не в этом. Буржуазно-демократические революции, происходившие на Западе во время модерна, охватывают XVI–XIX вв. Призыв к такой революции в XXI веке выглядел бы странным анахронизмом, вроде бы в России уже сложилось индустриальное (а по отдельным признакам, и постиндустриальное) общество. Выдвижение в качестве основной движущей силы новой революции российского креативного класса (другие названия: «офисный планктон», «сетевые хомячки», белоленточники) сразу же ставит под сомнение всю концепцию. Третье сословие — буржуа — имело очевидные общие интересы. Напротив, идея о том, что программист, банковский клерк и университетский преподаватель должны положить свои жизни за то, чтобы права крупных и мелких собственников были защищены как от рейдерства, так и от полузаконной экспроприации (например, в случае сноса незаконно возведенных строений), плохо объединяет и слабо мобилизует.

(3) Модернизация как геэкономический проект. Главной особенностью современной эпохи является глобализация, поэтому Россия должна вписаться в мирохозяйственные связи, а приток иностранного капитала и технологий автоматически приведут к формированию передового технологического уклада и материальному процветанию. Очевидно, что этот нарратив использует методологию мир-системного анализа Ф. Броделя — И. Валлерстайна, что позволяет обойти проблему плохих отечественных институтов. Чтобы попасть в число стран ядра мир-системы, России надо выбрать «правильных» союзников и вести верную внешнюю политику. Поэтому борьба вокруг этого проекта ведётся между традиционными российскими западниками — сторонниками вестернизации, а по совместительству синофобами и новыми «почвенниками» — энтузиастами БРИКС, ШОС, Евразийского союза и, по необходимости, синофилами. Это — идеологически наиболее «рыхлый» нарратив с относительно коротким, ситуационным горизонтом анализа. Зачастую он комбинируется с первым: геэкономические союзники должны принести новые технологии и помочь создать передовой технологический уклад, после чего Россия войдет в ядро мир-системы и жизнь наладится.

Сомнения. Риторика — это искусство убеждения, поэтому каждый из нарративов по-своему убеждает в необходимости модернизации, предлагает необходимые меры по изменению политики и экономики. Однако нарративы, в отличие от моделей, не подвержены фальсификации (верификации), являясь неопровержимыми. Любые факты, которые могут быть представлены в качестве доказательства ошибочности той или иной концепции, в рамках нарратива могут быть переинтерпретированы нужным, убедительным образом. Например, известная формула «социализм — это Советская власть плюс электрификация всей страны» соединяет политический режим с передовой технологией, давая характеристику нового общественного строя. Факт, что в капиталистических странах также осуществлена электрификация и действует режим всеобщих выборов, который — по мысли старых марксистов — неизбежно должен был установить власть рабочих и крестьян, которые располагают абсолютным, подавляющим большинством, является недостаточным для опровержения ленинской формулы. Напротив, он может рассматриваться как подтверждение того, что и капиталистические страны *вынуждены постепенно менять свой политический режим для того, чтобы следовать по пути социально-экономического развития, которым идёт передовой СССР.*

Альтернативой убеждениям, которые ведут к вере, являются сомнения:

(1) Идея о необходимости технологического прорыва, инновационного развития, снижения фондо- и материалоемкости производства не нова. В СССР о необходимости интенсификации говорили с 1970-х гг., при этом власть Госплана и советских ведомств была несравнимо больше, чем власть нынешних российских министерств. Почему государственный дирижизм в этот раз должен сработать?

(2) Формально власть и собственность в России разделены, принят целый корпус законов, не позволяющий чиновникам вести бизнес и вмешиваться в деятельность отдельных фирм, включая государственные. В стране ведется активная борьба с коррупцией, отбывают сроки заключения губернаторы, высокопоставленные чиновники федерального уровня, банкиры. Что ещё нужно сделать для того, чтобы власть и собственность оказались разделены «по-западному»? Каковы критерии такого разделения (тем более, что периодические коррупционные и электоральные скандалы в развитых странах подозрительно напоминают российские)?

(3) Не только Россия, но и все другие страны также стремятся попасть в ядро мир-системы. Все стараются привлечь инвестиции, новые технологии, человеческий капитал, для чего принимаются, в общем, примерно одинаковые институциональные инновации. Ни численность населения, влияющая на объём рынка, ни экономико-географическое, ни внешнеполитическое положение России не позволяют говорить о сколько-нибудь значительных сравнительных преимуществах перед многими другими претендентами. Почему включение России в «правильные» союзы должно привести к ее модернизации?

Заключение: неизбежность провала

Модернизационный дискурс — это дискурс Нового времени. Он исчерпывает себя уже в 70-е годы, когда наступает так называемая «эпоха постмодерна», для которой характерен плюрализм реальности, отказ от универсалистских концепций. В условиях постмодерна и исторические сюжеты XVII–XX вв. начинают переосмысливаться не в рамках закономерностей прогресса, но как случайно реализовавшиеся варианты из имевшегося набора возможностей.

Очевидно, что современные российские нарративы модернизации — варианты осмысления *настоящего*. Это идеологические конструкции, в рамках которых авторы формируют свое отношение

к власти, богатству, социальным ролям ученых, промышленников, финансистов. В сущности, они не имеют никакой связи с «модернизационными проектами» типа первой пятилетки или идеями П. А. Столыпина по разрушению крестьянской общины и формированию в России рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Российский дискурс модернизации во всех своих рассмотренных нарративах не имеет практически никакого отношения к собственно теории модернизации, акторы которой — буржуа, промышленные рабочие, крестьяне, «третье сословие» — давно ушли в политическое небытие. Более того, сама методологическая рамка анализа проектов новой российской модернизации свидетельствует о неадекватности экономической науки российским реалиям. В связи с этим предлагаемые проекты ожидает неизбежный провал. Учитывая российские когнитивные циклы, можно ожидать, что после событий 2014 г., когда началась крайне болезненная структурная перестройка, следует ожидать скорой (к 2020 г.) смены дискурса — произойдет переход к «выходу из кризиса», «росту». Однако по мере обновления элиты тема модерна в какой-то форме непременно вернется, обязательно будут говорить об «упущенном шансе», провале «путинской модернизации».

Если немного изменить ракурс анализа, то возникает вопрос не об особом пути России или верности — ошибочности теории, но о том, почему *дискурс модернизации продолжает использоваться отечественными учеными*? Выше мы показали, как менялся общественный консенсус в отношении места СССР-России на «ступенях общественного развития», остановившись на том, что ситуация «стабилизации» не могла продолжаться долго, необходим был переход к тем или иным дискурсам развития. Так почему именно «модернизация»?

По нашему мнению, причина кроется в наличии разрыва между обществом, которое во многом продолжает жить в логике (и языке) прежней эпохи модерна, используя старые понятия, и интеллектуалами, которые борются за свое место на рынке идей. В классическую эпоху ученые — монахи, аскеты — искали Истину, поиск Истины одновременно означал познание Бога, со всеми вытекающими из этого драматическими последствиями. В эпоху модерна наука постепенно превратилась в фабрику по производству знаний, позволяющих улучшить материальное положение граждан, а заодно и в завод по выпуску специалистов — людей, которые должны были занять свои места в общественном производстве. Если в классическую эпоху высокие требования предъявлялись к самим ученым («ученый должен...»), то в эпоху модерна они стали предъявляться к государству («государство должно...»). Ученый в эпоху модерна становится «властителем дум»,

приобретает «человеческий капитал», уровень его доходов и стандарты потребления соответствуют топ-менеджерам крупных предприятий. Желание сохранить столь комфортабельное привилегированное положение является вполне естественным.

Однако постмодерн радикально меняет положение ученых. Университеты становятся фирмами по оказанию образовательных услуг, конкурирующими между собой на соответствующем рынке. По смыслу «услуги» клиент, получающий ее, должен испытывать удовольствие в процессе потребления. В результате из аскета, несущего «светоч знания», ученый превращается в современного профессора, работника сервисного сектора, конкурирующего с коллегами за студентов, гранты, внимание публики и чиновников. Более того, если считать дипломы о высшем образовании и наличии ученой степени свидетельством интеллекта их владельцев, то вопреки Г. Саймону интеллект перестает быть редким ресурсом, более того, он становится избыточным относительно спроса. В то же время, несмотря на определенную диффузию, властный ресурс продолжает оставаться редким и ценным. Конкуренция на рынке идей, а заодно и получение доступа к властному ресурсу резко усиливается.

В этом отношении дискурс модернизации, который продолжает навязываться учеными российским властям и обществу, следует признать исключительно удачным, позволяющим интеллектуалам по возможности сохранять привилегии «властителей дум» и «совести нации». Заодно этот дискурс дает возможность отбиваться как от становящихся все более влиятельными и назойливыми клерикалов, так и от чиновников, пытающихся провести реформы образования и науки и указать ученым на их реальное место в эпоху постмодерна. В связи с этим, несмотря на ожидаемый провал, этот дискурс следует приветствовать. Со временем, когда наступит очередной кризис, можно будет с торжеством заявить: «Мы же вас предупреждали».

Литература

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2012.

Аузан А. А. Переучреждение государства: общественный договор. М.: Европа, 2006.

Бегельсдайт Ш., Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, методологические рассуждения и области практического применения в современности. М., СПб: Изд-во Института Гайдара,

Изд-во Международные отношения, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2016.

Бессонова О. Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М.: РОССПЭН, 2006.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. В 3-х т. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015, 2016.

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.

Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001.

Кордонский С. Г. (2007) Ресурсное государство. М.: REGNUM, 2007.

Кубедду Р. Политическая философия австрийской школы. М.: ИРИСЭН, Мысль, Социум, 2008.

Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. Институты: От заимствования к выращиванию: Опыт российских реформ и возможное культивирование институциональных изменений. М.: ГУ–ВШЭ, 2005.

Лакатос И. Методология исследовательских программ. М.: АСТ, Ермак, 2003.

Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего нового времени. М.: Территория будущего, 2010.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. М.: Издательство политической литературы, 1954.

Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

Плискевич Н.М. Система «власть — собственность» в современной России // Вопросы экономики. 2008. № 5. С. 119–126.

Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007.

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива, 1992.

В. М. Широ́нин

Модернизация и реформы в России как взаимодействие парадигм

В статье предпринята попытка структурирования темы модернизации применительно к России. Традиционно этот вопрос ставился как задача государства, цель которого состоит в продвижении страны и общества по пути прогресса. В статье предложено рассматривать более общий вопрос о взаимодействии нескольких социальных парадигм — исторической российской парадигмы власти, системы восточно-христианского мировоззрения и западноевропейской «технологии» общественной организации. Утверждается, что когнитивный анализ этих парадигм позволит лучше понимать динамику их взаимодействия.

Ключевые слова: модернизация, институциональный анализ, когнитивная социология.

The article makes an attempt at reshaping the discourse of modernization in relation to Russia. Traditionally the issue is discussed in terms of a duty of the State whose aim consists of advancing the country along the road of progress. The article suggests a somewhat more general framework picturing the social development as interaction of several social paradigms: the historical Russian paradigm of power; the system Eastern Christian worldview; and the western European 'technology' of social organization. It is argued that the cognitive analysis of these paradigms will allow a better understanding of their interaction.

Keywords: modernization, institutional analysis, cognitive sociology.

Тема модернизации выглядит сегодня несколько устаревшей, и важнее задуматься о том, почему она не сходит с нашей повестки дня. Так, еще в 2003 году профессор Кнёбль из Гамбурга задавал вопрос — почему эта тема никак не уйдет в прошлое? [Knöbl 2003].

Теория модернизации, которая берет начало еще в работах Макса Вебера и Парсонса, стала одним из наиболее влиятельных направлений

в социологии в 1950–60-е годы, когда возник вопрос о пути развития новых независимых государств. В следующий раз внимание к ней появилось в конце 1980 — начале 1990-х годов, после распада СССР и социалистической системы.

Такие подъемы и провалы связаны с тем, что теория модернизации представляет собой не научную гипотезу, которую можно подтвердить или опровергнуть, а дискурс, который может казаться уместным или нет в зависимости от ситуации. При этом речь идет о следующих очень жестких предположениях о пути развития различных стран и культур [Ibid.]:

- Модернизация рассматривается как глобальный и необратимый процесс, который возник в Европе в XVII веке и постепенно, так или иначе, охватывает все страны мира.
- Этот процесс линейный и однонаправленный, он ведет от традиционных обществ к современным.
- Традиционные общества противопоставляются современным, они основаны на совершенно различных ценностях. В первом случае это приписывание (ascription), партикуляризм и функциональная диффузность. Во втором — ценности секулярности, индивидуализма и рационализма.

Особенностью российского дискурса о модернизации является неизменное присутствие оценок, взгляд как бы со стороны заинтересованного зрителя или участника. Это отражает, например, русскоязычная Википедия, которая различает либеральную и консервативную теорию модернизации. Первая приветствует процесс «вестернизации», в то время как вторая находит в нем разнообразные проблемы.

Для российского взгляда характерно также и то, что модернизация рассматривается не как исторический процесс, а, скорее, как предмет деятельности или задача субъекта модернизации — государства. Мы представляем себе все это примерно так: «немытую Россию» должен вытаскивать из ее первобытного состояния некий герой в военной форме — правительство и государство.

Такая картина порождает множество вопросов. Сегодня выходят из моды представления об однонаправленном и безальтернативном развитии, о том, что «история закончилась» и наконец найден единственно верный путь вестернизации, по которому дружно пойдут все народы¹. Происходящий повсеместно процесс глобализации сочетает в себе как стандартизацию и широчайшее распространение западных

¹ Вот шутка, которую я на днях нашел в Интернете: «Прибежали в избу дети / И с собой зовут отца: / Обманул нас Фукуяма, /Нет истории конца!».

образцов поведения, так и сильные тенденции партикуляризма и фундаментализма. Также совсем не очевидно, что государство «по факту» исполняет роль модернизатора или может (захочет, будет вынуждено) выполнять ее в принципе.

Последующие рассуждения представляют собой попытку понять, какого рода дискурс мог бы быть более адекватным в современных условиях и для нашей страны. Основные тезисы этой статьи следующие:

1. Институциональная история России — это история взаимодействия парадигм, ее нельзя понять вне заимствований и модернизаций.

2. Можно выделить три парадигмы нашей истории, которые были и остаются основными: (1) «ордынская» система власти, (2) православный вариант христианства и (3) парадигма западноевропейского Нового времени.

3. Заимствуемая парадигма западноевропейского Нового времени устроена по «членораздельному» принципу, т. е. как знаковая система. Две заимствующие парадигмы имеют другое устройство.

4. В течение последних 500 лет в России имела место «военная модернизация» и существовал субъект модернизации (государство). В последние десятилетия эта ситуация меняется.

Далекой отправной точкой была для меня книга Е. Гайдара «Долгое время», и я придерживаюсь здесь его позиции в смысле удаленности горизонта и «взгляда с высоты птичьего полета». Что же касается понимания развития как взаимодействия культур, хочется вспомнить также М. Бахтина, говорившего про «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинную полифонию полноценных голосов». В его представлении «диалог выступает как универсальный способ человеческого бытия, двойственно-двуединая природа которого заключается в «нераздельности-неслиянности» Я и Другого, а также в органичной взаимосвязи и взаимодополнении внешней и внутренней интенциональности, внешнего и внутреннего диалога» [Цит. по: Дьяконов 2006].

Вся институциональная история России, с самого ее начала, включая все ее реформы и перестройки — это история взаимодействия с внешним миром и заимствований. В «долгом времени» о нашей стране просто бессмысленно говорить как о самодостаточной, отдельно существующей системе. Это утверждение одновременно и достаточно банально, и неочевидно.

Можно по-разному структурировать те процессы институционального развития, с которыми мы имеем дело в истории. В отличие от историков,

экономисты как «первородный грех» наследуют привычку оперировать моделями вместо фактов. Поэтому дальше предлагается рассматривать нашу историю как взаимодействие трех моделей или парадигм.

Поскольку идея парадигмы сейчас уже живет своей жизнью и не всегда соответствует первоначальному определению [Кун 2009], зафиксируем, что здесь это понятие обозначает комплекс установок, идей, социальных механизмов и т. п., образующих некоторую целостность. Другими словами, парадигма — это иерархическое образование с многочисленными обратными связями. Каждая парадигма представляет собой целостный информационный и социальный механизм со своими принципами жизнедеятельности и устойчивости, преимуществами и недостатками.

Итак, мы попробуем охарактеризовать 1) «ордынскую», 2) «православную христианскую» и 3) западноевропейскую парадигму Нового времени.

То, что можно назвать «ордынской» парадигмой (хотя она сложилась и не только в результате татаро-монгольского влияния) — это в первую очередь система организации власти. Она обладает следующими главными чертами:

1. Власть, государство — это отдельная корпорация, отдельный организм, живущий своей жизнью.

2. Крепость и воля: отношения человека с государством и строятся в этих терминах, и это сильно влияет на отношения людей между собой. В России никогда не было настоящего права собственности и почти всегда, так или иначе, были отношения зависимости. И также почти всегда была воля — возможность уйти или спрятаться от насилия. Воля — это не то же, что свобода в западном понимании, а обратная сторона зависимости — это возможность одновременно вмешиваться в чужие дела и не позволять другим вмешиваться в свои.

3. Состояния и сословия: человек имеет не права, а социальный статус.

4. Кормление и подсобное хозяйство: человек не только служит власти и получает от нее вознаграждение, но и имеет какой-то ресурс для «кормления».

5. Согласования: одна из главных функций власти — это «рассуживание», улаживание споров и конфликтов между «подданными».

Эта модель достаточно хорошо проанализирована, в том числе и на нынешних Леонтьевских чтениях; в частности, она фигурировала в презентации профессора Хедлунда под названием «экстрактивной модели». Поэтому, вероятно, можно не вдаваться в подробности и ссылаться на нее, как на понятную и известную.

Две остальные парадигмы, на мой взгляд, требуют пояснения. Первая — это *парадигма православного христианства*, у которой имеются существенные отличия от христианства западноевропейского — первоначально католического, а затем и протестантского. Это утверждение не следует понимать так, что я приписываю русскому народу какие-то свойства, от которых он не может избавиться. Я хотел бы просто обозначить и по возможности понять некоторую совокупность фактов, которая проявляется в жизни и до сих пор в достаточно серьезной степени влияет на наше поведение.

Очень коротко (и предельно упрощая) можно сказать, что изначальная христианская доктрина видела единый мир как состоящий из трех «ипостасей» — Реальности, Слова и Творчества: люди имеют дело с объективно существующим внешним миром, они используют языки, а также способны создавать новое. Впоследствии западноевропейская традиция упорядочила отношения между этими сторонами жизни, причем сделала это, по сути, в правовых терминах. Речь здесь идет не о подчинении установленным нормам, а о том, что все отношения — даже сугубо неформальные — понимаются как правовые, т. е. формулируются в терминах закона, права и договора (например, мы говорим о законах природы).

Разумеется, для верующего западного христианина источник закона — личный Бог, но сам по себе закон внеличен, нейтрален по отношению к индивидам, которых он объемлет как нейтральное по отношению к телам ньютоновское пространство. Здесь позволительна аналогия с пространственным построением прямой линейной перспективы. Индивиды — «падшие», грешные, и потому их надо защитить друг от друга; вокруг каждого должна быть зона дистанции, создаваемая вежливостью, а их отношения регулируются договором [Аверинцев 1988].

Православной же культуре понятия закона, права и договора глубоко чужды, нам «закон не писан». Вот замечательные стихи Тимура Шаова [Шаов 2017], которые говорят, что русский человек чувствует себя свободно и находится как бы «в онлайн-связи с Богом». Для него не существует ощущения объективной реальности или «природы». Он меряется силами — с кем? — сам с собой, со всем миром:

*«Не влезай, убьет, чудила!» —
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьет!»
Что бы там не говорили —
Несгибаемый народ.*

Человек никогда не хочет быть инструментом. Вы приглашаете мастера, чтобы он забил гвоздь и повесил вам на стену картину. Вы

показываете ему место, но в ответ слышите — хозяин, да разве на этой стенке можно?! И он делает так, как считает правильным.

Классика здесь — это, конечно, лесковский Левша, который подковал блоху. Что делает Левша? Он совершает подвиг. Ему же неважно, сможет ли блоха танцевать, или нет — он самовыражается. Это совершенно типичная модель нашего поведения².

Второе, что требуется уточнить, это представление о том, что именно мы заимствуем. Это *западноевропейская парадигма Нового времени*. Мое утверждение состоит в том, что в течение последних 500 лет мы имели дело с одним и тем же объектом, который, так или иначе, пытались перенести к себе — при этом фрагментарно и в меру понимания, в меру наших возможностей и потребностей. Теперь эта ситуация меняется, и что будет дальше, пока непонятно, но представляется, что в будущем она будет другая.

Одна моя американская знакомая спрашивает — почему вы, русские, не улыбаетесь друг другу? Я отвечаю — потому, что не хотим, чтобы наши дети в 17 лет уезжали из дома и больше не возвращались. Какая тут связь? — спрашивает она. Такая, что дежурная улыбка, обращенная к незнакомым людям — это не только признак общей доброжелательной установки на доверие. Косвенно, это также признак того, что люди включены в систему стандартизованных шаблонов поведения и ролей. Такая стандартизация неизбежно размывает такие более личностные типы отношений, как семья.

«Членораздельные» системы, основанные на такой стандартизации элементов поведения (восприятия, коммуникации и т.д.) — это и есть западноевропейская парадигма Нового времени. Я попытался показать, что именно она лежит в основе институциональной революции и материального прогресса:

«Западная Европа в течение примерно двух тысячелетий выработала технику организации человеческих сообществ в виде знаковых систем. Это позволяет, как из детского конструктора, из имеющихся мыслительных и институциональных «деталей» легко строить бесконечное множество новых сложных отношений, поведенческих моделей и вещей. Мысленные, идеальные объекты превращаются здесь — перекодировываются — в объективно существующие, «реальные». Такая техника аналогична изобретению письменности, и имеет не менее фундамен-

² Вообще, читать Лескова сегодня очень полезно. Принято думать, что Лесков — «почвенный» русский писатель. На самом деле не очень преувеличивая можно сказать, что он писатель английский, тем более, что у него был дядя-англичанин (муж тетки), и я думаю, что Лесков смотрел на русскую жизнь отчасти глазами путешественника по России англичанина.

тальные последствия, она позволяет отчуждать, сохранять и накапливать знание». [Широнин 2013, с. 6]

Западная парадигма Нового времени порождает прогресс потому, что она научилась коллекционировать и уточнять шаблоны поведения и дальше употреблять их, чтобы собирать новые. То есть она позволяет строить социальные отношения так, как люди строят язык — вырабатывая все более точные понятия и создавая все более богатый словарный запас. Эта система устроена как детский конструктор. Представление о мире как о гомогенной, подчиняющейся всеобщим законам и представляющей необъятное поле для исследований системе открыло возможность бесконечного комбинирования средств без заранее установленных результатов и границ: ни одна возможность не исключается, и в конечном счете лишь опыт определяет, что представляют из себя вещи и как их следует комбинировать, чтобы достичь желаемого. Это был принципиально новый взгляд [Геллнер 1991].

Историю возникновения и логику устройства этой парадигмы с разных сторон как бы частями описывали и комментировали разные исследователи, в том числе очень выдающиеся. Институциональная революция, в результате которой сложилась она, произошла за последнее тысячелетие. Основными этапами были следующие:

- Папская революция XI–XII вв.
- Военная революция XV–XVII вв.
- Либеральный порядок и капитализм XVII–XIX вв.
- Массовое общество XIX–XX вв.

Время начала этой институциональной революции трудно определить точно. Где-то на рубеже I–II тысячелетия нашей эры возник новый способ управления католической церковью при помощи юридического механизма. Для изучения и создания права возникли университеты. Католическая церковь разошлась с православной, продолжавшей жить по-прежнему [Берман 1998].

Затем идея организации на основе «конструктора» проникла в военную сферу. Это была военная революция, которая началась на самом деле еще до применения пороха, в первую очередь как революция организационная. Она началась со слаженных действий шотландских, немецких и швейцарских копейщиков, которые стали побеждать рыцарей. Новый организационный подход позволил развивать тактику и стратегию, когда генералы сначала разыгрывали сражения «на оловянных солдатах», а потом уже воевали с помощью регулярных, т. е. обученных массовых армий [Roberts 1956; Parker 1976; Пенской 2010].

Затем та же идея перешла в экономику и, благодаря стечению обстоятельств, превратилась в Англии в капитализм. Об этом писали Локк,

потом Адам Смит, Макс Вебер, а в наше время Фридрих фон Хайек [Найек 1984].

Наконец, возникло массовое общество (те аспекты, о которых мы говорим здесь, очень убедительно проанализированы в упомянутой книге Геллнера).

Хотелось бы подчеркнуть, что, по моему мнению, западноевропейский порядок Нового времени — это *изобретение*. Идея *спонтанного порядка* мне кажется неверной, и в этом я не согласен с Хайеком [Ibid.] (и, тем более, с теми многими, кто занимался разрушением других общественных порядков, рассчитывая, что после этого спонтанно возникнет либеральный порядок). Западноевропейский — по терминологии Хайека *либеральный* — порядок «не растет сам собой». Точно так же, как колесо было изобретено в Старом Свете, а в Новом его не было никогда (как, кстати, его нет и в природе).

Усвоение западноевропейской парадигмы происходило у нас фрагментарно, оно никогда не доходило до того, чтобы хотя бы задуматься о том, что надо заимствовать всю эту систему. Потому что, действительно, вытащить самого себя за косу не невозможно, всегда нужно стоять одной ногой на какой-то почве и тогда можно двигаться второй ногой. Однако этот совершенно очевидный вопрос — почему и каким образом все наши модернизации и реформы всегда были непоследовательными — кажется, никогда не был предметом систематического изучения.

Новый порядок в Европе стал порождать не только прогресс, но и военную угрозу для других стран. Поэтому понятно, что мы заимствуем в первую очередь. Но частичное заимствование ставит пределы использованию заимствуемого. Как сказал на прошлогоднем экономическом форуме в Петербурге профессор Массачусетского технологического института Лорен Грэхем — русские хотят иметь молоко, но не хотят содержать корову. Такова наша модернизация. Она началась еще до Ивана Грозного, а при нем уже были стрельцы и первые формы бюрократического управления армией. Немного позже при патриархе Филарете возникли и первые заводы, которые построили выходцы из Шотландии. Дальше, как мы знаем, начались петровские реформы.

За последние десятилетия ситуация переменилась, и сейчас, кажется, нет необходимости в такого рода военной модернизации — разве что, по инерции. После попытки переворота в Турции Александр Баунов написал замечательную статью, в которой объяснял, почему переворот не получился там и почему он невозможен у нас в России: военные теперь перестали быть двигателями прогресса:

«Военные захватывают власть там, где они чувствуют себя выше среднего по обществу. Их представление о превосходстве основано на

том, что в отстающих странах они являются первым и долго остаются единственным современным институтом. Это давно не случай России и уже не случай Турции. Зато, как прежде военных западного строя, самые непокладистые правители держат сейчас современный экономический блок» [Баунов 2016].

А. Баунов считает, что теперь двигателями прогресса стали экономисты. Другая точка зрения была высказана в известном докладе [Белановский и др. 2012]. По мнению его авторов, численное увеличение и усиление влияния среднего класса неизбежно должно привести в среднесрочной перспективе к развитию в нашей стране демократии. Однако, как и у Баунова, этот вывод мне кажется несколько прямолинейным, поскольку он недооценивает институциональные факторы:

Возможно, сейчас наступил момент, когда заканчивается более чем 500-летний период истории страны, связанный с приоритетом военных задач, и на первый план выходят совсем другие вопросы. Или же в который раз наша мировоззренческая и институциональная инерция окажется сильнее, и мы скроим себе «национальную идею» по размеру старых общественных форм? [Широнин 2013].

Институциональная инерция заставляет систему делать то, что она умеет. Она урбанизовала своих крестьян, а теперь урбанизирует выходцев из среднеазиатских республик³ и борется с врагами, которых сама создает.

Таким образом, «государственная модернизация и реформы» происходят сегодня, скорее, в виде воспроизведения стереотипов институционального поведения. Реальное же взаимодействие парадигм происходят в других, совершенно различных формах и преимущественно без участия государства. Разные люди, представители совершенно различных культур, вероисповеданий, убеждений, этнической и социальной принадлежности живут бок о бок — физически или информационно — и влияют друг на друга. Институциональные формы жизни меняются, и мы сейчас переживаем момент, когда все чувствуют, что это порождает не только плюсы, но и проблемы — но при этом пока никто не знает, что в этой ситуации делать. Вероятно, время институциональных решений еще не наступило. Поэтому вопрос сегодня — о том, как понимать происходящее, как мы об этом можем думать? Мне кажется, что думать следует не только не в военных терминах, но и вообще не в материальных (в том числе экономических), а в терминах знания и информации, когнитивного анализа.

³ И то, как они живут, сегодняшние «гастарбайтеры», — например, в шалашах в подмосковном лесу — ненамного ужаснее московских коммуналок в подвалах 30-х годов.

Литература

Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. №7. С. 210–221; №8. С. 227–240.

Баунов А. (2016) Модернизаторы в мундирах. Почему в России невозможен военный переворот // <http://carnegie.ru/commentary/?fa=64099> (Дата доступа: 15.04.2017).

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. М.: Русские словари; Языки славянских культур, 2002.

Белановский С. А. и др. Движущие силы и перспективы политической трансформации России. М., 2012.

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1998.

Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.

Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

Дьяконов Г. В. Концепція діалогу М. Бахтіна — основа екзистенційно-онтологічної психології // Соціальна психологія. 2006. № 5 (19). С. 45–55.

Кордонский С. Г. Словная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008.

Кун Т. Структура научных революций. М.: 2009.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). СПб.: Дм. Буланин, 1999.

Пенской В. В. Великая огнестрельная революция. М: ЭКСМО, 2010.

Шаов Т. // <http://shaov.net/texts/Chastushki-pofigushki.shtml> (Дата доступа: 01.05.2017).

Широнин В. М. Когнитивная среда и институциональное развитие. СПб.: Издательство СПбГЭУ, 2013.

Hayek F. A. The Principles of a Liberal Social Order // The Essence of Hayek, Stanford, CA: Hoover Institution, 1984.

Knöbl W. Theories That Won't Pass Away: The Never-ending Story of Modernization Theory // G. Delanty, E. F. Isin (eds.). Handbook of Historical Sociology, 2003.

Parker G. (1976) The “Military Revolution”, 1560 -1660 — a Myth? // The Journal of Modern History. 1976. Vol. 48 (2). P. 195–214.

Roberts M. (1956) Military Revolution, 1560–1660. Reprinted with amendments in Essays in Swedish History. London, 1967. P. 195–225.

Тамбовцев В. Л.

Культура как основание «особого пути»: несколько критических замечаний¹

Статья посвящена критическому анализу попыток обосновать неизбежность особого пути России особенностями культуры ее населения. Показано, что популярная трактовка культуры как системы ценностей не отражает содержание культуры, а знание социальных ценностей, характеризующих население в целом, не может характеризовать ценности отдельных индивидов, в первую очередь — потенциальных агентов изменений. Отсутствие научных данных о культуре последних означает также и отсутствие эмпирических оснований для формулирования каких-либо научных выводов о влиянии российской культуры на ход и будущее социально-экономического развития страны.

Ключевые слова: особый путь, культура, социальные ценности, социальные аксиомы, агенты изменений

The paper is devoted to critical analysis of the attempts to validate the Russian Sonderweg's inevitability by virtue of Russian societal culture specificity. It is shown that prevalent representation of culture as a set of societal values doesn't reflect the culture content, and that knowledge of general population societal values cannot characterize the values of each person, first of all the potential agents of change. The absence of scientific data about agents of change culture means at the same time the absence of empirical grounds for any scientific conclusions concerning Russian culture influence over current and future the country social-economic development.

Keywords: Sonderweg, culture, societal values, social axioms, agents of change

Среди оснований неизбежности особого пути развития России и нецелесообразности (или даже невозможности) ее модернизации «по-европейски» весомое место занимают ссылки на специфику российской

¹ И одно конструктивное предложение

культуры [Травин 2015]. Культура при этом обычно понимается не просто как нечто, предопределяющее (программирующее) человеческие поступки, но и как система, воспроизводящая себя через века, независимо от воли и сознания людей, действия которых ей подчиняются.

Рассмотрим такой подход подробнее на примере концепции «матрицы Московии» А. П. Заостровцева [Заостровцев 2017]. Автор полагает, что в совокупности институтов, существующих в той или иной стране (или обществе), есть группа институтов-должителей, составляющих «институциональное ядро»: «Они трансформируются (модифицируются) со временем, но при этом сохраняют свои фундаментальные качества, порождая тем самым *зависимость от пути развития*» [Там же, с. 47–48]. Устойчивость таких институтов объясняется (со ссылкой на статью В. М. Полтеровича) эффектами координации и обучения, а также культурной инерцией, понимаемой как «нежелание акторов менять устоявшиеся стереотипы поведения» [Там же, с. 62–63]. При этом автор замечает: «Если институты-должители изначально были неэффективны или утратили эффективность с течением времени, то в таком случае их существование сковывает развитие общества и они становятся *институциональной ловушкой...*» [Там же, с. 64].

Прежде чем перейти к анализу «институционального ядра» России, состав которого предлагает далее А. П. Заостровцев, остановимся на одном важном моменте: понятии *неэффективности* институтов. Автор, судя по тексту тезисов, трактует его как так называемую *социальную* неэффективность, когда *совокупные* издержки функционирования института оказываются выше, чем *совокупные* выгоды. Безусловно, такой подход является общепринятым в экономической теории, однако он плохо «работает», когда положения последней используются для попыток объяснения феноменов социально-экономической реальности. Дело в том, что институты не являются некоторыми сущностями, существующими независимо от людей, от их целей, стимулов и действий (если, разумеется, следовать экономическому, а не социологическому пониманию институтов). Иными словами, адресатов правила принуждают следовать ему другие люди (гаранты правила), и притом тогда и только тогда, когда такое следование выгодно гарантам. В противном случае правило нарушается, и нарушитель не становится объектом санкций со стороны гарантов.

Это означает, что долголительство тех или иных институтов имеет место тогда, когда они *выгодны гарантам* соответствующих правил, и имеющийся у них потенциал принуждения (насилия) достаточен для того, чтобы предотвращать (или наказывать) отклонения от них со стороны адресатов этих правил (т. е. тех, что должен следовать

правилам). Об этом, собственно говоря, ясно писал Д. Норт, объясняя феномен *эффекта блокировки* [Норт 1997, с. 23], содержательно весьма близкого к понятию «институциональной ловушки». Поэтому правила, выгодные гарантам, но вменяющие издержки адресатам, могут существовать сколь угодно долго, безотносительно к их социальной эффективности или неэффективности. Нужно лишь, чтобы у гарантов существовал *устойчивый* источник доходов, достаточных для поддержания потенциала насилия, мешающего адресатам нарушать выгодные гарантам (но невыгодные адресатам) правила. Для устойчивости такого источника необходимо, чтобы он не зависел (или слабо зависел) от действий большинства адресатов. Ведь невыгодность правил для последних означает, что они лишены стимулов осуществлять регулируемые такими правилами деятельность, приносящую доходы, с достаточным усердием и максимальными усилиями: она выполняется на минимально допустимом уровне, чтобы не подвергаться санкциям. Значит, и гаранты будут получать (отбирать, присваивать) относительно небольшой объем выгод, которого может оказаться недостаточно для поддержания требуемого потенциала насилия. В терминах экономической теории это означает, что источником выгод гарантов вряд ли может служить прибыль, генерируемая в обменах между адресатами *внутри* границ, контролируемых гарантами; скорее, на его роль может претендовать *рента*, извлекаемая монополистом-гарантом при продажах той или иной продукции за пределы таких границ.

Другими словами, неэффективные для развития экономической деятельности, но выгодные гарантам институты окажутся долгожителями в тех странах, государствах и обществах, где гаранты захватили монополию на внешнюю торговлю товаром, пользующимся устойчивым спросом и производимым по технологиям, в которых физический объем результатов зависит не только (а лучше даже — не столько) от *массовых* усилий адресатов, но и от факторов, от них не зависящих (прежде всего — природных). До промышленной революции такими товарами были плоды сельского хозяйства, где важны факторы погоды, после нее — сырьевые ресурсы, где важно наличие на территории месторождений полезных ископаемых.

Таким образом, подводя итоги обсуждения вопроса о неэффективности институтов, следует подчеркнуть, что главное для их долгожительства — это выгодность института для его гаранта (бенефициара) и наличие возможности получать доход для поддержания потенциала насилия из таких источников, которые в малой степени подвержены риску иссякнуть вследствие невыгодности этих институтов для адресатов соответствующих правил.

Обратимся теперь к составу «институционального ядра» «матрицы Московии», предложенному А. П. Заостровцевым. Оно включает: (1) самовластие; (2) имперство; (3) деавтономизацию личности; (4) власть-собственность (общественно-служебную собственность); (5) сословное общество; (6) теневую административную ренту. В какой мере перечисленные разнокачественные феномены являются институтами — очень большой вопрос, но дело даже не этом. Автор утверждает, что, сохраняя свои фундаментальные характеристики, эти феномены, меняя *формы* своего существования (или проявления), странствуют через века, предопределяя *особый путь* развития России. Иными словами, получается, что данные феномены (почему именно они — вопрос не ставится) существуют как бы независимо от индивидов, живя своей собственной жизнью, меняя при этом (непонятно, почему?) формы своего бытия. Картинка получается совершенно мистическая...²

Между тем, не поставленные автором вопросы являются центральными для того, чтобы попытаться (не мистически) объяснить и понять особенности исторического развития России. Как представляется, сделанные выше замечания относительно эффективности или неэффективности институтов, длительность существования которых связывается с их выгодностью или невыгодностью для вполне определенных групп индивидов, живущих в конкретных исторических обстоятельствах, позволяют дать на них ответы.

Нужно заметить, что А. П. Заостровцев не называет ни само якобы существующее «институциональное ядро», ни источник его происхождения культурой, однако другие сторонники такого подхода, также говорящие о наличии некоторой устойчивой и самовоспроизводящейся структуры, меняющей лишь формы своего проявления и предопределяющей траекторию развития обществ, не зависящей при этом от отдельных индивидов, часто называют эту структуру (русской) культурой.

В этой связи следует отметить, что культурологический подход к проблематике модернизации сам по себе вызывает серьезные сомнения. Д. В. Трубицын в этой связи отмечает: «...любая дискуссия о сущности культуры в процессе модернизации становится в конечном итоге дискуссией между культурологией и социологией. Есть основания понимать культурологию и социологию как два принципиально различных и во многом взаимоисключающих способа изучения

² Напоминающая, впрочем, метафору Р. Докинса, в которой люди выступают не более чем формами существования самостоятельного «эгоистичного гена» [Dawkins, 1976].

общества, и в попытке решения проблемы модернизации необходимо сделать выбор, поскольку их синтез представляется невозможным.

Первый способ — культурологический — направлен на изучение индивидуального и уникального, здесь и только здесь он может использоваться, и всякий раз, когда культурология пытается объяснить мир в целом, она заводит исследователя в постмодернистский тупик, представляющий реальность «культурным текстом». Причина очевидна — то, что направлено на изучение индивидуального, каковым является культура, не может быть методом обобщения, именно поэтому постмодернизм склонен отрицать социальное как общее в феномене общественного.

Второй способ — социологический — направлен на изучение общего, и при осмыслении модернизации как глобального общественного процесса необходим именно он» [Трубицын 2010, с. 39].

Эти положения имеют чисто методологический характер и, с нашей точки зрения, нуждаются в более содержательных обоснованиях, которые должны заключаться в анализе *механизмов* влияния культуры на ход процессов развития. Именно такой анализ может показать, к какой мере и как национальная культура способна влиять на развитие страны.

Для проведения такого анализа нужно в первую очередь ответить на два вопроса:

- Что понимается под культурой?
- О культуре каких субъектов идет речь?

Исходя из имеющихся подходов к исследованию национальных культур, можно выделить два основных варианта понимания культуры:

- (1) совокупность социетальных ценностей;
- (2) совокупность норм поведения или поведенческих практик.

Соответственно, в качестве вариантов «носителя» культуры можно рассматривать:

- (а) все население страны;
- (б) различные ресурсобеспеченные группы как потенциальные агенты модернизации, включая «правителя», т. е. высшее руководство государства.

Рассмотрим подробнее названные варианты. В настоящее время наиболее распространенным в научной литературе является понимание национальной культуры как совокупности социетальных ценностей [Hofstede 1980; Schwartz, Sagie 2000; House et al. 2001; Inglehart et al. 2004]. Исходя из данных опросов граждан по специальным анкетам, исследователи формируют кластеры близких ответов, интерпретируя

их как те или иные социетальные ценности. Поскольку между средними ответами респондентов, живущих в разных странах, существуют различия, последние трактуются как различия национальных культур. Числовой характер получающихся «профилей культур» дает исследователям возможность включать элементы этих профилей в эконометрические уравнения и делать различные содержательные выводы о влиянии культуры на социально-экономические процессы.

На фоне множества таких эмпирических работ существует, однако, и критика подобного подхода, позволяющая заключить, что репрезентация в социально-экономическом анализе национальной культуры социетальными ценностями непродуктивна и ведет к некорректным выводам. Это заключение имеет как минимум два основания: статистическое и поведенческое.

С точки зрения статистики, перенося параметры, характеризующие совокупность опрошенных, на каждого из ее членов, исследователи совершают так называемую экологическую ошибку, т. е. приписывание статистических отношений, существующих на уровне *группы*, каждому *элементу* этой группы [Brewer, Venaik 2014]. И действительно, страновой «общекультурный» фактор объясняет только 2–4% вариаций в индивидуальных ценностях [Green et al. 2005; McSweeney 2009]. Ответ на эту критику со стороны Г. Хофстеде, — одного из основных ее объектов — прозвучал следующим образом: «Говорить, что группы, такие как нации или этнические группы, не должны изучаться, поскольку индивиды, из которых они состоят, более разнородны, чем сами группы, которые они составляют, все равно что сказать, что не нужно изучать индивидов, поскольку клетки, из которых они состоят, гораздо более разнородны, чем человеческие существа на нашей планете» [Minkov and Hofstede 2012, p. 135]. Легко видеть, что этот ответ, мягко говоря, «не про то»: никто и никогда не отрицал возможность изучать общие характеристики конструкта, именуемого «национальная культура». Вопрос в другом: можно ли переносить эти характеристики на каждого из конкретных людей, действующих в рамках группы (общества, локального сообщества и т. п.), одним из описаний которой является этот конструкт? Ответ, как следует из сказанного выше, отрицательный. Более того, отвечая десятью годами ранее на схожую критику, Хофстеде четко заявил: «измерения не существуют» [Hofstede 2002], понимая под измерениями в данном случае те самые кластеры, которые он получал, обрабатывая результаты индивидуальных измерений ценностей.

С точки зрения поведенческого анализа, репрезентация культуры ценностями непродуктивна, поскольку непосредственно они не

вливают на поведение: между ценностями и действиями находится несколько опосредующих факторов [LaPiere 1934; Bandura 1977; Ajzen 1991; Rimal, Real 2005], которые влияют на действия не менее, если не более сильно, чем ценности. Поэтому ответом на вопрос, составляющий заголовок статьи М. Морриса «Ценности как сущность культуры: основания или заблуждение?» [Morris 2014], является вторая, а не первая опция.

Несмотря эти приведенные аргументы, некоторые исследователи продолжают поиски поддержки тезиса о прямом влиянии индивидуальных ценностей на (экономическое) поведение [Karas 2014]. Используя методы эконометрического анализа, Дж.Капас нашла подтверждения ее гипотезы о том, что ценности прямо связаны с подушевым доходом, если при этом контролировать качество формальных институтов. При этом, однако, она вполне корректно подчеркивает: «...я признаю, что интерпретировать эти эмпирические результаты нужно с очень большой осторожностью, в силу возможных ошибок пропущенных переменных, так что были бы очень полезны проверки робастности, которые непросто провести, учитывая общие проблемы, относящиеся к измерению институтов (см. [Voigt 2013])» [Karas 2014, p. 40]. Очевидно, и сами результаты анализа, и цитированные комментарии, являются вполне ожидаемыми: действительно, формальные институты — это одна из разновидностей *ограничений*, стоящих на пути трансформации ценностей в действия. Индивидуальные ценности, безусловно, *вливают* на последние, но никак не *предопределяют* их. А ведь сторонники культурной детерминации особого пути России говорят именно предзаданности этого пути российской культурой.

Представления о национальной культуре как совокупности неформальных норм и связанных с ними ментальных конструкций также распространены среди исследователей, хотя и менее широко, чем ее ценностная трактовка, — как представляется, во многом потому, что *измерить нормы* гораздо сложнее, чем измерить ценности (см., например, упомянутую выше статью С. Фойгта). Так, Р. Фишер и др. предложили интерпретировать культуру как совокупность дескриптивных (субъективных) норм [Fischer et al. 2009], М. Гельфанд и др. привлекли внимание к такой характеристике культуры как ее плотность/рыхлость, понимая под ними ту степень свободы действий индивида, которую предоставляют нормы культуры [Gelfand et al. 2006], а Ч.-Ю. Чиу и соавторы определяют культуру как совокупность интерсубъективных представлений о ней, понимая такие представления как «убеждения и ценности, которые участники культуры воспринимают как те, которые должны быть широко распространены в их культуре»

[Chiu et al. 2010, p. 482]. Близка к очерченному пониманию трактовка культуры как процесса [Kimmelmeier, Kühnen 2012].

Некоторую возможность измерить культурные нормы предоставляет проект М. Бонда и К. Леунга, направленный на выявление распространенности в различных национальных культурах так называемых *социальных аксиом* [Leung, Bond et al. 2002]. Если ценности, кратко говоря, — это представления о предпочтительных *состояниях* окружающего мира, то социальные аксиомы — это убеждения относительно существования *связей* между компонентами мира между собой и с действиями людей. Эти убеждения отражают опыт существования человека в природном и социальном мире, включая и опыт взаимодействия с другими людьми, в силу чего они и могут служить репрезентациями национальной культуры. Измерения социальных аксиом проводились, в частности, и в России [Татарко, Лебедева 2008].

Социальные аксиомы, наличие которых эмпирически выявлено у представителей всех обследованных культур, могут быть объединены в следующие группы:

- **цинизм**, или негативный взгляд на природу человека, т. е. убежденность в том, что жизнь неотделима от несчастий, люди используют друг друга, им нельзя доверять, и т. п.;
- **сложность жизни**, или убежденность в том, что всегда существует множество путей достижения одного и того же результата, и поведение человека не предопределено, а меняется в зависимости от ситуации;
- **вознаграждение усердия**, или убежденность в том, индивидуальные усилия и упорство (целеустремленность) приведут к желаемым результатам;
- **духовность**, или убежденность в существовании сверхъестественного и положительных последствий религиозных практик;
- **контроль над судьбой**, или убежденность в том, что жизнь человека не предопределена, человек может влиять на события своей жизни.

В рамках каждой группы представлены, разумеется, и социальные аксиомы противоположного значения: убежденность в позитивных качествах людей, в простоте устройства жизни, в зависимости успехов от игры случая или семейных связей, и т. п. Исследования показали, что измерения национальных культур через социальные аксиомы коррелируют с их измерениями через те или иные ценностные структуры, однако отражают разные стороны внутреннего мира людей.

Обратимся теперь к вопросу о том, культура *каких субъектов* может быть значима с точки зрения влияния на процессы модернизации

ции. Наиболее развитые ценностные измерения культуры строятся на выборках, охватывающих или отдельные профессиональные группы (как у Г. Хофстеде, обследовавшего работников подразделений фирмы IBM в различных странах, или у Ш. Шварца, анализировавшего ценности старших школьников и их учителей), или население страны в целом (как в рамках проекта GLOBE). Поэтому эмпирический анализ связей между культурой и различными сторонами экономической, социальной и политической жизни, опирается на культурные ценности соответствующих групп или населения страны (обычно измеряемых по нерепрезентативным выборкам).

Между тем в науке давно сформировалось представление о существовании и значимости *агентов изменений*, — влиятельных индивидов или групп, способных осуществлять трансформации социально-экономических феноменов (процессов, институтов, организаций), преодолевая теми или иными способами сопротивление тех, кому такие изменения не представляются приемлемыми. Для разных объектов, типов и масштабов изменений их агентами выступают, разумеется, разные индивиды и группы.

Так, эмпирический анализ показал, что наибольший вклад в экономический рост и технический прогресс вносят представители тех групп населения, которые обладают наивысшим в стране уровнем интеллектуальных способностей (IQ) [Burham et al. 2014].

Аналогично, недавние исследования продемонстрировали, что успехи в промышленной революции в различных странах Европы в XVIII–XIX вв. были связаны не с общим уровнем человеческого потенциала их населения, а с размером небольшой доли наиболее «продвинутых» интеллектуалов [Squicciarini and Voigtländer 2015].³

Обстоятельное исследование влияния культуры на экономический рост опубликовал Дж.Мокир [Мокир 2016]. Важно подчеркнуть, что из всего комплекса феноменов (или измерений) культуры он выбрал ее репрезентацию в *убеждениях* индивидов относительно устройства внешней среды, как природной, так и социальной, что близко к концепции культуры как совокупности социальных аксиом. Что же касается носителей культуры, то в его работе анализируется влияние на экономическое развитие убеждений очень небольшой группы интеллектуальной элиты⁴, а не населения страны в целом. Отметим, что

³ Эта доля оценивалась по числу подписчиков знаменитой Энциклопедии Дидро и Даламбера (Encyclopédie) в 1770-х гг.

⁴ Для ее краткого обозначения Мокир использует аббревиатуру UTHC, т. е. Unitary thrift holding company, — холдинговая компания, контролирующая ссудно-сберегательную ассоциацию.

и рассмотренная выше концепция «матрицы Московии» фактически также включает гипотезы относительно устойчивых норм поведения сравнительно узкой группы «властителей», а не населения в целом. Вель многочисленная череда восстаний и бунтов ясно свидетельствует о том, что упомянутые нормы не воспринимались как легитимные достаточно широкими слоями населения. Только неравенство потенциалов насилия позволяло «властителям» доминировать над последними.

Обсуждая проблематику агентов изменений, К. Гершлагер подчеркивала важность *мотивационного аспекта* их действий [Gerschlagler 2012]. Поскольку эти действия имеют глубокое сходство с предпринимательскими действиями, в контексте нашего анализа особую значимость приобретает разграничение У.Баумолем продуктивного, непродуктивного и деструктивного предпринимательства [Baumol 1990]. В своем исходном понимании Баумоль имел в виду, в первую очередь, *экономическое* предпринимательство, однако предложенное деление можно естественно распространить и на институциональное предпринимательство [Battilana et al. 2009], с учетом, разумеется, отмеченного выше обстоятельства неоднозначности понятия эффективности (и продуктивности) применительно к институтам. При этом успешность реализации инициатив по изменению институтов зависит от той социальной позиции, которую занимает институциональный предприниматель [Battilana 2011]: чем выше его статус, тем выше вероятность успеха.

В современной России потенциальными агентами модернизационных изменений на уровне экономики и общества в целом выступают, как представляется, следующие группы: чиновники высоких рангов (включая силовиков), менеджеры и владельцы крупных фирм, а также предприниматели (крупные и средние). Именно у них есть те или иные ресурсы, необходимые для осуществления масштабных преобразований социально-экономических процессов.

Будут ли эти ресурсы использованы для сохранения *status quo* или для его изменений, и если для изменений — то каких, зависит, в частности, и от их культурных характеристик агентов изменений, таких как сложившиеся у них социальные аксиомы, субъективные нормы и т. п. На их выбор, безусловно, не может не влиять ожидаемое соотношение выгод и издержек, причем отнюдь не только экономических, материальных. Немаловажны также и черты личностей потенциальных агентов модернизации — открытость новшествам, коммуникативные способности и т. п.

Проблема, однако, заключается в том, что все эти параметры, относящиеся как к социетальной культуре, так и к чертам личности

потенциальных агентов модернизации, на сегодняшний день практически *неизвестны исследователям* (а также политикам и другим заинтересованным лицам). Переносить же на них параметры, замеренные для выборок, не относящихся к потенциальным агентам влияния, — значит, совершать *экологическую ошибку*.

Важно отметить и еще одно обстоятельство: социетальные культуры вовсе не являются *согласованными системами* (социальных аксиом, субъективных норм или ценностей), они состоят обычно из многих различных *субкультур*, которые, в свою очередь, объединяют широкое разнообразие совокупностей индивидуальных ценностей.

Более того, и в этой рыхлой совокупности индивид всегда найдет ту, что отвечает конкретной ситуации выбора, в которой он находится: «...ясно, что в зависимости от требований ситуации, адаптивными являются как стратегии, ориентированные на индивидуализм, так и стратегии, ориентированные на коллективизм; следовательно, человеческий мозг, скорее всего, способен думать обоими этими путями» [Oyserman et al. 2002, p. 110]. Иными словами, люди могут принадлежать одновременно к нескольким субкультурам, демонстрируя в разных обстоятельствах различные свои идентичности. Безусловно, это общее утверждение относится и к потенциальным агентам изменений.

Таким образом, подводя итог проведенному рассмотрению, можно заключить, что на сегодняшний день *научных* оснований для каких-либо выводов о том, является ли российская социетальная культура фактором, тормозящим, ускоряющим или никак не влияющим на процессы модернизации, просто *нет*.

Разумеется, этот факт никак не сможет помешать всем желающим, несмотря на отсутствие эмпирических данных, активно обсуждать роль российской культуры в процессах изменений российского общества и его экономики.

В этой связи, в заключение статьи, можно дать один совет тем коллегам, которые не просто отстаивают неизбежность особого пути России, но и стремятся найти для этого те или иные *научные* основания.

В последние годы было опубликовано несколько исследований, которые связывают консервативные политические ориентации людей с такой их чертой как *сдвиг негативности* (negativity bias), т. е. приданием большей значимости событиям, сторонам процессов и т. п., способным вызывать отрицательные для них последствия, обращая меньшее внимание на те, последствия которых могут быть положительными [Shook and Fazio 2009]. Л. Кастелли и Л. Карраро установили, что различия в идеологии связаны с базовыми когнитивными процессами формирования установок [Castelli and Carraro 2011], в которых

сдвиг негативности играет очевидно важную роль (см. более полный обзор в [Hibbing et al. 2014]).

Сторонники особого пути в политическом плане, безусловно, консервативны, в то время как сторонники «нормальной» модернизации также безусловно либеральны по своим политическим ориентациям.

Сдвиг негативности сам по себе имеет глубокие эволюционные основания, «поскольку с точки зрения выживания издержки негативных событий могут быть куда больше, чем выгоды позитивных событий» [Op. cit., p. 40], в силу чего «плохое сильнее, чем хорошее» [Baumeister et al. 2001]. Иными словами, индивиды, у которых проявляется сдвиг негативности, — т. е. консерваторы, — это те члены сообществ, которые стремятся не найти лучшее, а не потерять хорошее, полагая таковым то состояние, в котором находится сообщество, — хотя бы потому, что его члены живы.

Приведенные положения можно, на первый взгляд, интерпретировать так, что консервативные установки всегда предпочтительнее либеральных, однако это не так. Если сообщество существует в устойчивой внешней среде, сохранение такого положения действительно может показаться более выгодным, чем экспериментирование и реформы. Однако если среда динамично и неоднозначно меняется, стремление сохранить «все как есть» может легко привести сообщество в эволюционный тупик и, в конечном счете, к исчезновению. Иными словами, когда среда начинает меняться, эволюционно адекватной становится не консервативная, а иная политика, предполагающая поиск новых путей адаптации к динамичной внешней среде.

В самих приведенных результатах для сторонников выявления научных оснований особого пути России не было бы ничего интересного — ведь сдвиг негативности присутствует у представителей *любых* сообществ, — если бы не одно важное обстоятельство. Сдвиг негативности не только эволюционно оправдан и объясним, но и связан с особенностями *физиологии* организмов, и, стало быть, в конечном счете, с *генетикой* его носителей. Так, Р. Канаи и др. установили, что различия между консервативными и либеральными установками, которые демонстрировали студенты одного из лондонских колледжей, связаны с различиями в устройстве их нейронных сетей [Kanai et al. 2011]; М. Додд и др. показали, что негативные стимулы (например, неприятные картинки) вызывают у консерваторов более сильную электродермальную активность, чем у либералов [Dodd et al. 2012], и т. д. В целом, как отмечают Дж.Хиббинг и др., «перечень эмпирически продемонстрированных психологических и физиологических отличий между либералами и консерваторами длинный и разнообразный»

[Hibbing et al. 2014, p. 302–303]. Что же касается генетических отличий между теми, кто демонстрирует сдвиг негативности, и остальными индивидами, то у первых отмечено наличие «короткой» аллели рецептора дофамина гена DRD4 [Op. cit., p. 303]. Тем самым, перед сторонниками особого пути России открываются заманчивые перспективы...

Одна беда: как показывают исследования генетиков, «негативное мышление», — а именно оно свойственно носителям сдвига негативности, видящим в любом изменении в первую очередь возможные изменения к худшему, — *не способствует развитию интеллекта, общих познавательных способностей личности* [Shakeshaft et al. 2015]...

Литература

Заостровцев А. П. «Служилое государство» в постсоветской России: II реинкарнация «Матрицы Московии» // Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь? / Под ред. А. П. Заостровцева. СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. С. 46–68.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала. 1997.

Татарко А. Н., Лебедева Н. М. Кросс-культурное исследование социальных аксиом в России: структура и взаимосвязи с социально-экономическими установками // Актуальные проблемы социально-психологической адаптации мигрантов в современном мире. Материалы Международной научно-практической конференции. Пенза, 2008. С. 228–244.

Травин Д. Я. Теории особого пути России: классики и современники. Препринт М-43/15. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Трубицын Д. В. Онтологический статус культуры и ее роль в процессе модернизации // Философские науки. 2010. № 11. С. 36–52.

Ajzen I. The theory of planned behavior // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991. Vol. 50. Is. 2. P. 179–211.

Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change // Psychological Review. 1977. Vol. 84. No. 2. P. 191–215.

Battilana J., Leca B. and Boxenbaum E. How actors change institutions: Towards a theory of institutional entrepreneurship // Academy of Management Annals. 2009. Vol. 3. No. 1. P. 65–107.

Battilana J. The enabling role of social position in diverging from the institutional status quo: Evidence from the U.K. National Health Service // Organization Science. 2011. Vol. 22. Is. 4. P. 817–834.

Baumeister R. F., Bratslavsky E., Finkenauer C. and Vohs K. D. Bad is stronger than good // *Review of General Psychology*. 2001. Vol. 5. Is. 4. P. 323–370.

Baumol W. Entrepreneurship: Productive, Nonproductive and Destructive // *Journal of Political Economy*. 1990. Vol. 98. No. 5. P. 893–921.

Brewer P., Venaik S. The Ecological Fallacy in National Culture Research // *Organization Studies*. 2014. Vol. 35. Is. 7. P. 1063–1086.

Burhan N. A. S., Mohamad H. R., Kunniwan Y., Sidek A. H. The impact of low, average and high IQ on economic growth and technological progress: Do all individuals contribute equally? // *Intelligence*. 2014. Vol. 46. P. 1–6.

Carraro L., Castelli L., Macchiella C. The Automatic Conservative: Ideology-Based Attentional Asymmetries in the Processing of Valenced Information // *PLoS ONE*. 2011. Vol. 6. Is. 11. e26456. doi:10.1371/journal.pone.0026456.

Castelli L. and Carraro L. Ideology is related to basic cognitive processes involved in attitude formation // *Journal of Experimental Social Psychology*. 2011. Vol. 47. Is. 5. P. 1013–16.

Chiu C.-Y., Gelfand M. J., Yamagishi T., Shteynberg G., Wan C. Intersubjective culture: The role of intersubjective perceptions in cross-cultural research // *Perspectives on Psychological Science*, 2010. Vol. 5. No. 4. P. 482–493.

Dawkins R. *The Selfish Gene*. Oxford, UK: Oxford University Press. 1976.

Dodd M. D., Balzer A., Jacobs C. M., Gruszczynski M. W., Smith K. B. and Hibbing J. R. The political left rolls with the good; the political right confronts the bad // *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Biological Sciences*. 2012. Vol. 367(1589). P. 640–649.

Fischer R., Ferreira M. C., Assmar E., Redford P., Harb C., Glazer S., Cheng B. S., Jiang D. Y., Wong C., Kumar N., Kaertner J., Hofer J., Achoui M. Individualism-collectivism as descriptive norms: Development of a subjective norm approach to culture measurement // *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 2009. Vol. 40. No. 2, P. 187–213.

Gelfand M. J., Nishii L. H., Raver J. L. On the nature and importance of cultural tightness-looseness // *Journal of Applied Psychology*. 2006. Vol. 91. No. 6. P. 1225–1244.

Green E. G. T., Deschamps J.-C., Páez D. Variation of Individualism and Collectivism within and between 20 Countries: A Typological Analysis // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2005. Vol. 36. No. 3. P. 321–339.

Hibbing J. R., Smith K. B., Alford J. R. Differences in negativity bias underlie variations in political ideology // *Behavioral and Brain Sciences*. 2014. Vol. 37. No. 3. P. 297–307.

Hofstede G. Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills: Sage. 1980.

Hofstede G. Dimensions do not exist – reply to Brendan McSweeney // *Human Relations*. 2002. Vol. 55. No. 11. P. 1355–1361.

House R. J., Javidan M., Dorfman P. The GLOBE project // *Applied Psychology: An International Review*. 2001. Vol. 50. No. 4. P. 489–505.

Inglehart R., Basanez M., Deiz-Medrano J., Halman L., Luijckx R. (eds.) *Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 1999–2002 values surveys*. Mexico City: Siglo XXI. 2004.

Kanai R., Feilden T., Firth C. and Rees G. Political orientations are correlated with brain structure in young adults // *Current Biology*. 2011. Vol. 21. No. 8. P. 677–80.

Kapas J. Unbundling Culture: The Impact of Individual Values on Development. — In: Erdey L., Kapás J. (Eds.) *Institutions, Globalization and Trade*. University of Debrecen. Faculty of Economics and Business Administration. 2014. P. 27–49.

Kemmelmeier M., Kühnen U. Culture as process: The dynamics of cultural stability and change // *Social Psychology*, 2012. Vol. 43. No. 4. P. 171–173.

LaPiere R. T. Attitudes vs. Actions // *Social Forces*. 1934. Vol. 13. Is. 2, P. 230–237.

Leung K., Bond M. H., de Carrasquel S. R., Munoz C., Hernandez M., Murakami F., Yamaguchi S., Bierbrauer G. and Singelis T. M. Social axioms: the search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2002. Vol. 33. Is. 3. P. 286–302.

Leung K., Bond M. H., de Carrasquel S. R., Munoz C., Hernandez M., Murakami F., Yamaguchi S., Bierbrauer G. and Singelis T. M. Social axioms: the search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2002. Vol. 33. Is. 3. P. 286–302.

McSweeney B. Dynamic diversity: variety and variation within countries // *Organization Studies*. 2009. Vol. 39. No. 9. P. 933–957.

Minkov M. and Hofstede G. Is National Culture a Meaningful Concept? Cultural Values Delineate Homogeneous National Clusters of In-Country Regions // *Cross-Cultural Research*. 2012. Vol. 46, Is. 2. P. 133–159.

Mokyr J. A. *Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy*. Princeton: Princeton University Press. 2016.

Morris M. W. Values as the Essence of Culture: Foundation or Fallacy? // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2014. Vol. 45. Is. 1. P. 14–24.

Oyserman D., Kemmelmeier M., Coon H. M. *Cultural Psychology*,

A New Look: Reply to Bond (2002), Fiske (2002), Kitayama (2002), and Miller (2002) // *Psychological Bulletin*. 2002. Vol. 128. No. 1. P. 110–117.

Rimal R. N., Real K. How behaviors are influenced by perceived norms: A test of the theory of normative social behavior // *Communication Research*. 2005. Vol. 32. Is. 3. P. 389–414.

Schwartz S. H., Sagie G. Value consensus and importance: A cross-national study // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2000. Vol. 31. No. 4. P. 465–497.

Shakeshaft N. G., Trzaskowski M., McMillan A., Krapohl E., Simpson M. A., Reichenberg A., Cederlöf M., Larsson H., Lichtenstein P., Plomin R. Thinking positively: The genetics of high intelligence // *Intelligence*. 2015. Vol. 48. P. 123–132.

Shook N. J. and Fazio R. H. Political ideology, exploration of novel stimuli, and attitude formation // *Journal of Experimental Social Psychology*. 2009. Vol. 45. Is. 4. P. 995–98.

Squicciarini M. P. and Voigtländer N. 2015. Human Capital and Industrialization: Evidence from the Age of Enlightenment // *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 130. No. 4. P. 1825–1883.

Voigt S. How (Not) to Measure Institutions // *Journal of Institutional Economics*. 2013.9.1. P. 1–26.

Оболонский А.В.

**Идеологема особого пути,
или «Особый путь» в цивилизационный тупик**

Работа представляет многоаспектную критику концепции «особого пути» России, являющейся, по мнению автора, идеологической легитимацией авторитаризма. Аргументируются неадекватность подхода с позиций исторического фатализма и простого эволюционизма, а также якобы «сакральности» российской власти в массовом сознании. Рассматривается ряд критических перекрестков в российской истории, когда страна по разным причинам не смогла перейти на иную «колею» развития, которая создала бы предпосылки для ее подлинной модернизации, и в то же время отсутствие цивилизационного запрета на такой переход в близком будущем, а также факторы, могущие этому способствовать. Обозначены психологический и социально-этический аспекты анализа проблемы. Рассмотрена цена избыточного экономизма в либеральной концепции развития страны в постсоветский период, а также вред и опасность технократического подхода к социально-политическим вопросам.

Ключевые слова: особый путь, авторитаризм, модернизация, «сакральность» власти, либерализм.

The text is devoted to multy-aspect critics of the «special path» concept. The latter is, by the authors' opinion, the ideological legitimacion of authoritarian rule. The approach from position of historical fatalism and simple evolutionism, as soon as supposed «sacrality» of authority in mass consciousness, are considered as wrong, inadequate. Also several crucial crossroads in the Russian history are described. Unfortunately, the country was not able, by particular reasons, to change on these crossoroads its 'track» of development what could create prerequisites for genuine modernisation. However, no any civilization prohibition for such transfer in near future. A few factors for this scenario are mentioned. Also psychological and ethical aspects of analysis are marked. The author pays special attention to negative influence of redundant economism in frames of liberal concept of the country development in post-Soviet perion and danger of technocratic approach to socio-political issues

Keywords: «special path», authoritarianism, modernization, «sacrality» of authority, liberalism.

Максимально лапидарно суть концепции «особого пути» можно передать тремя чеканными фразами трех великих поэтов: Киплинга — «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут»; Пушкина — «Правительство — единственный европеец в России»; и Данте — «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Каждая из них отражала некие реалии и смыслы своего времени и места. Но с их проецированием на сегодняшний день я не могу согласиться. Ни эмоционально, ни, что важнее, научно. Попытка объяснения причин этого — одна из целей настоящего текста.

Вообще проблематика «особого пути» — одна из «вечнозеленых» тем как для социальных наук, так и для политических дискуссий и деклараций. В науке и публицистике она присутствует, как минимум, с начала XIX века. Причем с самого начала ей был присущ высокий эмоциональный накал. Иногда, как, например, у первого поколения наших западников и славянофилов, полемика не выходила за рамки доброжелательного взаимного уважения. Но постепенно она, как правило, скатывалась в агрессивные формы взаимных обличений, как, продолжая тот же пример, произошло с панславистами и их радикализировавшимися либеральными оппонентами уже к середине того века. Но в любом случае эмоциональность не способствовала аналитическому уровню обмена аргументами. О спорах же политических и говорить нечего: они по определению имеют главной целью не выяснение истины и часто даже не приближение к ней, а убеждение в своей правоте сторонников, привлечение колеблющихся и индифферентных и стигматизацию противников.

Самообман «внеценностного» подхода

Впрочем, я не считаю полную идейную индифферентность, идеологическую стерильность таким уж необходимым атрибутом «научности», объективности. Более того, полагаю, что так называемый внеценностный подход (value free approach) — в лучшем случае добросовестный самообман исследователя. Разумеется, убеждения, политические ориентации, тем более чувства не должны влиять на объективность научного анализа, особенно на его технологическую часть. Но полностью абстрагироваться от своих взглядов невозможно не только в политике, но и в науке, да и вообще в самых разных областях человеческой дея-

тельности. Этот фактор нельзя элиминировать. Его следует учитывать как данность, неизбежность, не закрывая на него глаза. Именно так, по-моему, можно блокировать возможный вред от человеческой субъективности, предвзятости. Поэтому позиция исследователя, заявляющего о своей полной эмоциональной отстраненности от социального или гуманитарного объекта изучения, о своем холодном (или даже «циничном») безразличии к результатам не вызывает у меня ни солидарности, ни даже особого доверия, а кажется скорее неким интеллектуальным лукавством. Разумеется, врач не должен плакать над пациентом, особенно во время операции. Но другая крайность (а я как-то слышал от одного врача, подвизающегося в медицинской науке, что больной его интересует, главным образом, с точки зрения эксперимента), по-моему, гораздо хуже. А по нынешним временам в тот же ряд можно поставить и «интерес» к больному лишь как к источнику получения прибыли, к «дойной корове» медиков. Полагаю, особые комментарии не нужны.

Возвращаясь же к собственно науке, замечу, что даже веберевская концепция аполитичной бюрократии в итоге оказалась не вполне адекватной и была скорректирована. Просто на неизбежность «человеческого» в любой интеллектуальной деятельности надо не закрывать глаза, а принимать во внимание, учитывать и при необходимости воздействовать, например, на стадии отбора людей для решения той или иной задачи. Лично я не скрываю своих либеральных убеждений, но полагаю, что это не наносит ущерба моим исследовательским «штудиям», а в каких-то случаях даже может повысить их ценность в общеконцептуальном плане.

Уточнение понятий

Итак, проблема особого пути, как и еще более общая проблема модернизации, имеет множество аспектов. Затрону лишь некоторые. Но начну с некоторых понятийных уточнений, что является необходимым для научного да и вообще аналитического текста.

Прежде всего замечу, что особый путь, предполагающий несменяемость исторической «колеи», основан на сугубо эволюционистском когнитивном подходе. Между тем, как известно еще из основ классической диалектики, динамике сложных систем, одной из которых, несомненно, является общество, присуще не только количественное развитие, но и качественные скачки. И смена «колеи», переход на другую траекторию развития — как раз один из вариантов такого скачка.

Модернизация как понятие имеет множество определений. Не вдаваясь в данный случай в понятийные дискуссии, просто отграничу используемое в данном тексте ее понимание от других. Ведь определить в определенном смысле значит определить, т. е. отделить от всего прочего. Поэтому для меня здесь модернизация это не просто реформы, даже самые широкие, и не их совокупность, а другое — изменение *инварианта* системы отношений в паре «человек-власть», «человек-общество». Объем текста не позволяет углубляться в эту тему, которую я в свое время подробно рассматривал в дихотомии *системцентризм-персоноцентризм* [Оболонский 1994].

Особый путь же вообще не обязательно предполагает модернизацию. Главное в нем — подчеркивание своей исключительности, непохожести на других, в пределе даже уникальности. При этом она не обязательно носит положительный, оптимистический характер, а может даже напротив — подчеркивать исключительность страданий, выпавших на долю народа бед и несчастий. В религиозном сознании это связывают с «богоизбранностью», со страданиями за веру, а психоаналитики называют опытом «разделенной травмы». Чаще всего это связано с памятью о тяжелом военном поражении, о потере независимости. Причем ни реальная фактология, ни даже давность исторического события особого значения не имеют. Это может быть как «веймарский синдром», овладевший немцами после совсем свежего тогда проигрыша Германией Первой мировой войны, и внезапно воскресшее и активизировавшееся почти до степени паранойи воспоминание сербов о поражении в Косовской битве почти 600 лет назад. Важен не столько факт, сколько символ.

Вообще сама по себе идеологема «особого пути» — вещь не оригинальная. В каком-то смысле каждая страна идет по своему особому пути. А предметом анализа в культурологическом смысле являются различные цивилизационные инварианты, лежащие в основе выбора пути. И для меня, повторюсь, модернизация — не просто совокупность реформ, а изменение основ системы отношений. А «особый путь» в одних случаях имеет модернизационный смысл, как в США, в других — подчеркнуто традиционалистский, как, например, в Японии до эпохи Мэйдзи. Главное, что их *объединяет* — *претензия на ту или иную форму национальной исключительности*. Так, в странах Латинской Америки одно время пользовались популярностью клише, порой звучащие для нашего уха забавно и узнаваемо: «аргентинская державность», «особая чилийская духовность», «уругвайская всечеловечность», «перуанский народ-богоносец». Разумеется, каждое в «своей» стране. Пожалуй, впору оговориться, что возможные аллюзии автор оставляет на усмотрение читателей!

Но, превращаясь в инструмент политиканской эксплуатации и манипуляции, эта «забавность» может привести к катастрофе. Известно, куда завел Германию Zonderweg¹. Трагическая история его выдвижения на политическую авансцену в веймарской Германии и социально-психологические типы личности, ставшие его мотором, в художественной литературе описаны Л. Фейхтвангером, Т. Манном, Б. Брехтом, а в научной аналитике — Т. Адорно, Э. Фроммом, Х. Арндт. А из совсем свежих книг весьма рекомендую эту [Хаффнер 2016].

Историческая специфика российской псевдомодернизации

В России исторически преобладал симбиоз традиционалистских геополитических целей и современных средств их достижения. Вообще милитаризм, казарменный стиль российской модернизации — имманентный атрибут нашего «особого пути» — от Петра до Сталина [Клямкин 2011].

Яркий пример — петровская модернизация начала XVIII века. Я даже предпочитаю называть ее псевдомодернизацией, ибо ее прагматичной целью было не изменение, а укрепление все того же деспотического *ancien régime* путем придания ему большей функциональной эффективности за счет использования готовых западноевропейских средств при сохранении, словами В. О. Ключевского, традиционного московского «тяжелого, угнетательного отношения к людям» [Ключевский 1958, т. 4, с. 22]. Петр обратился к Западу отнюдь не за цивилизацией, а за ее плодами, «искал на Западе техники, а не цивилизации» [Там же].

Идея — взять инструменты, прежде всего — военного характера, но отнюдь не дух, их породивший — поощрение свободы и инициативы. Весьма знаменательны записанные за ним Остерманом слова: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом» [Там же, с. 372–373].

Именно такую эволюцию, причем в очень жесткой и яркой форме, проделала Япония в период, известный под именем «революции Мэйдзи» и жизни следующего поколения. Да, Япония меньше чем за 100 лет, с 60-х годов XIX до середины XX веков, вообще ни много

¹ Это понятие родилось в Германии в период зарождения национального романтизма, было очень популярно в первой половине XX века, но ныне полностью вышло из «моды» вместе с осознанием того, куда этот особый путь их завел.

ни мало 4 раза (!) сменила «колею» или «матрицу» развития — от традиционного изоляционизма и местечковой децентрализованности — к низкопоклонству перед Западом и заимствованию всего иностранного с быстрой централизацией власти — к агрессии во внешней политике, быстрой экономической модернизации и централизации — к послевоенному устойчивому развитию и подчеркнутому миролюбию к внешнему миру. И никакой цивилизационный «код» этому не помешал. Впрочем, поскольку ушедшие века и другие страны — не главная наша тема, обратимся к последнему российскому столетию.

«Особый путь» как идеологическая легитимация авторитаризма

В России XX и начала XXI веков идеологема «особого пути» и связанная с ней мифология — одна из главных основ политической легитимации авторитарного режима. Сама эта идея имеет достаточно обширное фактологическое подкрепление, позволяющее построить на его основе серьезные, хотя, на мой взгляд, односторонние, аналитические конструкции. Я сам в свое время отдал ей дань, посвятив две книги комплексу связанных с этим проблем и «судьбоносным» перекресткам российской жизни за четыре века. Но в данном случае хочу сосредоточиться на другом — на политико-идеологическом смысле и последствиях концепции особого пути.

Иногда идеологема особого пути носит более оборонительно-изоляционистский характер, как в брежневские времена, иногда, как в последнее десятилетие — агрессивный. Причем агрессия может облекаться и в мессианскую форму, как, например, идея мировой революции, деятельность третьего Интернационала, «возвращение» Крыма. А при политическом провале она легко переходит в изоляционизм.

При этом для ее конструирования реальные исторические факты особого значения не имеют. Они тасуются, одни замалчиваются, другие выпячиваются, оживляются, заново интерпретируются, а то и конструируются пропагандистски удобным в настоящий момент образом. Задача конструкторов-политтехнологов и пропагандистов — в первую очередь ангажированных СМИ, совсем в другом. Прежде всего, в легитимации status quo и стигматизации любых попыток его изменить. «В российском случае это централизованная власть, при которой роль персон у «рычагов» правления важнее законов. Идея «особой цивилизации», в которой роль властвующих лиц неизмеримо большая, чем принято в демократических государствах. Эта же идеология призвана

решать задачи политической терапии... Внедрение в массовое сознание представлений об «особой цивилизации» и ее «особом пути» должно выполнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению в Россию «чуждых» ей либеральных и демократических веяний» [Яковенко 2011, с. 130].

В XXI в. это в первую очередь связано с переменами во внутренней политике, когда либеральные реформы 90-х сменились контрреформами путинских лет. Внешняя же политика в ее геополитическом воплощении стала своего рода переключателем для массового сознания. За последнее десятилетие концепт «особого пути» занял непомерно большое место как в массовом, так и в «просвещенном» сознании наших соотечественников. Одни — условно назовем их «патриотами-государственниками» — его лелеют и пестуют. Другие — опять же условно «западники» — относятся к нему как к несчастью или, по меньшей мере, как к плохому климату, в котором им, их предкам и потомкам выпало жить и умереть. Но *и те, и другие трактуют его как нечто фатальное, как якобы нашу непреодолимую судьбу* в духе греческих трагедий.

Живучесть мифа «особости» часто объясняют его якобы укорененностью в глубинах национального сознания. *Я с этим не согласен.* Во всяком случае, в его нынешней редакции он является «*верхушечной*» идеологической конструкцией, созданной и используемой для текущих весьма практических, даже приземленных нужд людьми, которых я бы назвал *полупросвещенными «патриотами»*. Ведь концепция «суверенной демократии» имеет отнюдь не народное происхождение, а зародилась в конкретных мозгах и с вполне конкретными целями. То же относится и к идеологемам «ресурсного государства», даже «сословного государства» и административного ресурса, рассматриваемыми как якобы неотъемлемый элемент российской специфики. Нормой объявлены и клиентельные отношения между держателями адмресурса и потребителями государственных услуг. Все это ввел в оборот и легитимировал как нашу якобы естественную и неизбывную специфику отнюдь не народ, а прикормленные «ученые приказчики», вся «идеология» которых состоит в том, чтобы удачно склеить, реанимировать еще существующие, но отнюдь не доминирующие патриархальные стереотипы массового сознания, и исходящий «сверху» заказ. *Мифотворческое «оправдание» настоящего через ссылки на прошлое, с моей точки зрения, означает отсутствие иных аргументов.* Взгляд на историю как на настоящее, опрокинутое в прошлое, в исторической науке обычно называют «презентизмом». Думается, концепт «особого пути» подходит под это определение.

Впрочем, с теми «профессионалами-особистами», которые впрямую кормятся от мифа «особости», все более или менее понятно. Деятельность их представляет интерес не в научном, а совсем в иных аспектах, прежде всего — в плане социальной (а может, и не только) ответственности таких интеллектуалов-мифологизаторов. Они не заслуживают научного текста и анализа.

Гораздо больше требует осмысления другое — по меньшей мере, двойной, на мой взгляд, негативный эффект мифа особости. Во-первых, он, как любая *леgitимация фатальности*, оказывает на людей упадническое, деморализующее, обезоруживающее воздействие, подавляя в них потенциал инициативности, желания добиваться перемен к лучшему. Во-вторых, он служит как бы лукавым самооправданием по модели «ничего нельзя сделать, все предопределено», а на самом деле *формой пассивной адаптации*, способом «выживания» в якобы раз и навсегда заданных и непреодолимых условиях.

В основе концепции особой российской цивилизации, полагаю, лежат цели, далекие от декларируемой «подлинной духовности», а весьма приземленные практические интересы определенной группы лиц. Убедительно, по-моему, показал это Э. Паин в книге «Распутица». Противопоставив объективное научное знание мифологии культурной предопределенности, он приходит к выводу, что концепция «особой цивилизации», обуславливающая и «особый путь», и «особую демократию» России — весьма распространенный в мировой практике способ оправдания неизбежности авторитарных режимов, что это есть не что иное как идеологически ангажированная геополитическая спекуляция в интересах определенных групп, а ее навязывание имеет простую и прозаичную цель — исторически «освятить» сложившийся в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и патернализмом [Паин 2009]. А уж плоды западной цивилизации не просто подходят, а всюю используются именно самыми громкими и скандальными антизападниками. Вспомним, где приобретают собственность, отдыхают, лечатся, учат детей члены нашей псевдоэлиты.

На мой взгляд, приписывание массовому сознанию россиян некой тотальной, непреодолимой подчиненности химере «особого пути» выглядит как своего рода «расизм наоборот» и равносильно *тезису о нашей национальной неполноценности* едва ли не на уровне неких генетических дефектов. Как минимум в нем есть и избирательная примитивизация реальности, и что-то вроде «стокгольмского синдрома». Ведь даже самое критическое видение всех трагедий и несуразностей нашей истории и современности не дает оснований для подобного

заклучения. Да и отнюдь не только нашей. Если вспомнить еще раз Японию, то она менее чем за столетие — с середины XIX до середины XX веков — четырежды (!) меняла свою «колею». Так что и здесь мы отнюдь не уникальны.

Миф «сакральности» власти

Некоторые из либеральных аналитиков российского «кода» отрицают существование в нем наличия сознания так называемого «частного» человека, якобы замещенного стереотипом «сакральности» власти. На мой взгляд, это представление не выдерживает эмпирической верификации. Более адекватно, думается, преобладание в нем хитро опасливого, «уклончиво вороватого» отношения к ней. Сакральность предполагает поклонение, желание как-то хоть «прикоснуться», порой далеко выходящее за рамки рационального, прагматичного поведения. Пример — любые виды паломничеств к «святым местам», часто и почти обычно связанные с материальными лишениями, трудностями, а то и опасностями для жизни. Как в давние времена — к гробу Господню, а ныне — в Мекку. И уж во всяком случае от сакрального объекта не стремятся убежать.

Ничего похожего в традиционном российском отношении к государству мы не видим. Скорее к нему относились как к враждебной, но непреодолимой силе, с которой приходится жить и к ней приспособливаться. Но отнюдь на нее не «молиться», а если и молиться, то формально, а еще лучше — показным, демонстративным, заметным для «начальства» образом, чтоб какие-нибудь бонусы от власти за это получить, либо чтоб, как минимум, от притеснений уберечься. Именно такой этический модус описал Лермонтов: «К добру и злу постыдно равнодушны... и перед властью презренные рабы».

Более того, люди, по возможности, напротив, стремились убежать от государства, благо было куда. В разное время такой «землей обетованной» становились южнорусские степи, запорожская вольница, северный Кавказ, Сибирь, в раскольничьи скиты...; дворяне либо уходили во внутреннюю эмиграцию, коротая век в имениях, либо во внешнюю — в Европу. Так что инстинктом свободы мы отнюдь не были обделены. Другое дело, что реализовывался он не внутри, а вовне, через бегство от государственной длани. А государство, насколько могло, «догоняло» беженцев и в разных формах вновь привязывало к себе обязательствами, повинностями, накладывало на них свою тяжелую руку.

Эта перманентно воспроизводившаяся в разных формах ситуация представляется одной из базовых причин социальной динамики страны. Ибо люди, не желавшие мириться с участью покорных холопов государства, как бы выдавливались из нормальной жизни, не участвовали в развитии общества, а убегали из него. *Наиболее активный человеческий капитал самоотчуждался от государства и страны. Государству не верили.* При этом парадоксально, что даже в тех (не очень частых) случаях, когда государственные инициативы обещали людям пользу, благо, как минимум, пассивное сопротивление новшествам бывало особенно сильным. Так было и с Уложением Екатерины II, и с реформами Александра II, и в некоторых других исторических случаях и эпизодах. Срабатывал стереотип: «Старое зло привычней и потому надежней обещаемого нового добра, которому к тому же и не верится, ибо от начальственных забот ничего хорошего не выходит».

И, к несчастью, в этом было и есть много правды. Чаще всего, чем внешне сильнее и могущественней становилось наше государство, тем хуже становилось жившим в нем людям. В. О. Ключевский описал эту ситуацию максимально коротко, в четырех словах: *«Государство пухло, народ хирел»*. Увы, установка эта проявила себя и в 90-е годы, когда российская власть впервые за многие десятилетия, пусть непоследовательно и неумело, но действительно пыталась перевести страну на рельсы принципиально иного пути развития.

Миф фатальности исторической «колеи»

Идея о якобы невозможности выбраться из однажды выбранной исторической «колеи», об обреченности вечно следовать предназначенному исторической судьбой «path dependence», как мне кажется, минимум небезупречна и в научно-методологическом отношении. Она основана на сугубо эволюционистском взгляде на историю, исключая качественные скачки, прорывы за грань эволюционной постепенности. Между тем, как известно из теории познания, подобные скачки — неотъемлемая часть процессов динамики сложных систем всех уровней — от молекулярного до мега, космического. Вспомним хотя бы один из гегелевских законов диалектики. Общественные же системы безусловно относятся к классу систем очень сложных. И непонятно, почему многие сторонники концепта «особого пути» исключают из рассмотрения данное обстоятельство, оставаясь, повторяю, в плену эволюционистского подхода к истории.

Я, как и другие «исторические оптимисты», считаю, что у России нет «цивилизационного запрета» на переход от авторитарного к правовому режиму, тем более, что в нашем обществе, наряду с подданническим менталитетом, с давних пор существовала и существует альтернативная, персоноцентристская контркультура, а «вся русская классическая литература... доказательство национальных российских корней концепции гражданского общества... ее защитница и нравственный гарант» [Паин 2009, с. 201]. Да и не только литература — в России, вопреки почти непрерывному прессу автократического государства и реакционных черт массового сознания, на которых строят свои пессимистические концепции сторонники непреодолимости колеи «особого пути», никогда, даже в самые тяжелые времена, вопреки гонениям и репрессиям государства и иных реакционеров, не умирала, а находила все новые ниши для самовыражения и развития альтернативная персоноцентричная *контркультура*. Причем происходило это в самых разных формах, прежде всего — в независимой от государства общественной деятельности.

Контркультура и перекрестки российской истории

В российской истории было несколько перекрестков, «развилок», когда был вероятен, но по разным причинам не произошел переход общества на иную «колею» развития. Поскольку я посвятил подробно описанию этих перекрестков три книги, ограничусь здесь конспективным напоминанием их логики и последовательности. Разумеется, «перекресток» — не какое-то короткое событие, он может занять довольно длительное время. В всяком случае, в прошлом было именно так. Правда, теперь времена ускорились. И радикально. То, что раньше занимало века, человечество проскакивает за пару десятилетий, а десятилетние эпохи сжимаются до лет, а порой — и до месяцев.

Первая такая развилка, случившаяся еще «рано, до звезды», это — Смутное время. Вопреки имперской традиции нашей историографии сам я в целом положительно оцениваю и роль Лжедмитрия I, и польского культурного влияния на Россию в XVII веке (разумеется, на военную экспансию польского королевства это не распространяется). Ведь тогда в России польский язык был тем, чем стал в веке XVIII язык французский — языком культурного общения. Немногочисленные частные московские библиотеки состояли тогда в основном из польских книг. Поэтому то, что мы провозгласили 4 ноября праздником освобождения, неверно и фактографически, и просто нелепо, ибо Гри-

горий Отрепьев, независимо от его реального происхождения (только хорошо, если он не был отягощен наследственностью Ивана Грозного), за тот год, что он пробыл в Москве на царствовании, начал процесс модернизации патриархальных и антиличностных стереотипов отношений власти и людей. Он и популярность успел завоевать, и ряд изменений в систему управления начал вносить. А заговор против него был составлен и осуществлен придворной высшей бюрократией, не желавшей перемен. Правда, народ в то время, включая и узкий образованный класс, не был готов к серьезным переменам и предпочел вернуться к, говоря словами Ключевского, «безумному молчанию мира».

Вторая, более трагичная развилка — царствование Петра I. Предпетровское время накапливало потенциал для реальных изменений, и большое несчастье страны, что унаследовать его и пустить в действие довелось именно этому человеку. На мой взгляд, Петр — одна из самых зловещих персон российской истории. И дело даже не в его патологической даже по меркам тех времен жестокости и способности выстилать дорогу к своим геополитическим целям несчетными мириадами человеческих жизней. Его историческая вина перед страной и ее будущим в том, что он подмял движение к подлинным модернизационным культурным переменам лишь переменами технологическими, по формам, так сказать, псевдоевропеизацией, продолжая и эксплуатируя глубинные архаичные стереотипы национального сознания. Он использовал европейские достижения, прежде всего, в военно-технической сфере, не дополняя их изменениями политико-культурными, а воспроизводя все тот же деспотизм, лишь сделав его функционально, технологически более эффективным. И цена его деяний была соответствующей — уже за первую половину его царствования численность населения страны сократилась на 20 процентов.

Если опустить отчаянную интригу «верховников» в 1730 году, попытавшихся связать «кондициями» всходящую на престол петрову племянницу Анну Иоанновну, то следующий судьбоносный перекресток пришелся на ранний период царствования Екатерины II, собственноручно скомпилировавшей основанный на трудах французских просветителей «Наказ» и созвавшей совещание представителей всех сословий для легитимации перемен. Реакция послепетровского поколения была неожиданной. Как писал В. О. Ключевский, «никогда в России не было пролито так много радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины» [Ключевский 1958, т. 5, с. 355]. Собравшиеся депутаты плакали от радости, что жестокое прошлое больше не вернется, от того, что власть впервые заговори-

ла с людьми, испокон веку пребывавшими в холопском унижении и несправии, как со свободным, ответственным за устройство своей жизни, народом. Но, утерев слезы умиления, они холодно отвергли все вольтерьянские идеи Екатерины. Представители всех сословий объединились в рабовладельческом вожделии — в желании иметь крепостных. Больше того, право владеть крепостными душами пожелало приобрести и духовное сословие, монастырское и приходское священство! И Екатерина, по ее собственной реплике «поняв, с кем дело имеем», отступилась от либеральных замыслов, предпочтя роль либеральной рабовладелицы. А там и пугачевщина случилась.

Две следующие развилки, когда у страны был реальный шанс перейти на другую историческую колею, пришлось на XIX век. Одной из их политических кульминаций стал холодный декабрьский день 1825 года, когда за созерцание драмы почти рыцарской красоты, разыгравшейся на подмостках Сенатской площади, страна заплатила крушением на несколько десятилетий шанса на изменение своей исторической судьбы, ибо ранний декабризм создавал серьезные предпосылки для перемен. Разумеется, морально и эмоционально я очень и очень уважаю декабристов. Но, как говорил Пушкин, «двести поручиков разыграли в карты империю». И политические последствия их выступления и бесславного поражения были ужасны.

В стране возродился жесткий авторитаризм петровского образца, хотя все же и при Николае I шло накопление потенциала для последующего «скачка». Так что «перегоны» между перекрестками тоже бывают конструктивными. В стране появилась, используя выражение Дидро, «новая порода людей», и весь век прошел под знаком ее укрепления. И, конечно, весьма позитивную роль сыграла «оплеуха» поражения в Крымской войне. Ведь во многом из ее последствий вышли великие реформы Александра II. Кстати, немало сделала в этом плане и государственная бюрократия — наш извечный «козел отпущения». Инициатива преобразований шла сверху, и либеральная бюрократия сыграла в них не последнюю роль. И царствование Александра со всеми реформами, контрреформами и прочими флуктуациями были периодом реальной возможности для перехода на иную «колею». Все рухнуло в сырой первоапрельский день 1881 года.

Две последние развилки пришлось: одна — на начало, другая — на конец XX века. Воздержусь в данном тесте от обсуждения комплекса связанных с ними вопросов. Эта в высшей степени злободневная и дискуссионная проблематика сейчас постоянно обсуждается. А нас обращение к ней увело было слишком надолго в сторону. Замечу лишь, что мы опять, в который уже раз, упустили свои шансы. Тем не менее,

насчитывающий долгую-долгую историю феномен противостояния двух культур — факт для непредвзятого аналитика очевидный. Да, России не удалось до сих пор поменять вектор своего исторического движения в пользу более человеческой и социально эффективной системы отношений. Но альтернатива извечному государственному «людодержавству» в ней никогда не умирала, а теперь тем более не умрет. Вопрос лишь во времени. Поскольку я к футурологии во всех ее изводах отношусь, по меньшей мере, сдержанно, то предсказывать сроков не берусь а ограничусь цитатой одного из лозунгов декабрьских протестов 2011г.: «История поставила на нас и положила на них».

И это представляется одним из важных оснований для исторического оптимизма относительно нашего будущего. Причем совершенно не обязательно — отдаленного. Историческое время сейчас беспрецедентно сжалось: века — до десятилетий, десятилетия — до немногих лет, а порой и до месяцев. Даже ближайшее будущее непредсказуемо, и сценарии его развития зависят от множества факторов. Включая интеллектуальную волю образованной части общества и сознание ею своих особых, повышенных моральных обязательств.

На тему о роли интеллигенции в российской истории и жизни двух последних веков пролито много чернил. В том числе — и мной. Не буду в данном случае ее поднимать. Лишь замечу, что даже в советские времена, в условиях тогдашнего «ледникового периода» интеллигенция, пусть со всеми издержками и отклонениями, но выполнила социальную программу-минимум — не допустить деградацию общества до уровня необратимого духовного оскудения и одичания. Сейчас, в иных, хотя чем-то и похожих обстоятельствах, когда на нас давят не только и не столько опасности, сколько соблазны, перед интеллигенцией тоже стоит вызов, с которым она пока справляется не лучшим образом, находя, как обычно, весьма изобретательные самооправдания и объяснения. И одно из них — придуманный фатализм, якобы наша историческая «обреченность», во всяком случае — в обозримом будущем. На мой взгляд, это перекликается с фрейдистским «инстинктом смерти» — Танатосом.

А наш действительно особый путь как раз состоит в необходимости вырваться из порочного круга, воспроизводящего все те же архаичные модели взаимодействия народа и властей предержавных. Они много раз доказали свою историческую бесперспективность. Из-за них Россия трагически проиграла XX век. Но сегодня они опять навязываются нам, теперь в оболочке якобы консерватизма, а на самом деле — ретроградства, имеющего мало общего с консерватизмом подлинным. В нынешний же век они просто разрушительны, грозя стране и ее гражданам сначала коллапсом, а затем и окончательной катастрофой.

До сих пор мы как социум были не слишком удачливы в выборе исторических путей. Как все сложится на этот раз? Не берусь давать оценку вероятности реализации разных сценариев. Но важно в полной мере осознать собственную ответственность за судьбу страны. И история, и свежайший пример соседней (совсем недавно еще братской) страны — Украины — показывают, что в критические периоды не только позиция и желания так называемой политической и прочей «элиты», а воля и поведение обычных людей, рядовых граждан, в подлинном, а не в казенно-шовинистском смысле поднявшихся с колен и обретших личностное сознание и достоинство, может стать решающим фактором, который определит дальнейшую траекторию развития. Если же мы по-прежнему будем упиваться нашей «уникальностью» или сокрушаться из-за нее (в данном случае модус несуществен), то перспективы наши печальны. Мы уже много раз упускали свой шанс и исчерпали лимит на ошибки.

Андрон Кончаловский, «среднее звено» клана талантливых людей, чьи вполне реальные художественные таланты тем не менее уступают их просто фантастическому таланту всепогодной политической приспособляемости и сервильности, придал идее якобы неизменности «культурного кода» нации чеканную формулировку: «Культура — это судьба». Звучит как дантовское «оставь надежду, всяк сюда входящий», во всяком случае для меня. Но я не разделяю его исторического фатализма и культурного детерминизма. Причем не только эмоционально, не просто мировоззренчески, но, что важнее, и аналитически. Мне гораздо ближе позиция, которую А. Заостровцев выразил словами: «История — это не судьба и что порочный круг может быть разорван» [Заостровцев 2014б, с. 40].

Более того, многое порой зависит от исторических случайностей и субъективных факторов. Правда, как подчеркивают Асемоглу и Робинсон, возможно не только поступательное, но и попятное движение. Да нам и самим несложно вспомнить примеры торжества реакции как в европейской, так и в собственной истории. Конечно, такие отступления происходят не навечно. Но жизнь конкретных поколений или минимум ее часть исковеркать очень даже могут. Будущее, даже ближайшее, всегда альтернативно. И тут многое зависит от нас самих. Еще в XVII веке немецкий поэт Пауль Флеминг писал: «Подчас о времени мы рассуждаем с вами. Но время это — мы! Никто иной. Мы сами». А для века нашего это истинно вдвойне.

А я почему-то все же верю в исторический прогресс. Хотя он не приходит автоматически. За него надо бороться, противостоять тенденции очередного заталкивания страны все в ту же «колею», пусть

и во внешне отчасти модернизированных формах. Она принципиально неспособна принести людям благополучие и свободу. Но СВОБОДА НЕ БЫВАЕТ БЕСПЛАТНОЙ. За нее, как показывает исторический опыт многих стран, надо быть готовым и нечто отдать, и чем-то рискнуть. Противостояние злу имеет множество форм. Общественный протест — одна из них. Но имеет множество способов выражения [Оболонский 2017].

Еще необходимо хотя бы кратко обозначить психологические и этические аспекты проблематики. Важнейшую роль «духа предков» подчеркивали мыслители самых разных школ и направлений. Иногда это было, может быть, единственной областью согласия теорий, во всем остальном полностью противоположных. К. Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера...» пишет: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [Маркс, Энгельс 1957]. А с противоположной стороны мировоззренческих «баррикад» ему вторит один из идейных отцов расовой теории Густав Лебон: судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие, влияние предков преобладает над влиянием современной среды [Лебон 1896]. Не правда ли, подобная близость суждений у в остальном непримиримых антагонистов впечатляет?

Но все это было высказано еще в позапрошлом веке. С тех пор многое изменилось. Ход истории ускорился в разы. И ситуация последних десятилетий и, особенно, первых лет нового тысячелетия, думаю, отличается от предыдущих. Никогда еще в человеческой истории практически одновременно не происходило такого количества кардинальных изменений в самых разных сферах жизни. Причем перемены, затрагивающие самые основы традиционного образа жизни большей части человечества, самым невероятным образом переплетаются с ранее устоявшимися, привычными моделями и стилями поведения и мышления. Тот «шок от столкновения с будущим», о котором почти полвека назад предупреждали американский социолог Дэниэл Белл и Римский клуб, наступил. Будущее буквально вламывается в нашу нынешнюю жизнь и настоятельно требует решений в свою пользу.

Конечно, на нас и теперь оказывает влияние и прошлое, и будущее. В какой-то мере мы остаемся людьми прошлого, которые живут в тени, отбрасываемой будущим. И сегодняшние масштабы и темпы изменений только усиливают то трагическое ощущение разрыва, которое испытывает современный человек, находящийся в зоне притяжения одновременно прошлого и будущего.

Однако это отнюдь не предполагает фатализма, какой-либо пленности прошлым. Во-первых, прошлое неоднозначно и многослой-

но, в нем есть ближний, средний и дальний планы. Во-вторых, национальный характер не есть нечто, заданное от века и раз и навсегда: в нем (как и вообще в культуре) переплетены элементы традиции и новации, преемственности и модернизации. В-третьих, понятно, что национальная (как, впрочем, и групповая, и классовая) психология и этика, в известной мере понятия условные, научные абстракции. Мы — не рабы своего прошлого. Но творя свое настоящее и завтрашний день, мы должны ясно сознавать, какие именно колеи проложены нашими предками, где и почему они падали и спотыкались, какую цену им и последующим поколениям приходилось платить за их ошибки и заблуждения, и откуда и куда нам предстоит выбираться.

Психологический и этический аспекты

А в теоретическом *психоанализе* это связано с концептами *коллективной идентичности*, *исторической травмы*, *комплекса неполноценности* в его оборонительной и агрессивной формах. [Volkan 1988]. Для либералов-«пессимистов» концепция «неудачного народа» с якобы неизбывной рабской ментальностью и потому неспособного к перемене «колеи» своего исторического движения — вариант «избранной травмы» (*chosen trauma*). Навязчивая, сознательно нагнетаемая официальными СМИ и продолжающаяся уже три года антиукраинская истерия, которая выходит за все рамки не только приличий (пожалуй, последнее слово для описания деятельности компании соловьевых-киселевых-кургинянов и массовки их подпевал вообще неуместно), но и просто здравого смысла, даже рационального политического расчета, вполне вписывается в концепцию Волкана о потребности иметь врагов. Идея же национального комплекса неполноценности имеет фрейдистские корни.

А проблема *этики публичной сферы* и нависшей над нашим обществом моральной катастрофы, связанной сначала с недооценкой ее значения в 90-е годы, а затем — с ее технократическим игнорированием в годы последующие, вообще представляется ключевой. Однако ее обсуждение — тема самостоятельная. Скажу лишь, что *без нее даже самые изоциренные экономические конструкторы, никакие институциональные усовершенствования не приведут нас к нормальному, полноценному обществу. Критически важно, в чьи руки эти институты и конструкторы попадут.* Не случайно, что едва ли не основной категорией в размышлениях ведущих экономистов всего мира стала *проблема доверия*. Что, как известно, отнюдь не принадлежит

к экономической классике, а связано с человеческими качествами, о роли которых заговорил еще в начале 60-х Римский клуб [Печчеи 1980]. С тех пор это стало еще более, критически актуальным, о чем свидетельствуют работы экономистов последнего десятилетия, обзор которых содержится, в частности, в обзорной работе А. Заостровцева «О развитии и отсталости» [Заостровцев 2014б].

Цена избыточного экономизма

Вообще избыточный экономизм и технологизм, присущие постсоветскому периоду нашей жизни, сыграли, с моей точки зрения, неоднозначную роль. В XIX-XX столетиях «проклятие одномерности» наиболее ярко и агрессивно проявилось в форме так называемого «экономического монизма», основанного на убеждении в безусловном примате хозяйственной деятельности над всеми прочими сферами жизни людей. Марксистская версия этого монизма, на которой воспитывались все советские люди, излагала данную дилемму в терминах приоритета производительных сил над производственными отношениями, базиса над надстройкой. Сейчас в моде другие версии экономического монизма, который, впрочем, точнее называть редукционизмом. Как известно, есть разные его виды — политический, религиозный, научно-технократический, этнический, психологический, даже экологический... Но за каждым из них стоит все то же плоскостное и, как правило, довольно высокомерное сознание «жрецов», служащих, по их мнению, в храме «главного» божества.

Парадоксально, но наша страна, казалось бы, до дна испившая горькую чашу экономической одномерности, не избавилась от нее и в постсоветские времена. Наши пришедшие в правительство в начале 90-х, в момент не просто коллапса, а просто кануна полного экономического краха страны либералы, были, как правило, высококлассными экономистами. И, что важно лишний раз подчеркнуть в свете модного и циничного шельмования «лихих 90-х», людьми лично честными, порядочными. Именно они спасли страну от катастрофы, что бы сейчас ни вещала политиканствующая челядь разных видов. Но при этом они, хотя порой и выходили за рамки экономических схем (например, заговаривали о свободе слова, о правах человека), но делали это как-то вяло и неубедительно. Чувствовалось, что свобода духа, в отличие от свободы экономической — не их сфера, что в глубине души они все-таки не верят, что «не хлебом единым жив человек». Боже упаси упрекать их в этом. Просто не были они гуманитариями

по своему профессиональному опыту и взгляду на мир. И это, с моей точки зрения, одна из важных причин возобладавшего неадекватно негативного отношения к либеральной повестке и идеологии в массовом сознании россиян, позволившем осуществить последующий откат и шельмование 90-х со всеми негативными последствиями этого.

Между тем подобный экономический перекокс совсем не обязателен для либерализма, возникшего, как понятно даже из этимологии самого слова, из стремления людей к свободе — ко всякой свободе, а не только экономической! Он скорее отражает извечный человеческий соблазн найти универсальный «философский камень», или, другими словами, одну-единственную первопричину всего, доминанту, определяющую ход всех прочих происходящих в обществе процессов. Увы, тяга к одномерным объяснительным схемам присуща людям с древнейших времен. В древности и Средние века причины событий сводили к воле и деяниям царей, героев, пророков, либо к Божественному Промыслу. Уже в Новое время Гегель объяснял историю через развитие Абсолютного Духа. И, как ни странно, человеческая мысль и поныне не излечилась от соблазна сводить все к единому «знаменателю».

Цена технократизма

Другой перекокс связан с избыточным технологизмом, переходящим в технократизм, что имело место и продолжает существовать как на научно-прикладном, так и на практико-управленческом уровнях. С моей точки зрения, при анализе либо попытках улучшения политико-управленческой системы, игнорирование ценностного аспекта, самоограничение исследователя технологическими (организационными, социально-инженерными) моментами чревато весьма опасными последствиями. Ведь *технология, социальная инженерия могут служить как добру, так и злу*. И часто служат. Классический пример — высоко технологичное для своего времени технологическое обеспечение преступной деятельности нацистского государства, в частности, «окончательного решения еврейского вопроса» — Холокоста. Поэтому чисто технологические (не говоря уж о технократических) штудии и разработки, направленные на «повышение эффективности государства», вполне могут быть контрпродуктивными и даже негативными, а то и разрушительными по своим социальным последствиям, по влиянию на жизнь конкретных граждан и их объединений. К сожалению, не нужно далеко ходить за примерами «эффективных», но деструктив-

ных действий и наших государственных органов и служб. Каждый читатель легко их найдет. К тому же жизнь все время добавляет новые и новые примеры. *Целеполагание находится за пределами технологий и методик совершенствования управления. А в сегодняшней реальности политические ценности, определяющие организационное поведение нашей управленческой системы, по моему мнению, ведут страну к катастрофе.*

Думаю, технократические перекосы в сознании и характере работок исследователей, занимающихся политической и особенно управленческой проблематикой, отчасти связаны с дефицитом в их среде гуманитарной культуры и соответствующего ей «мировидения». Это, в частности, одно из негативных последствий излишне прагматической, приземленной переориентации образования на «компетенции» в ущерб общим знаниям.

Альтернатива — «особый» цивилизационный тупик, в направлении которого мы сейчас, хотя, к счастью, непоследовательно и неуверенно, но все же движемся. И немалую часть пути, увы, уже прошли. И если следовать концепту фатальности «особого пути», то мы обречены. Это — версия комплекса неполноценности, своего рода «расизма наоборот», которую я не могу принять ни эмоционально, ни аналитически. Хотя бы потому, что культура не гомогенна и постоянно находится в процессе развития и перемен. Перемен разнонаправленных, неоднозначных, но комплекс связанных с этим вопросов — за пределами темы статьи.

А завершить хочется большой цитатой из Карла Поппера, считавшего глубочайшей и еще далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неизбежно сопряжен со страхом свободы, с желанием и попытками вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносит лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. «Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму... нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество» [Поппер 1992, с. 248].

Литература

Заостровцев А. П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? СПб: Издательство Европейского университета, 2014а.

Заостровцев А. П. История по Асемоглу-Робинсону: институты, развитие и пределы авторитарного роста // *Общественные науки и современность*. 2014б. № 3. С. 32–43.

Ключевский В. О. Курс русской истории в 8 т. Т. 4. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958.

Ключевский В. О. Курс русской истории в 8 т. Т. 5. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958.

Клямкин И. М. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. М. Либеральная миссия. 2011.

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 8. М.: Изд-во политической литературы, 1957.

Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности. М. Институт государства и права РАН, 1994.

Оболонский А. В. Протест — не патология // *НГ-Политика*, 2017.

Паин Э. А. Распутица: полемические размышления о предопределенности пути России. М.: РОССПЭН, 2009.

Печчеи А. Человеческие качества. М.: Издательство «Прогресс», 1980.

Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. М.: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.

Хаффнер Б. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016.

Яковенко И. Русская репрессивная культура и модернизация // *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. М. Либеральная миссия. 2011.

Volkan V. Need to Have Enemies and Allies. Jason Aronson Inc. 1988.

А. Н. Медушевский

Миф русской революции: структура, эволюция и вклад в социальную трансформацию XX–XXI века¹

Суть статьи — в реконструкции революционного мифа и его роли в создании современной России. Автор анализирует его социальные корни, генезис, фазы трансформации и функции в процессе социальной мобилизации XX века, показывая, как изменялся баланс традиционализма и модернизации. На основе когнитивной теории и сравнительного подхода он изучает русский революционный цикл, раскрывая его характерные черты, логику социальной трансформации и преемственность легитимирующей формулы политического режима.

Ключевые слова: русская революция, революционный миф, революционный цикл, традиционализм, модернизация, социальная мобилизация, большевизм, политический режим, легитимирующая формула.

The essence of this article is the reconstruction of the revolutionary myth and its role in the creation of modern Russia. The author analyses its social roots, genesis, phases of transformation and functions in the social mobilization process of the XX-th century, showing how the balance between traditionalism and modernization has shifted. On the basis of cognitive theory and comparative approach he examines the Russian revolutionary cycle regarding its characteristic features, the logic of social transformation, and the continuity of the political regime's legitimating formula.

Key-words: Russian revolution, revolutionary myth, revolutionary cycle, traditionalism, modernization, social mobilization, bolshevism, political regime, legitimating formula.

Столетие русской революции 1917 г. есть фундаментальный, но не вполне оцененный обществом факт российского национального самосознания, формирования культурной, гражданской и правовой идентичности. Дискуссии по крупнейшим революциям прошлого —

¹ Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ проекта 17–01–0048) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».

Английской, Американской, Французской, Германской, приуроченные к их юбилеям, выполняли роль поиска национального консенсуса в данных странах. Ничего подобного нет в России: во-первых, отсутствует национальный консенсус — социологические опросы показывают сохраняющийся раскол общества (практически пополам) в отношении революции, большевизма, сталинизма и итогов советского эксперимента; во-вторых, не преодолено наследие идеологических стереотипов прошлого, возрождающихся в различных новых модификациях; в-третьих, нет единства в академическом сообществе даже по вопросу о подходах к изучению данного феномена. До настоящего времени в литературе действует система мифов, доставшихся от эпохи революции или сформулированных в последующее время, общая природа которых состоит в подмене доказательных научных выводов метафизическими (идеологизированными) конструкциями.

В основу настоящего исследования положен метод когнитивной истории, закладывающий новую перспективу в определении ключевых понятий — революции и реформы как способов преодоления психологического диссонанса, определяющих практики социальной и когнитивной адаптации индивида и общества в условиях радикальных социальных изменений [Медушевский 2017]. *Под революцией* будем понимать радикальное изменение информационной картины мира — преодоление когнитивного диссонанса общества путем насильственного изменения государственного строя, сопровождающееся фундаментальным пересмотром принципов его политической конституции и легитимирующей формулы режима. *Под реформой* следует понимать принятие новых информационных ориентиров в результате ненасильственного изменения государственного строя — его корректировку без радикального пересмотра политической конституции и легитимирующей формулы [Медушевский 2016]. Социальный конфликт (психологическую травму растущего когнитивного диссонанса) удастся преодолеть без утверждения утопического мифа путем модификации идеологических постулатов, действующей политической конституции или частичной модификации легитимирующей формулы.

1. Революционный миф как основа социального конструирования

Содержание мифа русской революции определялось постулатами утопической коммунистической (марксистско-ленинской) идеологии, структура была вполне логична (во многом соответствуя структуре ре-

лигиозного мифа), а функция очевидна — поддержание легитимности однопартийной диктатуры. Коммунизм как идеология Нового времени получил импульс из традиционалистски мотивированного социального протеста против разрушения привычных аграрных отношений, начиная с эпохи английского «огораживания» — приватизации земель, ранее находившихся в общинной собственности, сопровождавшейся стгоном населения с земли и созданием резервной армии труда для промышленности. Провозглашая идеал социальной справедливости, всеобщего равенства и братства, идеологии всех радикальных революций нового времени являются, в сущности, ретроориентированными, стремясь восстановить утраченную социальную гармонию, апеллируя к социальным представлениям и стереотипам прошлого [Palmer 1959; Hobsbsbawm 1962; Tilly 1993].

В триаде лозунгов Французской революции («свобода», «равенство», «братство») большевизм (как бабувизм) подчеркивал именно «равенство» («фактическое», а не «формально-правовое» равенство перед законом), во имя которого считал необходимым пожертвовать индивидуальной свободой. Данный аспект революционного сознания делает его чрезвычайно чувствительным к проявлениям традиционалистски мотивированных форм социального протеста в истории и современности, прежде всего в ходе так называемых аграрных революций (классическими примерами служат революции во Франции, России, Китае, а также Иране, Мексике, некоторых развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки XX в.) [Moore 1967; Wolf 1969; Scopol 1980].

Именно эти признаки характерны для конструирования мифов основных революционных доктрин — кальвинистов и английских пуритан XVI–XVII вв., с их верой в божественное предопределение; французских якобинцев XVIII в. с их представлениями об абстрактных и вечных законах разума, русских большевиков XX в. с их верой в постулаты исторического материализма и неизбежной победы коммунизма, наконец, современных исламских фундаменталистов, иррациональные воззрения которых имеют много общего со всеми предшествующими попытками обоснования революции. Появление подобных экстремистских течений, идеологию которых один автор определил как «революционную святость», — само по себе является выражением кризиса старого общества [Walzer 1966]. Оно отражает стремление наиболее оппозиционной его части (религиозных или политических диссидентов) объединиться вне пределов традиционной социальной иерархии, разработать новые системы контроля и ценностных ориентаций; разделить мир на приверженцев и противников

своей идеологии и, наконец, фанатически строить грядущее царство добродетели.

Именно для этих идеологий социальная утопия является неотъемлемым компонентом, а их реализация на завершающей фазе революции неизбежно приводила к резкому усилению бюрократического контроля в обществе [The Bolsheviks in Russian Society 1997; Malia 2006]. С этим связано широкое распространение коммунистической идеологии в отсталых обществах, популярность ее большевистской версии и предложенной большевиками модели разрешения социального кризиса в России, ее влияние в аграрных обществах, вставших на путь модернизации в XX в..

2. Причины распространения революционного мифа в XX веке

Распространение коммунистического мифа, под влиянием которого к концу XX в. оказалась едва ли не половина человечества, связана с такими его особенностями, как утопический (квазирелигиозный) характер, чрезвычайная привлекательность для массового сознания традиционных аграрных обществ, особенности его структуры (соединение идеологии, научного прогноза и мобилизационной социальной практики) [Общественная мысль России 2005; Революционная мысль в России 2013]. Он охватил своим действием не только страны социалистической системы («реального социализма»), но и значительное число развивающихся стран Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, где оказался совместим с популистскими программами аграрных и антиколониальных революций.

Данный миф и практика его реализации в СССР оказали мощное влияние на их идеологию (народнические теории социального переустройства); постановку программных целей (построение коммунизма или социализма — марксистского, исламского, африканского, буддийского, кхмерского и т. п.); методы утверждения у власти (революционный переворот с последующим установлением диктатуры — классовой, однопартийной, личной); формы господства (стремление к тотальному контролю государства над обществом, экономикой и инфраструктурой); способы достижения этих целей (уничтожение целых классов и слоев населения в условиях «военного коммунизма» и его аналогов), сходство системы мобилизационных институтов (образцом которых выступали российские советы крестьянских, рабочих и солдатских депутатов или их аналоги под контролем революционной эли-

ты, иногда с учетом специфики конфессиональных, этнических и даже племенных различий), полное отрицание либерально-демократических институтов представительства, парламентаризма, федерализма, разделения властей и местного самоуправления во имя чрезвычайных революционных форм власти и управления, юридическая несменяемость власти, установление культа личности правителя как системно центрирующего института.

Речь шла не столько о заимствовании советских правовых форм, сколько сути режимных характеристик — создании власти, фактически бесконтрольной в осуществлении насильственной модернизации общества. Результатом стал особый тип деспотического государства, опиравшегося на историческую традицию, государственную идеологию и массированные репрессии. Общая логика развития политического процесса в этих режимах также сходна: постепенное усыхание идеологического (утопического) ядра, движение от революционного хаоса к механической стабильности и порядку, переходящему в застой, крушение системы — отказ от номинального конституционализма в пользу реального, как правило, с последующим установлением различных модификаций авторитаризма.

Сравнительные исследования революций нового и новейшего времени акцентируют внимание на связь мифа (идеологии) с социальной природой революционного протеста, структурой социального конфликта, формами массовой мобилизации, определяющими роль насилия в формировании современного индустриального общества. Этот классический ряд вопросов, находящийся в центре внимания исследователей при изучении европейских революций XVIII–XIX вв., оказался слабо разработан применительно к русской революции [Revolutionists 1982]. Характерно последовательное воспроизводство аргументов «оптимистов» и «пессимистов» в отношении кризиса российской имперской государственности 1917 г. и советской государственности 1991 г., отражающее различие представлений о выборе пути и стратегиях модернизации [Power and Legitimacy 2012].

Определяющее значение для эволюции мифа в России получили пять основных интерпретаций, возникших в XX в. и перешедших в современную историографию: сторонников революции (начало новой эры коммунизма во всемирном масштабе); ее противников, прежде всего контрреволюционной эмиграции (революция как катастрофа — «Смута», закончившаяся крушением российской государственности); идеологии сталинизма (создание особой советской государственности нового типа в условиях корректировки коммунистического мифа); эпохи «Оттепели» и затем Перестройки (возвращение к истокам ре-

волюционной идеологии для преодоления исторических искажений и построения «подлинной» социалистической демократии); наконец, представления постсоветских демократических преобразований (радикальное отрицание всего советского наследия во имя демократии западного типа). Логика развития мифа, связанная с динамикой советского режима, прошла путь от преклонения перед революцией в почти сакральном смысле до превращения ее идей в собственную карикатуру и столь же решительного их отрицания.

Значение этих идеологических конструкций чрезвычайно велико, поскольку фиксирует этапы развития легитимирующей формулы, однако ни одна из них (в силу метафизического характера) не может быть положена в основу научного знания о революции, подтверждая известную максиму Маркса: нельзя понять смысл исторической эпохи, исходя из того, что она сама думает и говорит о себе, и используя терминологию самой эпохи. В целом эти конструкции не способны объяснить, каким образом масштабный революционный социальный проект, осуществлявшийся с невиданным энтузиазмом и бесчисленными жертвами на протяжении столетия, пришел к своему катастрофическому завершению и почему коммунизм, воспринимавшийся как спасение человечества от социального угнетения, тихо ушел с исторической сцены — не под звуки канонады, а шаркающей походкой старика, переставшего ориентироваться в новых реалиях.

3. Основные концепции русской революции: почему отсутствует единая парадигма?

Концепции революции, выдвигавшиеся современниками, укладываются в господствующие социологические теории того времени: 1) системная теория — революция как разрыв системных (экономических, социальных и политических) связей под влиянием протестной социальной энергетики (А. Богданов); 2) марксистская структурная теория — революция как следствие «объективных» классовых противоречий, реализующихся в конфликте финансового и промышленного капитала (М. Покровский), различных фазах социальных противоречий (Н. Рожков), либо сочетании различных типов революций — социальной, аграрной и колониальной (Л. Крицман); 3) бихевиористские концепции — спонтанный протест против длительно подавляемых социальных инстинктов, ведущий к крушению государственности (П. Сорокин); 4) сведение причин революции к элементарному крушению государственности («Смута» в трактовке лидеров Белого движе-

ния); 5) теории внешнего или внутреннего «заговора» (в эмигрантской литературе); 6) сочетание уникальных исторических обстоятельств и роли «великих людей» (М. Алданов). Наконец, 7) религиозные и квазитеологические объяснения, связанные с моральной деградацией общества (в стиле Н. Бердяева). Комбинированный подход включал все рассмотренные позиции, стремясь выявить связь системных, структурных (классовых) и поведенческих установок [Ону 1929].

В историографии XX в., начиная с классических трудов Э. Х. Карра [Карр 1990], доминирует системный и структурно-функциональный подход, а оценки (как правило, противоположные) в принципе опираются на сходную методологию анализа. Модель, закрепившаяся в западной науке XX в. уже к 50-летию революции, выражает состояние исторического сознания послевоенной эпохи — государства всеобщего благоденствия, воспроизводя теоретические клише линейной концепции истории, европоцентризма, и нарративизма. Этот подход, безусловно, много дал для сравнительных исследований. Если всякая революция — справедливо говорил А. Тойнби, — историческая «ненормальность», то это не значит, что она не имеет своей внутренней логики. Реконструкция этой логики предполагает выяснение повторяемости революций, их периодичности, среднего времени протекания и, наконец, соотношения фаз революции и реставрации. Русская революция, подобно Французской, также может интерпретироваться по этим параметрам [Тоупбее 1967].

Выражением этих представлений стала известная теория модернизации, сформированная как антитеза марксистской теории революционного конфликта в 1960–1970-е гг. XX в. и исходящая из предположения о том, что все страны имеют в принципе сходную логику развития, но одни проходят соответствующие стадии раньше или быстрее других. Это открывает возможность оценить перспективы любой политической системы в критериях предшествующих, вычислив перспективные тенденции линейного развития и даже реализовав «преимущества отсталости» (А. Гершенкрон, М. Карпович, Н. Рязановский, М. Раев и др.), т. е. возможность выбора из тех моделей развития, которые представлены опытом стран, ранее столкнувшихся со сходными дилеммами. Направления сравнительных исследований и шкала оценок поэтому, целиком определялись заданным идеальным типом — конструкцией европейского общества нового и новейшего времени (конструкцией, обязанной прежде всего Французской и другим европейскими революциями XVIII–XIX вв.). Эта модель схематично усматривает в русской революции неудачную копию Французской, и, как правило, отказывает ей в исторической оригинальности, точнее,

усматривают ее в отклонениях от эталона. Причины срыва русской революции в диктатуру, исходя из этого, усматриваются скорее в национальной исторической традиции, чем принятии ошибочных институциональных решений [Пайпс 2005].

Принципиальный недостаток современной интернациональной историографии революции заключается именно в том, что она (при огромном количестве конкретных исследований) по-прежнему вращается в кругу идей и представлений самой революции, выдвигая в качестве обоснования своих положений одну из идеологических конструкций революционного мифа или их комбинации. Последовательная смена основных трендов в мировой историографии в виде перехода от классического направления критики революции (воспроизводящего в основном представления русской либеральной эмиграции) к ее так называемой социальной истории, постулировавшей неизбежность революции (направление, неточно определяемое как «ревизионизм»), и от нее к современным постмодернистским подходам — прекрасно иллюстрирует эту ситуацию. С крушением СССР и мирового коммунизма выяснилась неадекватность этих схем и был остро поставлен вопрос о необходимости пересмотра концепции русской и советской истории, прежде всего — концепции русской революции [Анатомия революции 1994; Beyond Soviet studies 1995; Reinterpreting Russia 1999; The Russian Revolution 2001; Reinterpreting Revolutionary Russia 2006].

Однако этот пересмотр, осуществляемый в настоящее время преимущественно в рамках так называемой «новой культурной истории», до сих пор не дал убедительных и обнадеживающих результатов [Шевырин 2009]. Приверженность сторонников данного направления философии постмодернизма определила методологический релятивизм, «плюрализм» подходов, камуфлирующий отсутствие метода, подмену доказательных выводов различными мнениями исследователей (поиск «смыслов» вместо доказательного установления смысла в единственном числе), господство описательности — такая дешифровка текстов (в виде «игры дискурсов») и их семантическая интерпретация, при которой один нарратив (источника) легко подменяется другим нарративом (самого исследователя). В результате «открытие архивов» революции в 1990-е годы, о котором страстно мечтали представители предшествующих этапов развития историографии, не привело к сколько-нибудь существенному продвижению в концептуальном отношении. В новейшей историографии революции констатируется общее недоверие к теории, стремление уклониться от решения общих вопросов, эмпиризм (иногда в виде фетишизации архивов), подмена аналитических выводов описанием, наконец, утрата достижений

предшествующих научных школ. Вся эта историография, по меткому наблюдению ее новейшего систематизатора, «окутана облаком интеллектуальной инерции» [Smith 2001. P. 265].

4. Традиция и модернизация как проблема русской историографии революции

В советской историографии на поставленные вопросы давались вполне определенные и безапелляционные ответы — в пользу революционного выбора и его исторически реализовавшейся модели. Однако за все время существования этой историографии не было предложено *ни одного* действительно нового концептуального объяснения революции, выходящего за рамки теорий эпохи самой революции или западных концепций [Городецкий 1981]. Советская историография революции возникла, существовала и рухнула вместе с режимом, который она обслуживала. Характерно подведение итогов деятельности этой историографии к 70-летию революции [Россия: 1917 год 1989]. На все вопросы официальной историографией даны жесткие ответы, соответствовавшие мифу о закономерности, безальтернативности и детерминированности результатов революции. Все попытки преодоления этих догматических представлений на современном этапе продолжают встречать удивительно агрессивную реакцию [Медушевский 2012].

Отказ от этих идей в эпоху крушения коммунизма и распада СССР привел к механическому воспроизводству теоретических представлений контрреволюционного движения и русской эмиграции (прежде всего — евразийской школы) [Общественная мысль русского зарубежья 2009], усматривавших в русской революции начала XX в. новую «Смуту» — процесс распада государственности, аналогичный тому, который имел место в истории страны начала XVII в. и связывался прежде всего с моральной деградацией общества — отказом от системообразующих религиозных и социальных устоев. Интерпретация революции как Смуты получила распространение в литературе периода крушения СССР, которое само представало ее новой разновидностью и воплощением [Солженицын 2007].

В современной российской историографии, следовательно, не предложено ни одной концепции революции, которая бы выходила за рамки ее понимания современниками событий. Объяснение этой историографической ситуации заключается в господстве устаревших методологических подходов, которые схематически могут быть сведены к трем основным: детерминистской концепции исторического

материализма (в сущности — разновидности позитивизма); консервативных цивилизационных и геополитических теорий, постулирующих неизменность и безальтернативность исторического развития цивилизаций (и отдельных стран) в прошлом и настоящем (вплоть до неизменного «генетического кода» разных цивилизаций); постмодернистских учений, отрицающих или релятивизирующих значение рационального научного познания и представляющих исторические конструкции как продукт искусства — субъективного видения истории, которое может произвольно заменяться другим по мере необходимости. Различные теории «конца истории», «войн цивилизаций», «волн демократизации», связанные с ними предрассудки о существовании некоей цивилизационной «исторической матрицы», «колеи», «русской системы» и т. п. — только укрепляют эти представления, не выходя за рамки «социально-психологического детерминизма» и линейной версии исторического процесса. Укоренение версии об «особом пути» как реакция на европоцентризм — вносит мало нового в сравнительное понимание революционного процесса и сочетания в нем модернизации и ретрадиционализации, поскольку, как правило, игнорирует вариативность процессов за пределами западного мира. Это делает актуальным формирование методов аналитической истории [Аналитическая история 2008].

Очевидно, что традиционные подходы идут вразрез с задачами современной глобальной истории, отстаивающей отказ от методологического детерминизма в пользу вариативной картины прошлого, пересмотр линейной версии исторического процесса (характерной для традиционных эволюционистских концепций); отказ от объяснения одной культуры понятиями, механически взятыми из другой (что было свойственно для европоцентризма), и настаивающей на разработке универсальных и ценностно-нейтральных понятий, открывающих перспективу доказательного сравнительного анализа исторического процесса разных стран. В результате в современной российской историографии мы имеем постоянный «конфликт интерпретаций»: доказательное знание подменяется идеологическими схемами интерпретаций, сторонники различных позиций не могут прийти к единым непротиворечивым выводам, научная традиция (если понимать ее как преемственность школ) — отсутствует, а ключевые концептуальные выводы просто заимствуются из прошлого или иностранной литературы (опирающейся в значительной степени на опыт национальных революций).

Заявляя о необходимости вернуться к «объективной» истории революции, преодолении идеологических крайностей, раскрытии ее

«подлинной» природы, причин и следствий, эта историография не предлагает новой методологии, во многом остается в плену старых советских стереотипов, воспроизводя их с помощью иного понятийного инструментария [Россия на рубеже XXI в. 2000]. В этом нет ничего удивительного, поскольку «переосмысление» русской революции в постсоветский период было начато и осуществлялось преимущественно рыцарями Холодной войны, стремившимися доказать правильность своих предшествующих взглядов и в новых условиях поддержать их легитимность в научном сообществе. Реставрационный тренд в историографии отражен адептами этих идей в ходе последних дискуссий по истории революции. Утратив привычное равновесие в силу вынужденного отказа от марксизма, представители традиционной советской историографии охотно говорят о «кризисе исторической науки», не давая себе труда разрабатывать вопросы методологии гуманитарного познания на уровне понимания смысла и с нескрываемым раздражением встречая все попытки такого рода [Научное сообщество историков России 2011]. Следствием является принципиальный историографический факт: по прошествии столетия мы не имеем полноценных российских трудов по политической и конституционной истории русской революции.

5. Русский революционный цикл в сравнительной перспективе

Понятие революционного цикла в принципе означает смену фаз революционного процесса, которая, начавшись с отрицания Старого порядка, заканчивается его формальной реставрацией. Каждая из фаз воплощает когнитивное доминирование определенной социальной силы и выдвигаемой ею программы разрешения социального кризиса [Brinton 1952]. Этот вывод был сделан классической русской историографией на материале Английской и Французской революций, отчасти европейской революции 1848 г., где четко представлены этапы правления традиционной аристократии, умеренных и радикалов, перехода к стабильности в виде военных диктатур (Монка и Бонапарта) с последующим восстановлением монархии. Миф Французской революции, многим обязанный Американской, в свою очередь получил в Европе наиболее четкое идеологическое, интеллектуальное и символическое выражение и сыграл в мировой истории даже более деструктивную роль, чем сама революция, поскольку создал схему интерпретации социального конфликта, использованную затем революционерами всех стран [Gerard 1970. P. 53; Vovelle 1985; Furet 1995].

Вопрос о том, может ли русская революция завершиться иначе, чем европейские революции, практически не рассматривался современниками. Но именно он стал центральным для XX в., когда (в результате необычного многообразия и специфики революционных кризисов) выяснилась невозможность создания единой схемы революции. На исходе XX в. это привело к отказу от принятия единой теории революции и приоритетному вниманию к социологическому и сравнительному конструированию многофакторных моделей революционных процессов [Kimmel 1990]. Этот исторический опыт XX в. не мог быть учтен современниками русской революции, его предстояло осмыслить только в дальнейшем.

В целом использование модели французского революционного цикла, очевидно доминировавшее в ходе русской революции, позволяло типологизировать стадии революционного процесса, но на практике скорее вводило в заблуждение: прогнозы о последовательности и закономерности смены фаз революции, делавшиеся в ходе событий, оказались несостоятельны: крушение Старого порядка (Самодержавия) стало результатом сочетания внутренних и внешних факторов (Первая мировая война) и оказалось неожиданностью для всех политических партий; установление демократического строя изначально столкнулось в волной традиционализма (т. н. «двоевластие» Временного правительства и Советов); победа умеренных сил была кратковременной и во многом эфемерной, отнюдь не соответствуя образцам европейских «буржуазных революций» (срыв Учредительного собрания); напротив, господство революционного экстремизма (несмотря на различие его этапов) оказалось гораздо более продолжительно, а фаза Реставрации (в ее классическом понимании как возвращения монархии) — так и не наступила.

Большевики, следуя схеме Французской революции (на фазе якобинской диктатуры) сознательно пошли на ее ревизию — Лжетермидор (известный как НЭП). Это была когнитивная ловушка, в которую попали те либеральные критики режима, которые (как Н. Устрялов) решили, что Термидор наконец состоялся. Не стал реальностью и бонапартистский метод выхода из революции в ходе ее развития и последующих модификаций режима. Бонапартистская альтернатива однопартийной диктатуре не состоялась не потому, что она была теоретически невозможна (целесообразность такого переворота стала общим местом постреволюционных дискуссий), но прежде всего в силу очевидности этой угрозы для режима в контексте уроков Французской революции и превентивного устранения режимом всех потенциальных кандидатов в Бонапарты — от Л. Корнилова до Г. Жу-

кова. Русская революция развивалась и завершилась совсем не так, как прогнозировали современники — от ярых противников большевизма до его последовательных сторонников. Причина этого — в неадекватном понимании большевизма.

В интерпретации социальных функций большевизма российскими политическими партиями прослеживается три устойчивых направления. Во-первых, большевизм первоначально (в условиях Октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны) предстает как выражение русского традиционализма — анархического крестьянско-солдатского бунта в стиле Пугачевщины или более рафинированных ее форм (анархизм или нечаевско-бабефовская программа). Во-вторых, прослеживается постоянное проведение аналогии между большевизмом и якобинством с несостоятельным прогнозом о Термидоре и крушении революции (меньшевики, эсеры и другие левые партии в период Кронштадтского восстания). В-третьих, представлена интерпретация большевизма как бонапартизма или даже фашизма (в период НЭПа). Эта линия интерпретации, выдвинутая либеральными критиками, доминировала затем в отношении сталинизма и представлена в том числе в троцкистской его интерпретации как «бюрократического перерождения» революционной власти. Все три теории оказались несостоятельны: тезису о традиционализме противостояла большевистская программа массовой мобилизации и модернизации; тезису о якобинстве — отсутствие термидорианского перерождения (если понимать его как возвращение к буржуазному строю); тезису о бонапартизме — нереализованность коммунистическим режимом его гражданско-правовой программы (национализм и защита частной собственности) и политических форм (военная диктатура) [Медушевский 2013].

Трудность решения проблемы социологической квалификации революционного режима (завуалированная дебатами о «советской демократии») — сплав в нем традиционализма и модернизации; невиданные масштабы социальной мобилизации и массового террора; сочетание устойчивых идеологических приоритетов и предельно прагматического использования тактических средств, взятых из инструментария различных авторитарных режимов. Все эти особенности выражены в сформировавшейся позднее концепции тоталитаризма, которая также проделала существенную эволюцию в XX в. [Totalitarismus 1996].

Когнитивное доминирование экстремизма при всех изменениях коммунистического правления — выражало психологическую адаптацию революционного режима в меняющейся социальной среде —

от периода Гражданской войны до консолидации однопартийного мобилизационного режима и милитаризованной экономики, а от них — к сравнительно стабильному этапу функционирования, причем — с сохранением базовых элементов идеологической политической формулы. Длительность существования коммунистического режима отодвигала проблему Реставрации как окончательной стадии политической трансформации, стимулируя размышления о завершающей фазе русской революции.

Все концепции Реставрации, обсуждавшиеся в XX в., оказались неубедительны: 1) свержение большевизма силовым путем в результате победы правых в ходе гражданской войны и установления временной диктатуры, создающей предпосылки для правового строя — созыва Конституанты; 2) теория внутреннего перерождения большевизма и принятия частью его представителей реставрационной программы (концепция Термидора); 3) отстранение экстремистского режима от власти в результате новой революции или военного переворота. В реальности первый вариант не реализовался фактически; второй, возможно, — реализовался частично (если иметь в виду последующую бюрократизацию советского режима, уничтожение «ленинской гвардии» в период сталинизма и отказ от идеи «мировой революции»); третий — получил практическую реализацию только в условиях демократической революции (или переворота) 1991–1993 гг. В постсоветский период оказались доминирующими те подходы, которые были представлены русским либерализмом: создание гражданской нации; движение в направлении гражданского общества и правового государства; юридическое признание частной собственности (в том числе — на землю); конституционная, федеративная, судебная и административная реформы, возможное сохранение авторитарного режима на переходный период.

Острота современной дискуссии о постсоветской реконструкции общества, с учетом исторической длительности коммунистической диктатуры, объясняется необходимостью ответить на вопрос, что является объектом реставрации: восстановление досоветских, советских порядков или некоторого их гибрида. На деле присутствует психологическая амальгама двух подходов, восходящих к дискуссиям периода Учредительного собрания и выражающая сохранение когнитивного диссонанса в современном обществе. Корень разногласий — в различии интерпретаций революционного однопартийного режима — причин появления, форм консолидации власти и длительности коммунистического эксперимента.

6. Периодизация русской революции: этапы эволюции легитимирующей формулы власти

Принципиальное значение имеет вопрос о границах и периодизации истории революции. В мировой литературе отсутствует единый подход к проблеме: одни исследователи продолжают оперировать марксистской схемой периодизации революционного процесса в соответствии с подразумеваемым изменением баланса классовых сил; другие оперируют этапами политической истории, третьи усматривают решение проблемы периодизации в изменении сознания общества. В результате одни исследователи понимают русскую революцию XX в. как единый процесс социальной трансформации, проходящий в несколько стадий, другие предпочитают говорить о революциях во множественном числе — выделяют три революции начала XX в. (1905 г., Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г.) или увеличивают их число до пяти (добавляя Сталинскую революцию «сверху» 1930-х гг. и Перестройку 1985–1990 гг.). Нет, поэтому, единства в определении конца революции: для одних это — время окончания Гражданской войны и консолидации большевистского режима, или его трансформация (с созданием СССР и переходом к новой экономической политике в 1920-е гг.), для других — консолидация сталинского режима. Третьи вообще считают, что революция заканчивается тогда, когда ее идеология трансформируется в миф, или когда умирают последние носители этой идеологии — активные ее участники.

В рамках отстаиваемого нами когнитивного подхода вопрос о периодизации русской революции решается с позиций реконструкции революционной традиции на всем протяжении ее существования — от утверждения системообразующего революционного мифа в качестве легитимирующей основы режима до отказа от него. С этих позиций русская революция вполне вписывается в концепцию «долгого XX века», а ее этапы, фиксируемые в политических конституциях (юридически вполне номинальных), отражают стадии формирования современного российского общества и его политической системы. Этот подход представлен в историографии крупнейших национальных революций — Английской и Американской, заложивших основы современной демократии западного типа. Последующее развитие этих стран, несмотря на кризисы и войны, опиралось на устойчивые элементы преемственности этой политико-правовой традиции, наполняя ее новым социальным содержанием. Обращаясь к истории Французской революции, исследователи раскрывают единство революционной традиции, выраженное в преемственности революционного мифа и его идеологического

обоснования на разных стадиях эволюции государственности вплоть до создания современной Пятой республики, обеспечившей прагматический синтез мифа и реальности (1958 г.). Мексиканская революция, начавшись с конституционного переворота 1910 г., закончилась лишь в конце XX века. Китайская революция, начавшись с крушения монархии в 1911 г. и пройдя ряд этапов, сходных с русской (и под ее непосредственным влиянием), по-видимому, не закончилась до настоящего времени в силу сохранения коммунистической идеологии как легитимирующей основы однопартийного режима. Иранская революция 1979 г., продемонстрировав, несмотря на свой исламский характер, ряд поразительных черт сходства одновременно с французской и русской, позволила сформулировать аналогичные вопросы о природе революционного режима, причинах его устойчивости и направлениях трансформации в будущем. «Расколдовывание» мифа по мере его рационализации ведет к изменению смысла и техники идеологического конструирования, но не отменяет его значения для легитимации революционного режима вплоть до конца его существования [Krejci 1994].

Социология революции как самостоятельное научное направление позволяет выяснить, до какой степени повторяемость воспроизводства институтов, символов, риторики и способов революционной мобилизации разных стран соответствует национальным задачам и выражает особенности их политической культуры. Революционная трансформация общества есть, следовательно, длительный процесс: революция (несмотря на изменения политического режима) продолжается столько, сколько действует революционная формула, ее развитие связано с модификацией этой формулы и ее последовательной десакрализацией, а конец определяется достижением полноценного национального единства с принятием конституции, обеспечивающей национальный консенсус и институциональную стабильность, когда новая система ценностей и ожиданий, провозглашенных революцией, конвертируется в стабильные демократические нормы, институты и правила игры.

В основу периодизации русского революционного процесса следует положить, следовательно, развитие самого революционного мифа на всем протяжении существования (1917–1991 гг.), точнее, основанные на нем модификации легитимирующей формулы революционного режима, отраженные в его идеологических программах и основополагающих конституционных актах. Эволюция легитимирующей формулы русской революции подчинена решению следующих задач когнитивной адаптации: поиск ее оптимальной формулы в начале революционного процесса — от свержения монархии в ходе Февральской революции 1917 г. до Учредительного собрания; утверждение ее большевистской

версии — от попытки непосредственного воплощения мифа Коммуны в Конституции РСФСР 1918 г. и создания советской институциональной системы до корректировки этого замысла в ходе образования СССР и принятия Конституции 1924 г.; введение новой редакции данной формулы в период консолидации сталинского режима — принятия Конституции 1936 г. и кампании террора и массовой мобилизации на ее основе; модификация легитимирующей формулы в период «Оттепели» — в конституционном проекте 1964 г.; закрепление ее полностью выхолощенной трактовки в эпоху «застоя» в Конституции 1977 г., запоздалые попытки ревитализации данной формулы в конституционных преобразованиях эпохи Перестройки (1985–1991 гг.), закончившиеся полным отказом от нее, но определившие ключевые параметры формирования постсоветской политической системы (Конституция 1993 г. и направления ее современной интерпретации).

7. Русская революция как модернизация в форме ретрадиционализации

Революции — есть когнитивный срыв общества в результате столкновения традиционализма и модернизации. Их выражением становится утопический социальный миф (он может, как показала иранская революция, быть теократическим), а логика развития революционного проекта — определяется тем, насколько политическому режиму удается рационализировать его и трансформировать в прагматически реализуемую концепцию преобразований. Типология революций позволяет разделить их на те, которые завершились демократической консолидацией общества, и те, которые оказались неспособны решить эту задачу в ходе революционного цикла. Вопрос о балансе достижений и провалов революции зависит от качественных оценок событий и определяемых ими оценочных критериев.

Достижения русской революции состоят в радикальной социальной трансформации — реализованном переходе от традиционного общества к индустриальному: переходе от сословного общества к массовому; достижении формального гражданского равноправия (преодоление национальных, сословных и культурных ограничений); расширении уровня горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; создании новой экономической и социальной инфраструктуры; решении так называемого аграрного вопроса (путем фактического уничтожения традиционного крестьянства в результате сплошной коллективизации); урбанизации (большая часть населения живет в городах); гендерном

равноправии (распад патриархальной семьи и вовлечение женщины в общественную деятельность); секуляризации сознания (ослабление церковного влияния); медицинском обслуживании (гигиена, борьба с эпидемиями и т.д.); развитии массовой культуры (всеобщая грамотность и создание квалифицированной рабочей силы). Все это — задачи, определяемые классическим понятием модернизации, которые (как показывает опыт других стран) теоретически могли быть осуществлены, причем более последовательно, не революционным, а реформационным путем (с неизмеримо меньшими социальными издержками).

Издержки революционного типа модернизации не менее значительны в сравнительной перспективе: русская революция (в отличие от Французской) не решила проблему национальной идентичности и формирования гражданской нации (советский миф интернационализма оказался непрочен и, в конечном счете, потерпел крушение перед лицом роста национализма, прежде всего российского — причина распада СССР); уничтожив формы частного права, насаждавшиеся в имперский период по образцу западных стран, революция не только не создала гарантий частной собственности как основы рыночной экономики, но и уничтожила те, которые были созданы ранее. В ходе революции не только не было создано гражданское общество современного типа, но имела место ретрадиционализация — возвращение его в аморфное (атомизированное) состояние, деградация начал европейской культуры, подавление личности (это видно на уровне языка, наиболее четко отразившего примитивизацию и огрубление общественного сознания); не было создано правовое государство и не реализовалась даже авторитарная модель, способная на переходный период стать гарантом возвращения к правовой стабильности (ассоциирующаяся с бонапартизмом).

Не были созданы прочные основы демократической легитимности власти, в частности — правовые процедуры передачи власти от одного лидера другому — это всегда спонтанный процесс (в лучшем случае дворцовый переворот, в худшем — революционная смена власти), не поддающийся рациональному прогнозированию; не возникло полноценной национальной политической элиты, проникнутой единими ценностями и отстаивающей интересы государства; наконец, до сих пор не решена проблема восстановления культурной, правовой и политической преемственности дореволюционной, советской и постсоветской России.

Столетие спустя после революции 1917 г. Россия оказалась в границах XVII–XVIII вв., с радикально сократившейся численностью населения, низким экономическим ростом (особенно заметным на фоне его поразительных темпов в начале XX в.), незавершенной гражданской

нацией и авторитарной системой политической власти. Однако она приобрела уникальный исторический опыт, адекватное понимание которого способно предотвратить повторение революционных социальных катастроф подобного масштаба в будущем.

Таким образом, революционный проект, столетие спустя после его начала, в сущности не получил полноценного завершения: демократическая консолидация общества не завершена; федеративное устройство сохраняет живые следы советского наследия и не может быть признано эффективным; ключевые задачи социальной и политической модернизации остаются нерешенными. Если социальная трансформация традиционного общества состоялась, то политическая трансформация (создание демократической системы) — не завершена до сих пор. Главная причина этого — особая природа советского однопартийного режима и логика его функционирования на протяжении большей части XX столетия. Эта логика определялась соотношением основополагающего утопического коммунистического мифа, особенностями советского мобилизационного политического режима и созданной на его основе системой институтов и практик (способных эффективно функционировать только на неправовой основе, с ограничением информационного обмена и массивированным применением прямых или косвенных репрессий).

В целом результатом российского революционного проекта стала радикальная, насильственная и антиправовая *модернизация традиционного общества в форме ретрадиционализации*. Данный тип модернизации не является уникальным, охватывая широкий спектр политических систем XX в. — от тоталитарных до различных постколониальных националистических, фундаменталистских и авторитарных режимов «направляемой демократии». В России это — ограниченная и непоследовательная модернизация, использующая традиционалистские стереотипы для обеспечения социальной мобилизации и заложившая основы противоречий постсоветского периода. Осмысление опыта революции позволяет конвертировать его в знание, а это последнее — в стратегии современных политических реформ.

Литература

Аналитическая история // Отечественная история, 2008. № 5. С. 3–18.

Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. Отв. ред. Черняев В. Ю. СПб.: Глаголь, 1994.

Городецкий Е. Н. Советская историография Великого Октября 1917 — середина 30-х годов. М., Наука, 1981.

Карр Э.-Х. Большевицкая революция. 1917–1923. М.: Прогресс, 1990. Т. 1–2.

Медушевский А. Н. Мои бои за историю. Как я был главным редактором журнала «Российская история» // Вестник Европы, 2012. Т. 33. С. 147–159.

Медушевский А. Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.

Медушевский А. Н. Российские реформы с позиций теории когнитивной истории: система понятий, типология, технологии осуществления // Вопросы экономики, 2016, № 3. С. 131–160.

Медушевский А. Н. Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории // Общественные науки и современность, 2013. № 5–6.

Научное сообщество историков России: 20 лет перемен. М.: АИРО-XXI, 2011.

Ону А. М. Социологическая природа революции // Сборник статей, посвященных Павлу Николаевичу Милокову 1859–1929. Прага: Орбис, 1929. С. 32.

Общественная мысль России XVIII-начала XX века. М.: РОССПЭН, 2005.

Общественная мысль русского зарубежья. М.: РОССПЭН, 2009.

Пайпс Р. Русская революция. М.: Захаров, 2005. Т. 1–2.

Революционная мысль в России XIX-начала XX века. М., РОССПЭН, 2013.

Россия 1917 год: выбор исторического пути («Круглый стол» историков Октября 22–23 октября 1988 г.). Отв. ред. П. В. Волобуев. М.: Наука, 1989.

Россия на рубеже XXI в.: Оглядываясь на век минувший. Отв. ред. Ю. А. Поляков, А. Н. Сахаров. М.: РАН, 2000.

Солженицын А. Размышления над Февральской революцией. М.: Российская газета, 2007.

Шевырин В. М. Революции 1917 года: переосмысление в зарубежной историографии // Труды по русистике. М., 2009. Вып. 1. М., ИНИОН РАН, 2009. С. 309–337.

Beyond Soviet studies. Ed. by D. Orlovsky. Washington: Woodrow Wilson center press, 1995.

Revolutionists. A Comprehensive Guide to the Literature. Ed. by R. Blackey. Oxford: Clío, 1982. P. 158–178.

- Brinton C. *The Anatomy of Revolution*. N.-Y.: A. Knopf, Inc., 1952.
- Furet F. *Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XX-e siècle*. Paris: R. Laffont, 1995.
- Gerard A. *La revolution Française. Muthes et interprétation (1789–1970)*. Paris: PUF, 1970.
- Hobsbawm E. *The Age of Revolution: 1789–1848*. New-York: World, 1962.
- Kimmel M. S. *Revolution. A Sociological Interpretation*. L., Oxford: Polity Press, 1990.
- Krejci J. *Great Revolutions Compared. The Outline of a Theory*. London: T. J. Press, 1994.
- Malia M. *Histori's Locomotives: Revolution and the Making of the Modern World*. New Haven: Yale Univ. Press, 2006.
- Moore B. *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of Modern World*. Boston: Univ. Press, 1967.
- Palmer R. R. *The Age of the Democratic Revolution. A Political History of Europe and America. 1760–1800*. Princeton: Univ. Press, 1959. Vol. 1–2
- Power and Legitimacy — Challenges from Russia*. Ed. by P. Bodin, S. Hedlund and E. Namli. L. — N.Y.: Routledge, 2012.
- Reinterpreting Russia*. Ed. by J. Hosking and R. Service L.: Arnold, 1999.
- Reinterpreting Revolutionary Russia*. Ed. by I. D. Thatcher. Basingstoke: Palgrave, 2006.
- Scocpol T. *States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Cambridge: Univ. Press, 1980.
- Smith S. *Writing the History of the Russian Revolution after the Fall of Communism// The Russian Revolution. The Essential Readings*. L., Toronto: Blackwell, 2001.
- The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and Civil Wars*. New Haven. L.: Yale Univ. press, 1997.
- The Russian Revolution: The Essential Reading*. Ed. by M. A. Miller. L., Toronto; Blackwell, 2001.
- Tilly Ch. *European Revolutions. 1492–1992*. Oxford: Univ. Press, 1993.
- Totalitarismus in 20. Jahrhundert: Eine Bilanz der internationale Forschung*. Baden-Baden: Nomos, 1996.
- Vovelle M. *La Mentalité Revolutionnaire. Société et Mentalités sous la Révolution Française*. Paris: PUF, 1985.
- Walzer M. *The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics*. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1966.
- Wolf E. R. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. N.-Y., Harper and Row, 1969.

П. В. Усанов

**«Новая экономическая политика»
в свете австрийской школы**

Средний человеческий тип [при социализме] поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. И над этим кряжем будут подниматься новые вершины.

Л. Д. Троцкий

Надежнее строить хозяйство на использовании существующих пороков, чем на несуществующих добродетелях.

В. В. Новожилов

В статье рассмотрены причины, вынудившие большевиков пойти на экономические реформы в 1921 году, а также описаны результаты реформ и то, как согласовывалась политика НЭПа с политическими интересами элит. Исследованы идеи экономистов 1920-х годов, разделявших взгляды австрийской школы, продемонстрированы итоги дискуссии о НЭПе.

Ключевые слова: НЭП, Австрийская экономическая школа, советская экономика.

The article examines the reasons that forced the Bolsheviks to launch economic reforms in 1921, results of these reforms/ and how NEP's policy was coordinated with the political interests of the elites. The ideas of the economists of the 1920s, who shared the views of the Austrian school, are explored. The results of the discussion about NEP are reviewed.

Keywords: NEP, Austrian economic school, Soviet economy.

Один из наиболее актуальных вопросов для современных политологов и экономистов — вопрос о соотношении между экономической и политической свободами. Можно ли обеспечить устойчивый прогресс, опираясь только на один из видов свободы? Можно ли обеспечить экономический рост за счёт экономических свобод, при условии, что власть полностью контролирует «командные высоты»? Опыт НЭПа 1920-х годов проливает свет на эти вопросы, иллюстрируя одну из ключевых идей Ф. фон Хайека о том, что, если государство

контролирует цели, то будет контролировать и средства [Хайек 2005]. В том числе средства производства и предпринимательство. НЭП, по сути, был попыткой восстановить разрушенную экономику за счёт предоставления определённых свобод в хозяйственной сфере, но при отсутствии политической свободы.

Важно не только описать историю НЭПа, но и выяснить причины того, почему он начался и был достаточно быстро свернут.

Теория социализма

Австрийская экономическая школа была одной из первых, обративших внимание на экономическую теорию социализма. Как известно, классики социализма не оставили детального плана того, как будет работать социалистическая экономика¹. Революция 1917 года поставила на повестку дня вопрос о том, как организовать хозяйственную жизнь в огромной стране на новых принципах. Уже в 1920 году Л. фон Мизес написал статью об экономическом расчёте при социализме, которая доказывала невозможность рациональной хозяйственной деятельности в условиях отсутствия свободных цен на факторы производства² [Mises 1920]. В 1922 году Л. фон Мизес развил свою идею во всеобъемлющий трактат «Социализм», сформулировав в нем знаменитую теорему о невозможности экономического расчёта при социализме³ [Мизес 2016]. В 1930-е Ф. фон Хайек написал работы, посвящённые полемике об экономическом расчёте при социализме с О. Ланге и другими сторонниками «рыночного социализма» [Хайек 2011]. Последняя работа Ф. фон Хайека 1988 года «Пагубная самонадеянность» также посвящена критике теории и практики социализма [Хайек 1992]. Традицию основательного исследования социалистической экономики подхватило и современное поколение «австрийских» экономистов. П. Беттке написал книгу, непосредственно связанную с нэпом, «Политическая экономия советского социализма: первые годы 1918–1928» [Boettke 1990], не менее важную работу о теории

¹ Маркс отказывался писать «рецепты для харчевни будущего», считая это свойством утопического социализма, себя же он считал представителем научного социализма.

² Со статьёй еще в рукописном виде познакомился М. Вебер и полностью поддержал ее выводы.

³ Без рыночных цен невозможно рациональное хозяйствование, так как без цен на факторы производства нет возможности выбрать способ производства, требующий минимальных расходов. Чтобы такой расчёт был возможен, необходим рынок капитала и собственники капитала. Без частной собственности на средства производства экономический расчёт невозможен.

социализма написал Х. Уэрта де Сото «Социализм, экономический расчёт и предпринимательская функция» [Уэрта де Сото 2008]. Таким образом, австрийская экономическая школа накопила большой объем исследований по социализму и НЭПу.

В Советском Союзе 1920-х годов экономисты также были хорошо знакомы с австрийской экономической школой. По сути, они принимали выводы Л. фон Мизеса и его школы в спорах со сторонниками форсированной индустриализации. Этому вопросу посвящено исследование профессора А. В. Ковалева. В работе «Идеи австрийской школы в советской экономической литературе 1920-х годов» он доказывает, что австрийская школа была мейнстримом не только на западе того времени, но и в России⁴.

В 1922 году Б. Бруцкус опубликовал в журнале «Экономист» ряд статей [Бруцкус 1922], которые, так же как и работы Л. фон Мизеса, доказывали, что экономический расчет при социализме невозможен. Поэтому теорему о невозможности социализма можно считать теоремой Мизеса-Бруцкуса. В 1920-е годы эти идеи были хорошо известны, и опыт НЭПа, казалось, подтверждал верность идей Мизеса и Бруцкуса. Правда, споры быстро закончились, так как 29 октября 1922 года Бруцкус по распоряжению ГПУ был выслан из России.

Причины введения НЭПа

14 марта 1921 года на X съезде РКПб В. И. Ленин сформулировал идею нэпа, тогда же декретом ВЦИК была заменена продразвёрстка продналогом (сокращение изъятий примерно в два раза). Формально НЭП просуществовал до 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. То есть даже формально НЭП просуществовал всего десять лет. Фактически же он стал подвергаться давлению, как только были достигнуты успехи в 1924 году, а к 1928 году стало окончательно ясно, что НЭП не отвечает интересам большевиков. Сталину нужно было списать провалы своей политики на внешних и внутренних врагов, НЭП и его лидеры идеально для этого подходили.

⁴ Вот выводы его работы: «1. Австрийская школа являлась мейнстримом 1920-х годов, потому практически все возражения социалистам велись с ее позиций. 2. Распространение идей школы в научных дискуссиях не сопровождалось распространением в университетах. 3. «Умирание» школы в СССР связано с угрозой жизни всем оппозиционерам экономической политики с 1928 года и упадком школы с 1930-х» [Ковалев, 2014, с. 88–103].

К концу 1919 года гражданская война подходила к своему завершению, нужно было думать о том, что делать с экономикой, находящейся в катастрофическом положении. Промышленное производство упало на 82% с 1913 года. Тяжёлая промышленность сократилась до 21% от уровня 1913 года. Производительность труда до 74% от уровня 1913 года. Производство зерна до 40% от уровня 1913 года. Население Петрограда уменьшилось на 70%, Москвы на 50%. Заработная плата упала до 30% от уровня 1913 года [Пайпс 2005, с. 470]. В. И. Ленин был убеждён, что методы «военного коммунизма», показавшие свою эффективность во время гражданской войны, покажут ещё больший положительный эффект в мирное время.

24 августа 1919 года Ленин писал:

«При вольной продаже хлеба цена поднимается ... выигрывает горстка спекулянтов, народ проигрывает. Все сознательные, разумные крестьяне, согласятся, все, кроме мошенников и спекулянтов⁵, что надо отдать ... рабочему государству *все излишки хлеба полностью*» (выделено Лениным) [Цит. по: История ценообразования в СССР 1970, с. 40].

Поэтому в 1920-м году большевики продолжили политику «военного коммунизма». Когда Ленин получил записку от сотрудника ВСНХ Ю. Ларина с предложением перейти от продразвёрстки к продналогу и стабилизировать денежное обращение, он отреагировал на это запиской Н. Н. Крестинскому в январе 1920 года: «...запретить Ларину прожестерствовать, Рыкову (глава ВСНХ, прямой начальник Ларина) сделать предостережение: укротите Ларина, а то Вам влетит» [Ленин 1970, с. 123]. Ленин был убежден, что будущее за насильственными методами хозяйствования. Так же полагал и Н. И. Бухарин.

Однако такая ситуация сохранялась недолго. Политика большевиков встречала все большее сопротивление среди крестьян. Только за февраль 1921 года произошло 118 вооружённых выступлений. По официальным данным Красная Армия потеряла 237 908 человек в кампании 1921–1922 годов, вероятно, среди восставших их было гораздо больше [Пайпс 2005, с. 472]. Тамбовское восстание показало, что если ничего не менять, то большевиков просто сметут. В Кронштадте выступления шли под лозунгами «за советы без большевиков». Ленин сетовал, на то, что большевики лишь капля в море. Нужно искать союзников⁶. Война с крестьянами обрекала власть на поражение. В этот

⁵ Через полтора года В. Ленин сам станет отстаивать позицию «мошенников и спекулянтов».

⁶ Характерна готовность идти на компромиссы во время нэпа в культурной сфере. Большой театр поставил оперу Римского-Корсакова «Град Китеж». Коммунисты были

период Ленин пишет в ВСНХ просьбу: найдите Ларина, а также «буржуазных спецов» по деньгам, кредиту и банкам для запуска реформ.

Крестьянские восстания заставили Ленина изменить политику. Видимо, его поведение это пример, доказывающий верность того положения, что политики проводят реформы не потому, что очень хотят, а потому, что иначе они могут потерять власть.

Однако этот отход рассматривался исключительно как временный. А. Зиновьев в 1921 году объяснял:

«Я прошу вас, товарищи, ясно понимать, что новая экономическая политика есть лишь временное отклонение, тактическое отступление, освобождение земли для новой и решительной атаки труда на фронт международного капитализма» [Цит. по: Пайпс 2005, с. 468].

Хотя НЭП включал несколько очень важных изменений, дающих, в частности, свободу малому и среднему предпринимательству, все же два наиболее важных изменения касались того, что предлагал Ларин: во-первых, замена продразвёрстки продналогом; во-вторых, хождение параллельных валют.

Первый пункт позволил крестьянам оставлять больше хлеба себе, что создавало стимулы к эффективному хозяйствованию. Происходило увеличение сбора зерна, на рынок поступало больше хлеба, что решало проблему товарного голода [Мау 2013].

Стабилизация денежного обращения позволила восстановить торговлю и финансовую сферы [Голанд 2006; Голанд 2013]. В 1921–1922 годах денежная масса увеличилась с 1169 млрд. руб. до 1999464 млрд. руб., то есть в 1710 раз. Гиперинфляция и недоверие к совзнакам подрывали возможности для долгосрочного планирования инвестиций и порождали денежный хаос и ступор в торговле. Введение золотого червонца было предложено дореволюционным банкиром В. В. Тарновским, однако не получило поддержку на совещании Наркомата финансов в марте 1922 года. Идею не одобрили те, кому предстояло ее реализовывать — Г. Сокольников и Л. Юровский [Юровский 1996, с. 7–8]. Однако время поджимало и надо было как-то стабилизировать денежное обращение. 11 октября 1922 года Совнарком принял декрет, дающий право Госбанку выпускать червонцы. Золотой червонец был запущен в обращение 22 ноября 1922 года. Червонец имел золотое содержание — 7,74234 грамма чистого золота. Его параллельное хо-

недовольны Наркомом просвещения, считая постановку «формой религиозно-христианской пропаганды и агитации». Отвечая на обвинения, министр Луначарский писал: «Даже контрреволюционные и мистические произведения в тех случаях, когда они высоко художественны и культурны, крайне характерны, не должны быть запрещаемы» [Голанд, 1990, с. 12].

дение с совзнаками позволило не только стабилизировать денежное обращение, но и привело к тому, что золотой червонец котировался на западных биржах. Было решено совзнаки использовать для финансирования дефицита бюджета, а червонец для потребностей торговли. К началу 1924 года червонцы составляли 76% денежной массы, а совзнаки только 24% [Аникин 2002, с. 161–163]. Юровский организовал не только введение червонца, но и смог привлечь крупный немецкий капитал. На Западе в Юровском и Сокольникове видели непосредственных организаторов денежных реформ. В западной литературе их противопоставляли И. В. Сталину, что имело очевидную реакцию в Москве.

Юровский был одним из наиболее ярких представителей золотой эпохи экономической науки 1920-х в России. Родился в 1884 году в Одессе. С золотой медалью закончил гимназию. Учился в Петербурге в Политехническом институте. Среди его учителей были М. И. Туган-Барановский и А. А. Чупров, П. Б. Струве называл его «ближайшим учеником профессоров экономического факультета». Слушал лекции в Берлине и Мюнхене, диссертацию «Русский экспорт хлебов, его организация и развитие» писал под руководством Л. Brentano. Его книги сразу же переводились на английский и немецкие языки [Юровский 1996, с. 5–6]. В годы НЭПа был начальником валютного управления Наркомата финансов. Его книга «Денежная политика советской власти (1917–1927)» пользуется интересом и у современных исследователей.

Реформы, осуществленные Сокольниковым и Юровским, позволили стабилизировать денежное обращение и были одним из факторов успеха нэпа. Однако для самих реформаторов все закончилось трагично. Сокольников был забит насмерть сокамерниками [Аникин 2002, с. 169], а Юровский расстрелян. Оба под пытками признались в надуманных преступлениях. Оба погибли в 1938 году. Тогда же был расстрелян и Н. Кондратьев, самый известный на Западе экономист, а в 1937 году был расстрелян А. Чайнов, наиболее признанный в мире экономист-аграрник. В 1938 году в Бутово был расстрелян член президиума Госплана В. Громан.

Результаты НЭПа

НЭП обеспечил быстрое восстановление экономики. Тяжелая промышленность стала расти уже в 1921 году и за шесть лет выросла с 2004 млн. руб. до 12679 млн. руб. в ценах 1926–1927 гг., то есть в 6,3 раза. Уровень 1913 года был достигнут в 1926 году.

Сборы зерна в 1924 году выросли на 63%, хотя планировалось 31–32% [Юровский 1996, с. 11]. Беспрецедентные темпы роста вызвали потребность и в политических переменах. Раз крестьянство оказало помощь власти, то власть должна допускать к управлению и беспартийных. Рост экономики вызвал изменения и в избирательной политике, в 1924–1925 гг. была проведена избирательная реформа, которая отменяла президиумом ЦИК результаты выборов и назначение перевыборов там, где явка была меньше 35%. Это привело к увеличению явки с 26,5% до 44,7%, при сокращении процента коммунистов (с 7,1 до 3,6 %) и комсомольцев (с 4,22 до 2,33%). На Северном Кавказе в сотне сельсоветов почти не было коммунистов. Доля середняков выросла с 30–40% до 70–75%. В 1925 году право голоса получили беспартийные [Голанд 1990, с. 5–6]. Естественно, убеждённым коммунистам такая ситуация не могла понравиться, так как в перспективе лишала их власти. Уже в первые успешные годы НЭПа стало понятно, что «хорошая экономика это плохая политика» и наоборот; рост экономики усиливает беспартийных и ослабляет коммунистов.

Кризис 1925 года

В 1925 году начался кризис, он выразился в снижении хлебозаготовок и в товарном голоде. Итоги второго квартала 1925 года были неутешительными, вместо 376 млн. пудов было собрано только 176 млн. пудов, план по экспорту был выполнен лишь на 25% [Там же, с. 18]. Внутри партии начались споры о причинах кризиса и о необходимых путях выхода из него. Сторонники теории диспропорций (Е. Преображенский, Сталин) были убеждены, что в кризисе виновато чрезмерное развитие деревни в ущерб тяжёлой промышленности. Поэтому выход они видели в форсированной индустриализации.

Преображений был разработчиком «теории первоначального накопления при социализме», доказывая, что при социализме роль «пролетариата» играет крестьянство, которое должно пожертвовать своими интересами ради накопления социалистического капитала [Преображенский 1926].

Сторонники рыночного подхода (Кондратьев) полагали, что товарный голод — следствие ускоренного роста строительства и тяжелой промышленности. В этих условиях растет спрос со стороны города на промтовары, мало промтоваров поступает в деревню, цены на промтовары растут быстрее, чем на сельхозпродукцию, что стимулирует внутридеревенское потребление. Чтобы избавиться от товарного голода

необходимо повысить цены на хлеб, тогда цены будут соответствовать существующему спросу и предложению, так как дефицит является следствием государственного вмешательства. Еще одна причина кризиса — форсирование экспорта и развития тяжелой промышленности в ущерб народнохозяйственному балансу. Не всякий рост тяжелой промышленности желателен для экономики, полагал Кондратьев.

«Далеко не всякий более быстрый рост индустрии желателен, так как далеко не всякий рост ее объективно возможен без нарушения равновесия всего народного хозяйства, без расстройтва рынка и валюты, без отчуждения города и деревни. Лишь тот более быстрый темп развития промышленности представляется целесообразным и возможным, который достаточно близко отвечает реальному накоплению, доступному для обращения его теми или иными путями на нужды развёртывания индустрии. Всякая попытка перешагнуть эти объективные границы, искусственно форсировать рост индустрии поведёт неизбежно ... к острому потрясению самой промышленности» [Цит. по: Голанд 1990, с. 28].

В 1925 году были увеличены планы по экспорту в два раза. Стремление экспортировать зерно в Европу до того, как оно прибудет туда из Канады и Аргентины, обернулось неожиданными последствиями: на мировом рынке снизились цены на зерно и это сделало невыгодным экспорт. Тогда в сентябре 1925 года решили перейти от экономических мер к административным — цены директивно понизили на 10–25%. Для сохранения цен необходимо было отказаться от форсирования экспорта, но это не сделали по политическим соображениям, что вызвало дефицит зерна на внутреннем рынке. Кроме того, количество денег с 1 июня по 1 декабря 1925 года увеличилось на 63%, что еще больше увеличивало разрыв между товарной и денежной массами.

Юровский в этих условиях отстаивал рыночные методы выхода из кризиса:

«Административные распоряжения становятся бесхозяйственными, если они проводятся без учета тех ценностных соотношений, которые складываются на рынке ... Государство может попытаться пойти против закона ценности и результатом будет удар со стороны рынка, который заставит возвратиться к соблюдению ценностных закономерностей» [Юровский 1996, с. 17].

В 1925 году споры ещё были возможны и в целом, победила позиция «рыночников», хотя победа для них оказалась пирровой. В 1926 году была закрыта «Финансовая газета», орган, где можно было спорить о темпах индустриализации и критиковать экономическую политику правительства.

Хотя кризис 1925 года был преодолен скорее рыночными методами, он породил значительный сдвиг «влево». Усилилось давление на частный капитал, количество административных мер и мер контроля значительно возросло. Хотя риторика НЭПа сохранялась, на практике собственников капитала притесняли, количество бюрократии увеличивалось. Капиталистам давали понять, что они «люди второго сорта». Стала активно распространяться идея о том, что кризисы в экономике свидетельствует о естественном отмирании рынка и замене его планом, как более эффективным методом хозяйствования. Складывалась парадоксальная ситуация, когда административные меры порождали диспропорции и голод, а господствующая идеология партии видела в кризисах путь к планированию. Следование идеологии «замены рынка планом» сыграло свою роль в следующем кризисе 1927 года.

Кризис 1927 года

В 1927 году начался новый кризис хлебозаготовок.

Партийная оппозиция выступила за изъятие 10% зерна у крестьянских хозяйств и за вывоз его за границу как к средству решения проблемы выполнения планов. Юровский как и Кондратьев видели причину кризиса и активной накачке экономики деньгами и ратовали за сокращение кредитных операций. Но в 1927 году их голос был не слышен. Пришло время Сталина [Хлевнюк 2015]. Сталин отказывается от повышения заготовительных цен, первоначально разгромив оппозицию за попытки сворачивания нэпа. Так он избавился от одних конкурентов, чтобы потом добить оставшихся. Сталин поддерживал слухи о начале новой войны, активно искал внутренних врагов. Рост международного напряжения, терроризма, вредительства в его глазах свидетельствовали о необходимости усиления административных мер. Особую роль в этом процессе сыграло Шахтинское дело.

Во время поездки в Сибирь в январе 1928 года Сталин утверждал, что «кулаки требуют повышения цен втрое, в то время как беднота и значительная часть середняков уже сдали государству хлеб по государственным ценам» [Цит. по: Голанд 1990, с. 77]. Отсюда Сталин делал вывод о недопустимости повышения цен. В действительности никто не требовал повышать цены в три раза, требовалось их повысить на 40–50% для соответствия рыночным. Кроме того, как раз середняки и накапливали запасы [Голанд 1990, с. 77].

В 1928 году принимаются «чрезвычайные административные меры» изъятие у крестьян денег и излишков зерна. Что подрывает

доверие к советской власти у крестьян и приводит к сокращению хлебозаготовок. Происходит возврат к карточной системе, во многих городах появляются огромные очереди, в которые люди становились ещё вечером, в том числе и в регионах с высоким плодородием (Краснодар, Темрюк), зафиксированы случаи гибели в давках. По сути, уже тогда НЭП был свернут и развернулась борьба с кулаком как классом [Как ломали НЭП 2000].

Начальник ОГПУ А. Прокофьев писал Ф. Э. Дзержинскому, что спекуляция разлагает коммунистов. Он предлагал для борьбы с нэпманами: конфискацию имущества, выселение из квартир, высылку с семьями из крупных городов, в том числе в лагеря.

Дзержинский поддержал такую политику: “Я думаю, надо пару тысяч спекулянтов отправить в Туруханск и Соловки”. Все эти меры стали проводиться в жизнь. Так, в 1927 году из частной аренды было изъято 270 крупных мельниц, дававших 75 млн. пудов в год [Голанд 1990, с. 44].

Важным пунктом сворачивания НЭПа была кредитная реформа 1930 года [Кочеврин 2013, с. 114–115], запрещающая коммерческий кредит и использование векселей. Это означало отказ предприятий от самостоятельности и полную передачу полномочий плановым органам⁷. С тех пор основными методами хозяйствования стали бюрократический произвол, идущий сверху, а также террор как средство борьбы с «вредителями». Экономика переходит в режим ручного управления после 1930 года.

Переход к ручному управлению

Хорошо иллюстрирует методы ручного управления письмо Сталина В. М. Молотову, написанное в августе 1930, где он дает как хозяйственные задания, так и приказы по расстрелу.

«Основательно почистить аппарат НКФ [Нарком финансов] и Госбанка ... обязательно расстрелять десятка два-три вредителей из этих аппаратов, в том числе десятков кассиров всякого рода ... Кондратьева, Громана и пару-другую мерзавцев нужно обязательно расстрелять. Нужно обязательно расстрелять всю группу вредителей по мясопродукту, опубликовав об этом в печати. Верно ли что вы решили выпускать теперь же мелкую никелевую монету? Если это

⁷ Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 года: «... воспрещается отпускать товары и оказывать услуги в кредит. Этот кредит заменяется исключительным кредитованием [Государственного банка]». [Цит. по: Кочеврин, 2013, с. 114].

верно, это ошибка. Верно ли что ввезли из Англии ботинки? Если это верно, это ошибка ... Форсируйте вывоз хлеба вовсю» [Грегори 2008, с. 28].

Социализм, подразумевающий «отмирание государства», привел к немыслимому расширению его власти.

Пол Грегори в книге «Политэкономия сталинизма» объясняет причину победы Сталина в политической борьбе с помощью теории общественного выбора. Вначале он разгромил «левую» оппозицию (Л. Троцкий), а потом «правую» (Н. Бухарин) [Грегори 2008].

По сравнению с НЭПом сталинская экономика оказывается крайне неэффективной. Особенно это видно по результатам первой пятилетки. Значительно сократились сборы зерна. Если в 1928 году собрано 73,3 млн. тонн зерна в 1928 и 55 млн. тонн в 1932 [Грациози 2016, с. 131]. В результате голода погибло 5–7 млн человек. Это вызвало ряд восстаний, в том числе знаменитое восстание текстильщицы в Иваново. Не выполнялись планы и в промышленности. Планы по чугуны в первую пятилетку: 17 млн. т по плану и 6,2 млн. т по факту. Так как форсированная индустриализация подразумевала не реалистичные планы по строительству промышленных предприятий, то большая околность производства вызывала множество незавершённых производств. Заводы были не достроены, при том, что строились новые. Многие диспропорции в экономике, являющиеся следствием сталинизма, породили проблемы позднего Советского Союза.

Вторая пятилетка оказалась более эффективной, так как произошли некоторые послабления в хозяйственной и политической сферах: снижение террора (несмотря на дело Кирова и 1937 год) и разрешение личных подсобных хозяйств.

В своей книге «Политэкономия сталинизма» Грегори [Грегори 2008, с. 12–18] ставит вопрос: кто виноват в случившемся — «лошадь» (система) или «жокей» (вожди системы). Из всего вышеизложенного следует, что система неизбежно должна была породить «правление худших» в силу своей внутренней логики. Развитие НЭПа означало для большевиков потерю власти, но рост экономики для других классов. Сворачивание нэпа означало замену хозяйственной логики произволом большевиков. Второе устраивало большевиков гораздо больше, чем первое.

НЭП начался как вынужденная для большевиков мера. Без реформ они рисковали потерять власть. Реформы оказались успешными за счет привлечения «буржуазных спецов», которые провели денежную реформу, обеспечили приток капитала и рост экономики. Но этот рост требовал увеличения власти беспартийных, что по

политическим соображениям не устраивало большевиков. Сворачивание НЭПа означало переход к волюнтаризму, диспропорциям в экономике и невыполнению планов. Это устраивало Сталина, так как теперь уже его власти ничто не угрожало.

Для современного общества крайне важно осознать, что потеря свободы в одной сфере (политической) приводит, рано или поздно, к потере и в других сферах. Хотя мы живём в совсем других условиях, тем не менее, модель «смешанной экономики» имеет много общего с НЭПом, так как обе подразумевают отказ от значительной доли экономических и индивидуальных свобод. Опыт НЭПа является предупреждением о том, что такая модель внутренне неустойчива и имеет тенденцию к централизации власти во всех областях. Это вывод полностью согласуется с основными идеями австрийской экономической школы.

Литература

Аникин А. В. История финансовых потрясений. М.: Олимп-Бизнес, 2002.

Бруцкус Б. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // Журнал «Экономист». 1922. № 1–3.

Голанд Ю. Дискуссии об экономической политике в годы денежной реформы, 1921–1924. М.: Экономика, 2006.

Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп. М.: МНИИПУ, 1991.

Голанд Ю. М. Опыт индустриализации при нэпе и его использование в современных условиях // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 109–135.

Грациози А. История СССР. М.: Политическая энциклопедия, 2016.

Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М.: РОССПЭН, 2008.

История ценообразования в СССР. 1917–1928. Том 1. М.: Финансы, 1970.

Как ломали нэп. В 5 томах. М.: МФД, 2000.

Ковалев А. В. Идеи австрийской школы в советской экономической литературе 1920-х годов // Капитализм и свобода: сборник статей. СПб.: Нестор-история, 2014. С. 88–103.

Кочеврин Ю. Б. Политико-институциональные аспекты финансовых реформ 1930-х гг. в СССР // Политика институциональных преобразований: от теории к практическим рекомендациям. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 108–138.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 51. Переписка. Июль 1919–ноябрь 1920. М.: Издательство политической литературы, 1970.

Мау В. А. Реформы и догмы. Государство и экономика в эпоху реформ и революций (1861–1929). М.: Дело, 2013.

Мизес Л. Социализм: экономический и социологический анализ. М.: Социум, 2016.

Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918–1924. М.: Захаров, 2005.

Преображенский Е. А. Новая экономика: опыт теоретического анализа советского хозяйства. М.: Коммунистическая академия, 1926.

Уэрта де Сото Х. Социализм, экономический расчёт и предпринимательская функция. М: ИРИСЭН, 2008.

Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. Челябинск: Социум, 2011.

Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Либеральная миссия, 2005.

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М.: Издательство «Новости», 1992.

Хлевнюк О. В. Сталин: жизнь одного вождя. М.: АСТ, 2015.

Юровский Л. Н. Денежная политика советской власти (1917–1927). М.: Издательство «Начала-пресс», 1996.

Boettke P. The Political economy of Soviet socialism: the formative years, 1918–1928. NY.: Kluwer Academic Publisher, 1990.

Mises L. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen // Archiv für Sozialwissenschaften, № 47. 1920. P. 86–121.

С.А. Афонцев

**Эволюция промышленной политики:
универсальные модели и национальные приоритеты¹**

Модели промышленной политики

Промышленная политика традиционно является одной из наиболее дискуссионных сфер государственного регулирования экономических процессов. Несмотря на многочисленность публикаций, посвященных вопросам промышленной политики,² отношение к ней остается неоднозначным. Во-первых, ей так и не удалось получить прочного статуса в современной экономической науке — подобного тому, который имеют, например, исследования внешнеэкономической или денежно-кредитной политики. Во-вторых, у промышленной политики отсутствует прочный теоретический фундамент: в лучшем случае ее рекомендации опираются на разрозненные положения отдельных теоретических концепций (причем часто — в достаточно произвольных комбинациях), в худшем — на нормативные представления политиков и экспертов относительно целей, которые следует достичь, и инструментов, с помощью которых это можно сделать. В-третьих, вопросы промышленной политики часто оказываются жертвой идеологических дискуссий по поводу целесообразности и правомерных границ государственного вмешательства в экономику. Здесь можно встретить практически любую точку зрения в широком спектре

¹ В статье частично использованы материалы, опубликованные в работе: Афонцев С.А. Промышленная политика и перспективы импортозамещения в российской экономике. // Экономический кризис и промышленная политика — альтернативные пути возвращения к росту в России. Под ред. Р. Трауба-Мерца и Д. Ефименко. М.: Политическая энциклопедия, 2016, с. 9–28.

² См., в частности, следующие обзорные публикации: Salazar-Xirinachs J.M., Nübler I. and Kozul-Wright R. Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development. Geneva: ILO, 2014; Harrison A. and Rodríguez-Clare A. Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for Developing Countries. In: D. Rodrik and M. Rosenzweig (eds.). Handbook of Development Economics. Vol. 5. Amsterdam: North-Holland, 2010, pp. 4039–4214; Patrizio Bianchi P. and Labory S. International Handbook on Industrial Policy. Northampton: Edward Elgar, 2008; Pack H. and Saggi K. The Case For Industrial Policy: A Critical Survey // The World Bank Working Paper Series no. WPS3839, February 2006.

мнений, на одном полюсе которого находится ультралиберальный лозунг «лучшая промышленная политика — это ее отсутствие»³, а на другом — поиски лучших образцов промышленной политики среди опыта стран с дирижистскими режимами либо с централизованно управляемой экономикой (от послевоенной Франции и Южной Кореи 1970–1980-х гг. до СССР и современной Беларуси). В-четвертых, часто отсутствует однозначность в понимании самого понятия «промышленная политика»: на сегодняшний день ее модели столь разнообразны, что даже на уровне терминов добиться общего понимания обсуждаемой проблематики порой оказывается весьма сложно.

Прежде, чем перейти к анализу моделей промышленной политики, необходимо остановиться на терминологических вопросах более общего порядка. Под *промышленной политикой* сегодня принято понимать комплекс мер государственного регулирования экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровне, направленных на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики и экономического роста. Хотя термин «промышленная политика» часто вызывает ассоциации с регулированием экономической деятельности в промышленности, его содержание существенно шире, соответствуя значению термина «отраслевая политика» (англ. *industrial policy*). Исторически данное направление экономической политики действительно возникло и поначалу развивалось именно в контексте поощрения промышленного развития, но в процессе эволюции промышленной политики этот смысловой оттенок отходит на второй план, и современное понимание промышленной политики охватывает регулирование хозяйственных процессов как в промышленности, так и в секторе услуг.⁴

Другая тонкость связана с тем, что промышленная политика очевидным образом «выпадает» из иерархии других видов государственной экономической политики. Нередкие в экспертных дискуссиях попытки выяснить, что «главнее» — промышленная политика или внешнеэкономическая политика, промышленная политика или

³ Данное выражение стало популярным в дискуссиях по вопросам промышленной политики после того, как его использовал Т. Сырыйчик, министр промышленности в первом посткоммунистическом правительстве Польши (Nielsen K. *Industrial Policy or Structural Adjustment?* In: *Legacies of Change. Transformation of Postcommunist European Economies*. Campbell J.L. and Pedersen O.K. (eds.). Hawthorne: Aldine de Gruyter, 1996, p. 69).

⁴ Warwick K. and Nolan A. *Evaluation of Industrial Policy: Methodological Issues and Policy Lessons* // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2014, no. 16; Meyer-Stamer J. *Moderne Industriepolitik oder postmoderne Industriepolitiken?* Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2009.

налоговая политика — по определению лишены смысла, поскольку промышленная политика определяется не по объекту регулирования (налоговые, бюджетные, внешнеэкономические, земельные отношения и т. п.), а по *уровню* регулирования (процессы на отраслевом и корпоративном уровне). Благодаря этому в рамках промышленной политики могут применяться инструменты, связанные с регулированием различных типов отношений между хозяйствующими субъектами (инструменты налоговой, валютно-финансовой, таможенно-тарифной политики и т. п.). Это означает не подчинение соответствующих типов политики целям промышленной политики, а возможность скоординированного использования широкого спектра инструментов для достижения приоритетов промышленной политики. В различных моделях промышленной политики проблема сочетания соответствующих инструментов решается по-разному, что еще более усложняет нахождение общего языка между сторонниками соответствующих моделей.

На сегодняшний день можно выделить три базовые модели промышленной политики, в рамках которых, в свою очередь, также могут существовать выраженные различия в понимании целей и инструментов регулирования экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровне.

(1) *«Традиционная» промышленная политика*, которую можно охарактеризовать как «политику отраслевых приоритетов», безраздельно доминировала в мировой экономике на протяжении трех послевоенных десятилетий. В ряде экономически развитых стран (Германия, Великобритания) отход от данной модели наметился еще в конце 1970-х гг., в большинстве развивающихся стран — после долгового кризиса начала 1980-х гг., в постсоциалистических — после начала рыночных преобразований в конце 1980-х — начале 1990-х гг.⁵

(2) *«Новая» промышленная политика*, для которой характерен отход от конкретных отраслевых приоритетов в пользу приоритета повышения конкурентоспособности национальных компаний по широкому спектру отраслей, достигла пика популярности к середине 1990-х гг., однако уже в середине 2000-х гг. она столкнулась с серьезными вызовами интеллектуального и политического характера.

⁵ Altenburg T. and Lütkenhors W. *Industrial Policy in Developing Countries: Failing Markets, Weak States*. Cheltenham: Edward Elgar, 2015; Altenburg T. *Industrial Policy in Developing Countries: Overview and Lessons from Seven Country Cases // German Development Institute Discussion Paper no. 4/2011*; Cimoli M., Dosi G. and Stiglitz J.E. (eds.). *Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation*. NY: OxfordUniversity-Press, 2009.

Приоритет «повышения конкурентоспособности» оказался слишком неконкретным, чтобы обеспечить возможность эффективного отбора проектов, достойных поддержки инструментами промышленной политики. В этих условиях возникла потребность дополнить его новыми, более «сфокусированными» приоритетами.

(3) *Промышленная политика «новых приоритетов»*,⁶ в целом сохраняя присущую «новой» промышленной политике ориентацию на повышение конкурентоспособности, дополняет ее идентификацией отдельных приоритетных задач, решение которых обеспечивает максимизацию экономического и социального эффекта функционирования конкурентоспособных компаний.

Рассмотрим соответствующие модели промышленной политики более подробно.

«Старая» и «новая» промышленная политика

К середине 1990-х гг. в мире произошла коренная смена моделей промышленной политики. На смену традиционной, «жесткой» промышленной политике, ставящей целью создание и развитие приоритетных отраслей экономики, пришла новая, «мягкая» (soft) промышленная политика, ориентированная на содействие росту конкурентоспособности национальных компаний-производителей.⁷ Соответственно, изменились формы и инструменты проведения промышленной политики.

Для традиционной модели промышленной политики были характерны методы прямого государственного вмешательства в экономические процессы, в т.ч.:

- определение «приоритетных» отраслей на основе аргументов, часто не опирающихся на анализ факторов конкурентоспособности;
- вмешательство в рыночную структуру отрасли с целью назначения «компаний-чемпионов», которыми часто оказывались компании со значительным участием государства в собственности;

⁶ Общепринятого наименования данного подхода на сегодняшний день нет. Мы используем термин промышленная политика «новых приоритетов» как наиболее адекватно отражающий основную черту рассматриваемого подхода: поиск новых критериев и направлений поддержки экономического развития средствами промышленной политики.

⁷ Aghion Ph., Boulanger J. and Cohen E. Rethinking Industrial Policy // Breugel Policy Brief no. 2011/04, June 2011; Ul Haque I. Rethinking Industrial Policy // UNCTAD Discussion Papers no. 183, April 2007; Wren C. The Industrial Policy of Competitiveness: A Review of Recent Developments in the UK // Regional Studies, 2001, v. 35, no. 9, p. 847–860.

- опора на бюджетное субсидирование и кредитование предприятий приоритетных отраслей;
- развитые механизмы косвенного субсидирования компаний за счет манипуляций с валютным курсом, регулирования цен на сырье и энергию, тарифов естественных монополий;
- протекционистский курс во внешней торговле, направленный на создание «тепличных» условий для национальных производителей и привлечение прямых иностранных инвестиций, мотивированных заинтересованностью в избежании высоких импортных пошлин при обслуживании национального рынка.

Закат популярности традиционной модели промышленной политики во многом был связан с крахом политики импортозамещения, активно проводимой в развивающихся странах (в первую очередь в странах Латинской Америки) на протяжении 1950–1970-х гг. Эта политика привела к значительным затратам хозяйственных ресурсов на развитие обрабатывающих производств, так и не достигших мировых стандартов конкурентоспособности и потому нуждавшихся в непрерывной государственной поддержке, а также к увеличению государственных расходов на экономические проекты, спровоцировавшему рост инфляции и накопление государственного долга. Международный долговой кризис начала 1980-х гг. фактически поставил крест на политике импортозамещения, в основе которой лежали методы традиционной промышленной политики. Закат социал-демократических моделей экономической политики в Западной Европе («французская модель», «шведская модель») в 1980-х — начале 1990-х гг., а также общая тенденция к снижению государственного вмешательства в экономику на протяжении 1990-х гг. привели к окончательному падению популярности традиционной модели промышленной политики.

На смену ей пришла *модель «новой» промышленной политики*, цели которой предполагают:

- повышение конкурентоспособности производителей товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
- содействие повышению удельного веса в экономике высокотехнологических отраслей промышленности и отраслей высокотехнологических и «интеллектуальных» услуг (информационные системы, связь, финансовые услуги, образование);
- стимулирование роста эффективности национальных компаний за счет их участия в транснациональных цепочках добавленной стоимости и формирования национальных технологических цепочек «сырье — готовый продукт»;

- создание стимулов для активизации инновационной деятельности и повышения доли инвестиций, направляемых на внедрение качественно новых продуктов и технологических процессов.

Таким образом, «новая» промышленная политика фактически может интерпретироваться как *политика поддержки конкурентоспособности конкретных компаний* — в отличие от традиционной промышленной политики, которая была ориентирована в первую очередь на поддержку приоритетных отраслей экономики.⁸ При этом, в соответствии с логикой «новой» промышленной политики, ее приоритеты должны формулироваться таким образом, чтобы не подменять деятельность частного сектора, а создавать условия для полного использования его потенциала. В этом также заключалось важное отличие от традиционной модели промышленной политики, в рамках которой использование нерыночных методов (вплоть до национализации отраслей и реализации в них государственных инвестиционных проектов) рассматривалось в качестве легитимного средства достижения поставленных целей.

Наиболее влиятельными концептуальными платформами для разработки рекомендаций в русле «новой» промышленной политики стала концепция «самораскрытия» Р. Хаусмана и Д. Родрика,⁹ а также концепция *кластерного развития*.

Согласно концепции «самораскрытия» (self-discovery), условия максимизации темпов экономического роста состоят в корректной идентификации сравнительных преимуществ, позволяющих достичь высоких стандартов конкурентоспособности в обслуживании конкретных рыночных ниш, и в устранении барьеров, препятствующих использованию соответствующих преимуществ. Наличие эффективных институтов, доступ к современным технологиям и знания эконо-

⁸ Тарр Д. Г. Промышленная политика, способствующая конкурентоспособности в условиях глобальной экономики // Тарр Д. Г. (ред.). Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: Руководство. М.: Весь мир, Институт Всемирного Банка, 2006, с. 161–161; Devine P., Katsoulacos Ya. and Sugden R. (eds.). *Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy*. NY: Routledge, 1996. См. также Lazzarini S. G. *Strategizing by the Government: Can Industrial Policy Create Firm-Level Competitive Advantage?* // *Strategic Management Journal*, 2015, v. 36, no. 1, p. 97–112.

⁹ Hausmann R., Hwang J. and Rodrik D. *What Your Exports Matter* // *Journal of Economic Growth*, 2007, v. 12, no. 1, p. 1–25; Hausmann R. and Rodrik D. *Economic Development As Self-Discovery* // *Journal of Development Economics*, 2003, v. 72, no. 2, p. 603–633. Главным популяризатором данных идей является Д. Родрик, претендовавший одно время на роль ведущего идеолога «новой» промышленной политики (Rodrik D. *Industrial Policy in the Twenty-First Century*. John F. Kennedy School of Government Paper for UNIDO, September 2004; Rodrik D. *Trade and Industrial Policy Reform*. In: H. Chenery and T. N. Srinivasan (eds.). *Handbook of Development Economics*. NY: Elsevier, 1995. Vol. 3, p. 2925–2982).

мических субъектов о потенциальных экономических возможностях, обусловленных характером сравнительных преимуществ, рассматривались в качестве ключевых предпосылок успешного «самораскрытия» страны, т. е. нахождения ею своей «ниши» в мировой экономике на основе оптимальной структуры экономической специализации. Очевидно, что при такой постановке вопроса задачи промышленной политики сводятся к созданию благоприятного делового климата, формированию эффективной системы экономических и правовых (защита прав собственности) институтов, а также развитию необходимой инфраструктуры (в той мере, в какой эта задача не может быть решена за счет частных инвестиций). Однако такая «максимально либеральная» версия промышленной политики так никогда и не стала по-настоящему влиятельной. Даже на пике популярности «новой» промышленной политики большинство экспертов и подавляющее большинство практиков признавали за промышленной политикой более активную роль, выходящую за рамки формирования благоприятного бизнес-климата и предполагающую также *создание стимулов для развития* тех видов хозяйственной деятельности, где данная страна или регион имеют потенциальные сравнительные преимущества.¹⁰

В этом отношении более реалистичным направлением развития концептуальных основ «новой» промышленной политики стал *кластерный подход*. Отправным пунктом его разработки стало понятие промышленного кластера, под которым понимается группа «географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга», функционирующая как «система взаимосвязанных фирм и институтов, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих составных частей».¹¹ В работах, развивающих кластерный подход, часто присутствуют уточнения и дополнительные спецификации понятия кластера, однако все они акцентируют внимание на том обстоятельстве, что географическое соседство и тесное взаимодействие между хозяйствующими субъектами обеспечивает им дополнительные конкурентные преимущества, которые не могут быть реализованы в случае «автономной» работы этих субъектов вне кластера.¹²

¹⁰ См. Дынкин А.А., Куренков Ю.В., Петров В.К. и др. Промышленная политика: опыт зарубежных стран. В кн.: Современная промышленная политика России. Мировой опыт. Выпуск 3. М.: РСПП, 2004, с. 153–305.

¹¹ Портер М. Конкуренция. М.: Издательство «Вильямс», 2003, с. 207, 275.

¹² Nathan M. and Overman H. Agglomeration, Clusters, and Industrial Policy // Oxford Review of Economic Policy, 2013, v. 29, no. 2, p. 383–404; Karlsson Ch. (ed.). Handbook of Research

В свою очередь, анализ источников соответствующих конкурентных преимуществ опирается на анализ агломерационных эффектов, традиционно подразделяемых на две категории.¹³ *Эффекты локализации* связаны с взаимодействием между компаниями взаимосвязанных отраслей, функционирующих на рассматриваемой территории, в то время как т. н. *эффекты урбанизации*, или общие эффекты пространственной концентрации, относятся ко всем фирмам или отраслям в конкретном местоположении и ведут к возникновению крупных промышленных регионов и городских агломераций.

Задачами промышленной политики в этих условиях являются:

- (1) корректная идентификация значимых агломерационных эффектов применительно к конкретным территориям и отраслям;
- (2) выбор конкретных инструментов поддержки кластерного развития в зависимости от (а) характера идентифицированных агломерационных эффектов и (б) стадии жизненного цикла рассматриваемого кластера.

По критерию стадий жизненного цикла различают следующие виды кластеров:

- (1) *функционирующие*, в которых реализуется потенциал агломерационных эффектов и генерируется более высокий экономический эффект, чем это могли бы «поодиночке» сделать входящие в них компании;
- (2) *латентные*, в которых существуют возможности реализации агломерационных эффектов, однако эти возможности в полной мере не задействованы;
- (3) *потенциальные*, применительно к которым имеют место некоторые предпосылки для возникновения агломерационных эффектов и складывания полноценных кластеров, однако отсутствуют благоприятные факторы их развития.

С точки зрения международного опыта промышленной политики, направленной на поддержку кластерного развития, условия ее успеха заключаются в *стимулировании перехода латентных кластеров в категорию функционирующих*, а также в *идентификации перспективных потенциальных кластеров*, по отношению к которым могут быть активированы агломерационные эффекты и устранены экономические и институциональные препятствия на пути кластерного развития.

on Cluster Theory. Chaltenham: Edward Elgar, 2008; Andersson Th., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Wise Hansson E. The Cluster Policies Whitebook. Malmö: IKED, 2004.

¹³ Beaudry C. and Schiffauerova A. Who's Right, Marshall or Jacobs? The Localization versus Urbanization Debate // Research Policy, 2009, v. 38, no. 2, p. 318–337.

Одним из направлений эволюции кластерного подхода в последние годы стало развитие *кластерно-сетевых концепций*, подчеркивающих значение формирования международных цепочек добавленной стоимости.¹⁴ В то же время, как исследователям, так и практикам с течением времени становилось очевидным, что теоретические аргументы в пользу кластерной политики (и тем более практические шаги в данной сфере) далеко не всегда укладываются в рамки мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и создания базовых предпосылок для реализации агломерационных эффектов.¹⁵ Более того, сама по себе ориентация на повышение конкурентоспособности часто требует решения ряда частных, но от этого не менее сложных задач, причем альтернативные стратегии повышения конкурентоспособности могут вести к различным экономическим и социальным эффектам. Совокупность перечисленных обстоятельств обусловила поиск новых приоритетов промышленной политики, иногда подчиненных, а иногда — равноценных «базовому» приоритету повышения конкурентоспособности.

Промышленная политика «новых приоритетов»

Переходя к рассмотрению промышленной политики «новых приоритетов», с самого начала следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, в строгом смысле слова ее следует рассматривать как «продвинутый» вариант «новой» промышленной политики, в рамках которого параллельно с целью повышения конкурентоспособности ставятся конкретные задачи, обеспечивающие ускорение темпов экономического развития. Такая эволюция явилась следствием общей неудовлетворенности размытостью приоритетов, характерной для «новой» промышленной политики. Действительно, принцип «Поддержки достойно все, что содействует росту конкурентоспособности» на практике оказался весьма неоперациональным, не позволяя ни разрабатывать четкие критерии определения «проектов, содейству-

¹⁴ Смородинская Н. В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу. М.: ИЭРАН, 2015.

¹⁵ The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008; Warwick K. and Nolan A. Evaluation of Industrial Policy: Methodological Issues and Policy Lessons // Report on the findings of the Expert Group on the Evaluation of Industrial Policy overseen by the OECD Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship. Paris: OECD, 2015 (<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/IND%282014%293/FINAL&docLanguage=En>).

ющих росту конкурентоспособности», ни, что важнее, сопоставлять соответствующие проекты, предлагаемые к реализации в различных секторах экономики. Во-вторых, новыми рассматриваемые приоритеты являются прежде всего по отношению к отраслевым приоритетам традиционной модели промышленной политики. При общем консенсусе относительно необходимости наполнения промышленной политики конкретными приоритетами сторонники возврата к отраслевым приоритетам и протекционистским мерам поддержки национальных производителей на сегодняшний день остаются в безусловном меньшинстве.¹⁶

В качестве ключевых «новых приоритетов» промышленной политики на сегодняшний день можно выделить два:

- создание производительных рабочих мест,
- стимулирование технологического развития в контексте задач, предполагающих создание и освоение новых рынков.

Хотя сами по себе задачи, связанные с поддержкой создания рабочих мест и развитием новых технологий, являются стандартными для экономической политики, заслугой промышленной политики «новых приоритетов» является их разворот в сторону критериев, связанных с оценкой вклада в рост конкурентоспособности национальных компаний (рост производительности, расширение доли на перспективных рынках). Во многом такой разворот стал реакцией на вызовы, обусловленные формированием новой *модели роста в мировой экономике*.¹⁷ Соответствующие вызовы, сложившиеся к середине 2000-х гг. и резко обострившиеся в период глобального кризиса, связаны прежде всего с двумя группами факторов. К ним относятся:

- меняющаяся глобальная демографическая ситуация, характеризующаяся старением населения в экономически развитых странах и сокращением притока дешевой рабочей силы на рынки труда развивающихся стран,
- рост конкуренции за сырьевые ресурсы в мировой экономике, стимулирующий инвестиции в разработку новых видов и источников сырья, ресурсосберегающих технологий и технологий альтернативной энергетики.

¹⁶ Примером безуспешных попыток возродить интерес к традиционной промышленной политике являются публикации Э. Райнерта: Reinert E.S. The Role of the State in Economic Growth // Journal of Economic Studies, 1999, v. 26, no. 4/5, p. 268–326; Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.

¹⁷ Подробнее см.: Афонцев С. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и международные отношения, 2014, № 2, с. 3–12.

Под действием данных факторов как структурные, так и динамические характеристики развития мировой экономики претерпевают изменения. В частности, в ближайшие десятилетия будет *радикально снижаться роль дешевой рабочей силы как сравнительного преимущества стран в мировой экономике*. Именно дешевая рабочая сила обеспечила радикальный прорыв стран Восточной и Юго-Восточной Азии в число лидеров по темпам экономического роста во второй половине XX в. — первом десятилетии XXI в. Постепенное повышение зарплат и завершение демографического перехода в соответствующих странах будет способствовать размыванию их преимуществ, а повторить их успех другим развивающимся странам будет крайне сложно ввиду общего сдвига к использованию экономичных капиталоемких технологий (замещение труда капиталом), а также неблагоприятных институциональных условий в наиболее трудонаделенных странах (страны Африки, беднейшие страны Азии).

В свою очередь, *в экономически развитых странах сдвиг в пользу использования капиталоемких технологий и повышения качества человеческого капитала* обуславливается изменением возрастной структуры населения в сторону старших когорт. Попытки компенсировать убыль рабочей силы за счет иммиграции представляют собой паллиатив, мало перспективный экономически (приток мигрантов из стран «третьего мира» не позволяет компенсировать дефицит квалифицированной рабочей силы) и чреватые острыми социально-политическими конфликтами (ввиду роста социальной, религиозной и расовой неоднородности общества). Что касается *использования сырьевых ресурсов*, то снижение ресурсоемкости глобального ВВП и разработка технологий, ориентированных на замещение сравнительно дорогих ресурсов (и их источников) более дешевыми приводит к тому, что развитие мировой экономики будет сопровождаться общим повышением объема использования ресурсов без достижения «физических» пределов их доступности (в смысле исчерпания запасов или возникновения острого дефицита отдельных видов сырья на мировом рынке).

Можно констатировать, что новые приоритеты промышленной политики гармонично соответствуют задачам, связанным с переходом мировой экономики к новой модели роста.¹⁸ С одной стороны, акцент на создании высокопроизводительных рабочих мест отражает повы-

¹⁸ Dhéret C. and Morosi M. Towards a New Industrial Policy for Europe // European Policy Centre Issue Paper No. 78, November 2014; Warwick K. Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2013, No. 2; Nübler I. Industrial Policies and Capabilities for Catching Up: Frameworks and Paradigms // International Labour Organization, Employment Working Paper No. 77, July 2011.

шение роли человеческого капитала в экономически развитых странах и ведущих странах с развивающимися рынками. С другой стороны, поддержка развития новых технологий, обеспечивающих создание и освоение новых рынков, в современных условиях оказывается максимально ориентированной на ресурсосбережение и замещение труда капиталом и одновременно создает новые возможности для развития спроса на квалифицированный труд.

Характерным примером соответствующих тенденций является использование мер промышленной политики для поддержки развития «зеленых технологий», направленных на ресурсосбережение, уменьшение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, а также общее снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.¹⁹ При этом примечательно, что страновые приоритеты поддержки внедрения «зеленых» технологий отражают специфику состояния рынков факторов производства в соответствующих странах: в развитых экономиках — это, прежде всего, создание новых рабочих мест, в ведущих странах с развивающейся экономикой — повышение эффективности использования ресурсов, в «менее успешных» развивающихся странах — повышение доходов беднейшей части населения.²⁰ Таким образом, характер реализации новых приоритетов промышленной политики оказывается напрямую связан с задачами (и возможностями) встраивания соответствующих стран в формирующуюся новую модель роста мировой экономики.

Существенно, что с началом глобального экономического кризиса приоритеты создания производительных рабочих мест и поддержки технологического развития не только не были отложены, но и приобрели дополнительную актуальность. Они были активно востребованы в период реализации срочных антикризисных мероприятий в 2008–2009 гг.,²¹ затем стали играть заметную роль в стратегиях преодоления последствий кризиса и выхода на траекторию устойчивого экономиче-

¹⁹ Lütkenhorst W., Altenburg T., Pegels A. and Vidican G. Green Industrial Policy: Managing Transformation under Uncertainty // Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Discussion Paper no. 28/2014, 2014; Aiginger K. The 'Greening' of Industrial Policy, Headwinds and a Possible Symbiosis // WWForEurope Policy Paper no. 3, April 2013; Hahnel R. Green Economics: Confronting the Ecological Crisis. New York: M. E. Sharpe, 2010; Cato M. S. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. London: Earthscan, 2009.

²⁰ См. Порфирьев Б. «Зеленая экономика»: реалии, перспективы и пределы роста // Рабочие материалы Центра Карнеги, март 2013, с. 8.

²¹ Н. И. Иванова, В. В. Иванов (ред.). Инновационная политика. Россия и мир, 2002–2010. М.: Наука, 2011; С. А. Афонцев, Н. И. Иванова, И. С. Королев (ред.). Международный опыт антикризисной политики: уроки для России. М.: ИМЭМО РАН, 2009; Данилин И. В. Трансформация модели государственной научно-технической политики США: от Дж.Буша-ст. до Б.Обамы. М.: Идея-Прогресс, 2009.

ского роста²², а в настоящее время получили дополнительный импульс в контексте идей и инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности национальных и региональных экономик (включая быстро завоевавший популярность, хотя и небесспорный концепт «Индустрии 4.0»²³, а также еще более неоднозначные инициативы президента США Д. Трампа по созданию стимулов для «решоринга» производственных мощностей, ранее перенесенных американскими компаниями в развивающиеся страны). Все это заставляет рассматривать промышленную политику новых приоритетов в качестве модели, доминирующей как в современных дискуссиях, так и в практических решениях по соответствующим вопросам.

Какая промышленная политика нужна России?

В силу особенностей своей экономической и особенно политической системы Россия, в отличие от большинства развитых стран и ведущих стран с развивающейся рыночной экономикой, до сих пор сохраняет выраженные рудименты традиционной промышленной политики. В 2010–2013 гг. наметился ряд сдвигов в пользу модели в сфере разработки предложений, направленных на создание высокопроизводительных рабочих мест и технологически динамичных рыночно ориентированных производств.²⁴ Однако начиная с 2014 г. приоритеты промышленной политики резко развернулись «назад в прошлое»: вопросы производительности и конкурентоспособности отошли далеко на второй план, а первоочередное значение в глазах правительства приобрели задачи форсированной поддержки импортозамещающих производств. Хотя принятый в конце 2014 г. Закон о промышленной политике в Российской Федерации закрепил в качестве одного

²² Dhéret C. and Morosi M. Towards a New Industrial Policy for Europe // European Policy Centre Issue Paper no. 78, November 2014; Pellegrin J., Giorgetti M.L., Jensen C. and Bolognini A. EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies. Report for the European Parliament's Committee on Industry Research and Energy, February 2015.

²³ Характерным примером является реализуемая в ЕС инициатива создания Единого цифрового рынка (SingleDigitalMarket), призванная содействовать росту конкурентоспособности европейской экономики за счет интенсивного внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в производственные процессы (Commission Outlines Next Steps Towards a European Data Economy // European Commission. Press release. 10.01.2017; подробнее см. https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en).

²⁴ Стратегия России — 25 миллионов новых современных рабочих мест. М.: Деловая Россия, 2011.

из ключевых приоритетов промышленной политики «обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции»²⁵, первые практические шаги по его реализации однозначно укладывались в рамки традиционной модели промышленной политики. Наиболее яркое отражение эта тенденция нашла в Отраслевых планах по импортозамещению, принятых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в начале 2015 г.²⁶ В соответствии с этими планами, к 2020 г. было намечено обеспечить радикальное (по отдельным позициям — на 50 и более процентных пунктов) снижение рыночной доли импорта по более чем 2000 видам продукции. Вопрос об источниках повышения конкурентоспособности соответствующей продукции при этом повисал в воздухе.

На сегодняшний день можно констатировать, что результаты политики импортозамещения в России оказались разочаровывающими. Она не смогла обеспечить значимый прирост промышленного выпуска даже в тех отраслях, которые в условиях санкционного противостояния с ведущими экономически развитыми странами получили высокий уровень защиты от импорта. В частности, в сфере производства продовольственных продуктов, получившей максимальную поддержку как за счет введенного в августе 2014 г. эмбарго на поставки из стран, применяющих экономические санкции против Российской Федерации, так и за счет реализации отраслевых стимулирующих программ на федеральном и региональном уровне, прирост выпуска оказался минимальным (на 2,0% в 2015 г. и 2,4% в 2016 г.). Данный результат полностью вписывается в общую картину накопленного к настоящему времени мирового опыта поддержки импортозамещения, которое никогда не приносило значимых позитивных результатов в кризисных условиях.²⁷ Ситуацию усугубило резкое укрепление ва-

²⁵ «Промышленная политика — комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции» (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», ст. 3).

²⁶ Оформлены Приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.03.2015 и 02.04.2015.

²⁷ Обзор соответствующего опыта см. В работах: Perkins D. H. East Asian Development: Foundations and Strategies. Cambridge: Harvard University Press, 2013; Mukherjee S. Revisiting the Debate over Import-Substituting versus Export-Led Industrialization // *Trade and Development Review*, 2012, v. 2, no. 1, p. 64–76; Silva E. The Import-Substitution Model: Chile in Comparative Perspective // *Latin American Perspectives*, 2007, v. 34, no. 3, p. 67–90; Yanikaya H. Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation // *Journal of Development Economics*, 2003, v. 72, no. 1, p. 57–89; Burton H. J. A. Reconsideration of Import Substitution // *Journal of Economic Literature*, 1998, v. 36, no. 2, p. 903–936.

лютного курса рубля (номинальный курс доллара США к концу марта 2017 г. упал на 33,6% по сравнению с максимальными значениями января 2016 г.), радикально подорвавшее ценовую конкурентоспособность импортозамещающей продукции на внутреннем рынке.

При этом качество импортозамещающей продукции (как потребительского, так и продовольственного назначения) во многих случаях также оказывается неудовлетворительным. В частности, результаты многочисленных обследований рынков продовольственной продукции, проводившихся официальными органами и обществами защиты прав потребителей в течение 2015–2016 гг., выявили наличие крайне высокой (до 80%, иногда выше) доли продукции, не соответствующей стандартам качества.²⁸ В свою очередь, по данным промышленных опросов, более половины отечественных компаний указывают на отсутствие в линейке импортозамещающей продукции оборудования и сырья, которые они готовы были бы использовать в своем производственном процессе²⁹

На фоне фактического провала политики импортозамещения дискуссии по вопросам промышленной политики в России сфокусировались на двух основных сюжетах. Первый из них связан с изысканием дополнительных финансовых ресурсов для реализации крупномасштабных приоритетных проектов, призванных «вытянуть» экономику из кризиса, второй — с поисками путей поддержки проектов, ориентированных на обслуживание емких внешних рынков.

Существенно отметить, что само по себе повышение масштабов инвестиционной активности отнюдь не гарантирует получение позитивного экономического результата. Международные сопоставления свидетельствуют, что по показателю нормы накопления (доля валового накопления основного капитала в ВВП страны) Россия выглядит вполне респектабельно в сравнении как с экономически развитыми странами, так и с некоторыми ведущими развивающимися экономиками (см. табл. 1). При этом сама по себе высокая норма накопления не гарантирует высоких темпов роста. Среди стран с развивающимися рынками есть как успешные примеры обеспечения экономического роста при доле инвестиций в ВВП на уровне порядка 20–25% (например, Бразилия и Турция, где норма накопления

²⁸ См., в частности: «Большая часть российских сыров фальсифицирована» // Коммерсантъ, 01.10.2015 (<http://kommersant.ru/doc/2822437>); «Обман по ГОСТу: крахмальные реки в колбасных берегах» // Росконтроль, 9.03.2016 (<https://roscontrol.com/journal/tests/krahmalnie-reki-v-kolbasnih-beregah/#>).

²⁹ Цухло С. В. Импортозамещение: мифы и реальность // Ежегодный доклад Франко-русского центра Обсерво, 2016, с. 92–103.

в 2010 г. и 2015 г. была ниже российской), так и примеры очевидных «провалов развития» при существенно более высоких значениях этого показателя. Так, норма накопления в Бангладеш (28,6%) и Буркина Фасо (32,0%) была существенно выше российского уровня (причем Буркина Фасо за последнюю четверть века повысила этот показатель почти в 2 раза), но ощутимого влияния на успехи в сфере экономического развития это не оказало. При всей убедительности макроэкономических моделей, показывающих позитивное влияние инвестиций на экономический рост, характер этого влияния далеко не линеен.³⁰

Таблица 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, %

	1990	2000	2010	2014
Мир в целом	23,9	23,4	22,9	23,3
Развитые страны	24,2	23,1	20,1	20,6
в т.ч. США	21,2	23,0	18,0	19,5
ЕС	23,7	22,3	20,1	19,4
Южная Корея	34,4	31,6	30,5	29,2
Канада	21,8	19,7	23,5	23,8
Австралия	27,7	26,0	27,7	27,3
Страны с развивающимися рынками	23,4	23,9	29,7	29,9
в т.ч. Российская Федерация	28,7	16,9	21,6	21,4
Китай	25,7	33,9	44,9	44,3
Индия	23,8	22,7	30,9	30,8
Бразилия	20,7	18,3	20,5	20,2
Турция	22,9	20,4	18,9	20,1
Малайзия	33,0	25,3	22,4	26,0
Бангладеш	16,5	23,8	26,2	28,6
Буркина Фасо	17,7	21,2	24,5	32,0

Источник: *The World Bank. World Development Indicators Database.*

³⁰ Lifting Investment for Higher Sustainable Growth // OECD Economic Outlook, 2015, no. 1, p. 205–279; The Emerging Pattern of Global Investment. In: Capital for the Future: Saving and Investment in an Interdependent World. Washington, D.C.: TheWorldBank, 2013, p. 17–59.

В то же время нельзя отрицать, что в целом по меркам стран с развивающимися рынками российский показатель достаточно скромен. Более того, очевидно отставание и от ряда экономически развитых стран — причем не только высокотехнологичной Южной Кореи, но и Канады и Австралии, чей сырьевой потенциал дает обильную пищу для сравнений с российской экономикой. С учетом этого повышение нормы накопления в среднесрочном периоде может рассматриваться в качестве вполне оправданного приоритета, достижение которого будет способствовать созданию благоприятных условий для выхода российской экономики на устойчиво высокие темпы роста в среднесрочной перспективе.

Однако к решению данной задачи следует подходить с осторожностью. Хотя реализация масштабных проектов в духе традиционной модели промышленной политики может дать позитивные плоды благодаря кейнсианским эффектам расширения совокупного спроса, расплачиваться за это скорее всего придется снижением эффективности использования экономических ресурсов. Амбициозно сформулированные приоритеты в данном случае вряд ли помогут, более того — с высокой степенью вероятности приведут к растрате ресурсов на проектерские инициативы, привлекательные на уровне политических лозунгов, но не имеющие значимых экономических перспектив.³¹ С учетом существенного отставания российской экономики по показателям производительности труда и совокупной производительности факторов, в текущих условиях первоочередное значение имеет радикальное *повышение качества инвестиций*, ориентированных на рост конкурентоспособности отечественной продукции. В этом отношении произошедший в 2016 г. разворот правительства в сторону поддержки экспортной деятельности российских компаний³² является важным шагом в правильном направлении — ведь развитие экспорта по определению предполагает реализацию проектов, направленных

³¹ Характерным примером из недавнего прошлого является выбор нанотехнологий в качестве одного из приоритетов технологического развития. Полезно напомнить, что в соответствии с принятой 14.11.2008 г. Стратегией экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 г. на третьем этапе ее реализации (в 2016–2020 гг.) «предусматривается формирование регионального рынка нано- и пикоиндустрии, что будет способствовать сохранению и развитию наукоемких отраслей экономики, реализации научно-технического и образовательного потенциала государств — участников СНГ для обеспечения к 2020 году их ведущих позиций на мировом рынке по некоторым видам высокотехнологичной продукции». Реалистичность такого рода приоритетов в комментариях не нуждается.

³² В частности, в конце ноября 2016 г. был утвержден паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», заказчиком которого выступило Министерство экономического развития России.

на повышение эффективности хозяйственных операций и качества выпускаемой продукции, вступающей в острую конкуренцию с зарубежными аналогами на внешних рынках.

В то же время задачами поддержки экспорта потенциальные приоритеты промышленной политики отнюдь не исчерпываются. При всей важности экспортных рынков (особенно в сегментах, где внутренний спрос незначителен), спектр новых приоритетов промышленной политики в России гораздо шире — от поддержки «точечных» проектов повышения эффективности производственных мощностей в конкретных отраслях и регионах до создания благоприятных условий для масштабных проектов включения российских компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости (а в идеале — создания таких цепочек под эгидой ведущих российских компаний). При этом государственная поддержка соответствующих проектов должна быть обусловлена четкими критериями роста эффективности (например, в терминах достижения конкретных ориентиров повышения производительности труда, ресурсо- и энергоэффективности). Эти критерии целесообразно закреплять в рамках формальных соглашений между инвестором и государством, предусматривающих, что выполнение оговоренных условий позволяет претендовать на поддержку, а их невыполнение влечет за собой ее отзыв. Переход к использованию соответствующих принципов будет способствовать долгосрочному повышению конкурентоспособности российских компаний, не зависящему от таких переменных факторов, как динамика мировой конъюнктуры или колебания валютного курса. В конечном итоге это принесет гораздо больше пользы российской экономике, чем очередные попытки возврата к пахнущим нафталином старомодным образцам традиционной промышленной политики.

ЛЕКЦИИ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕОНТЬЕВСКОЙ МЕДАЛИ 2016 ГОДА «ЗА ВКЛАД В РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ»

I. Mikloš

The End of Economic Liberalism?

The main objective of any state should be to improve the quality of life of its citizens. This means convergence of real per capita income with the rich countries, lowering poverty, promoting equal opportunities and providing access to the high-quality public services like healthcare and education.

From an economic point of view the most important precondition for achieving this goal is high and sustainable economic growth. This means a certain rate of growth is maintained without generating imbalances or excessive negative externalities in other spheres. There is no contradiction between economic growth and human or environmental development. It is clear from many countries that high economic growth also creates solid conditions for a cleaner environment and better social services. Sustainable economic growth depends on constant improvements in productivity and more efficient use of resources and innovation. The idea is not to work harder but to work smarter, producing more value per hour of work.

The best way to achieve sustainable growth is to promote economic freedom. It has been widely documented that countries, which allow their citizens more economic freedom reach higher incomes and better standards of living. People in economically free societies live longer and have better health. Nations with high degrees of economic freedom prosper because such systems promote efficient allocation of resources, creation of value and adoption of innovations.

There are only a few examples of countries that were poor but became rich in the recent decades and even fewer countries that were rich and became poor. The first group includes South Korea, Singapore, Hong Kong and Ireland. The second group includes Argentina and Czechoslovakia during communism. The most important reason why these countries did or did not develop was their level of economic and political freedom. While countries

in the first group significantly increased their economic freedom, countries in the second group did exactly the opposite. Europe's communist regimes were based on the absence of political and economic freedom and this was the main reason for their eventual collapse. The post-communist transitions also offer proof of the importance of economic freedom. Countries that implemented extensive economic reforms to promote economic freedom achieved much better results in converging towards the western European levels. The most successful countries were the ones with the most ambitious reforms (Baltic countries, Poland and Slovakia). The least successful countries (such as Slovenia and Hungary) showed less courage in undertaking of reforms.

Economic freedom consists of three basic components:

- Empowerment of individuals and businesses
- Open competition
- Non-discrimination

In an economically free society each person or firm has a fair chance to succeed and success or failure depends primarily on merits and efforts. In an economically free society allocation of resources is based on open competition, while the government promotes equal opportunity for all. The relationship between individuals and the government is at the core of the concept of economic freedom. The state has a dual role in promoting economic freedom. On one hand, the state should minimize coercion and constraints. On the other hand, the state should ensure proper protection of citizens from natural disasters, external aggression and predatory behaviour by one societal group against another.

In promoting economic freedom, state authorities must be guided by five fundamental principles:

1. Primacy of the rule of law
2. Protection of property rights
3. Zero tolerance to corruption
4. Free and fair competition
5. Small but effective state

The rule of law means that all citizens, including lawmakers, government officials and the President are governed by law and not by arbitrary decisions of the state officials. In a narrow sense, the rule of law is defined as a proper enforcement of existing laws and rules. A broader definition sees the rule of law as a multi-dimensional concept embracing personal security and property rights, checks and balances on government as well as control over corruption. All dimensions are deeply linked to the principle of justice.

A fair and independent justice system and prosecution office, free from influence of executive power, is a key prerequisite for establishing the rule of law.

Property rights provide for the exclusive authority of an individual or firm to determine how to use available resources. This means the right to delegate, sell or rent any portion of property (real or intellectual) and maintain subsequent profit. Property rights need to be clearly defined and well protected. This gives economic agents confidence and motivates them to engage in entrepreneurial activity, save and invest, because they know that their income, savings, and property are safe from unfair expropriation or theft. Adequate property rights promote fair competition. A key aspect of property rights is the enforcement of contracts, which again hinges on an autonomous, transparent and effective judicial system.

Corruption is misuse of public power for private gain or enrichment. Corruption can take many forms, including bribery, nepotism, cronyism, embezzlement and graft, and can spread to all parts of the economy. It distorts incentives and decision-making processes, imposes extra costs on private business and increases income inequalities. This, in turn, negatively affects private entrepreneurship, reduces investment and ultimately hinders long-term sustainable growth. The prevalence of corruption strongly correlates with the degree of government intervention in economic activity, as excessive government regulation provides opportunities for bribery or graft. At the same time, transparency and openness are crucial in dealing with corruption.

Open and fair competition allows resources to be used in the best way in the provision of goods and services. It motivates firms to make production processes more efficient, to increase quality and to adopt better technology and innovation. Thus, competition promotes productivity improvements, contributing to sustainable economic growth and reducing poverty. Competitive markets are characterized by a level playing field for all participants, low entry and exit barriers and effective antimonopoly legislation enforced by a strong and independent antimonopoly office and aimed at preventing big business from dominating markets. It also means transparent and open public procurement and license procedures, non-discriminatory conditions on the labour market etc. Conversely, excessive regulations, administrative controls and dominance of state-owned firms hinder competition.

Small but effective state means that state is providing only necessary functions in most effective and consistent way. It means particularly:

- Creation and enforcement of the rule of the game
- Public goods
- Free and fair competition protection
- Externalities
- Information asymmetry

The most illustrative indicator of the government size is share of public expenditures to GDP. There are clear and empirical evidences that countries with small and effective state grow much quicker than states with big government and high public expenditures.

Reform experience of other countries

There is much empirical evidence that reforms based on strengthening economic freedom lead to successful outcomes. Data also shows that for an underdeveloped and resource poor country it is impossible to successfully converge without broad and comprehensive reforms boosting economic freedom. All countries that were poor and caught up with richer peers did so thanks to such reforms and all countries that lost ground fell behind because they imposed economic policies that limit economic freedom.

Singapore had 20% of the US level of GDP 50–60 years ago (measured by the GDP/cap in PPP). The corresponding figures for Hong Kong and Ireland were 30% and 50%, respectively. Each of these three countries today has higher GDP than the US. They are also among the freest economies thanks to decades of reforms. In 1910 Argentina was one of the most economically developed countries in the world (7th place by GDP/cap), today it is somewhere between 70–80th. Average growth of GDP/cap in Argentina during the last 100 years was only 1.7% yearly, while in Ireland for instance it was 7%.

Ireland

Ireland entered the European Union in 1973 but for the long time was the group's poorest state. The country has a history of mass emigration; today there are almost ten times more people of Irish descent living abroad than there are actual inhabitants of Ireland. The turning point came in 1987 when the government started economic reforms. Taxes were decreased (corporate income tax came from 50% to 12.5%), the business environment was improved, public finances were consolidated and Ireland became extremely successful in attracting foreign direct investment, particularly from the US.

Economic freedom was also strengthened by a significant reduction of redistribution. In 1987 public expenditure was 52% of GDP and in 2005 it was 35%. This did not mean less money for public services because record high economic growth brought much more money to the public sector than before.

Thanks to reforms Ireland turned itself from the poorest country in the EU to the second most economically developed (by GDP/cap; after Luxembourg). While average growth between 1973–1987 was 3.3%, between 1987–2007 it stood at 8.7%. A national real estate bubble blew up in 2008 but after low growth until 2013 the Irish economy has again become one of the continent's fastest growing (8,5 % in 2014) and has regained its place as the 2nd most economically developed in the EU (after Luxembourg).

Sweden

Sweden is often referred to as an example of the success of a “socialist” country. This is simply not a true. Sweden is, like other successful countries, evidence that reforms based on liberal approach work. Historic data shows that from 1890 until 1950 Sweden had one of the highest levels of economic growth in the world. Average economic growth was 5.6% yearly during that period of 60 years. Other developed European countries (Belgium, France, Germany, UK, Holland, Norway, Finland and Denmark) achieved only 1.4% average growth. As result of this, Sweden rose from a GDP level of 60% of this comparison group in 1890 to 140% in 1950. The main reason for this success was liberal reforms during the 1870's and 1880's. The economic system established at that time survived during the following decades. In 1950, for instance, Sweden had only 20% tax revenues as share of GDP, less than the US.

Economic freedom was then slowly reduced by increasing taxes and redistribution. Sweden still grew, but relatively slower than the comparable countries. Between 1950–1990 Sweden's average growth was 3.8% while western European countries' growth equalled 5.9%.

From the 1990's onwards Sweden again reformed its economy. Taxes and redistribution were partially reduced but they are still relatively high in the international context. Other steps were very important like labour market liberalization, pension and education reform and public services deregulation and commercialization.

Sweden has world leading protection of property rights and low corruption, one of the most efficient business environment and very free and open trade, investment and financial markets. Average growth in Sweden was 2.2% between 1990–2010, while in the comparable countries it stood at 1.5%. During last 10 years, between 2005–2015 Swedish average growth was 1,8% while in the group of the comparable countries it was only half (0,9%).

Transition countries

In principle, the general rule applies — the more extensive the reforms, the faster the subsequent growth. In terms of recent convergence, the top performers were six countries — Poland, three Baltic States (Latvia, Lithuania and Estonia), Romania and Slovakia. In the period of 2004–2015, the average rate of convergence in these countries amounted to 21.2% of the EU-28 average. By comparison, in Slovenia it was minus 3% and Hungary achieved 7% convergence, respectively. It is no coincidence that compared with less successful countries, the top performers have a much higher level of economic freedom (for instance, a much lower share of public expenditure in GDP and a higher private sector share in the economy). While in quickly growing countries share of public expenditures to GDP varies from 35% to 42%, in Slovenia and Hungary it is around 50%.

In other words, economic policies based on liberalization, deregulation and privatization improve the business environment and make it attractive for domestic and foreign investment. This kind of policy brings higher economic growth, which in turn, entails faster convergence.

Slovakia

The Slovak reform story is proof that consistently implemented, sufficiently vigorous, deep and comprehensive reforms bring not only very impressive, but also relatively quick results.

At the end of the 1990s, Slovakia's situation was very difficult and its economy faced similar challenges as those faced by Ukraine today. Under Vladimír Mečiar's governments (1992–1998), the country sunk into international political and economic isolation. Foreign investment was almost non-existent, the industrial sector was obsolete, unstructured state-owned banks were on the verge of bankruptcy, natural monopolies and large industrial enterprises owned by the state were poorly managed and systematically stripped of their assets, employment was artificially maintained and privatisations were performed exclusively for the benefit of government cronies who paid only symbolic prices. The government became the key driver of corruption, insolvencies were on the rise, the government was unable to meet its obligations and had to borrow money at increasing interest rates, which eventually exceeded 25%. The country was excluded from the first wave of EU and NATO enlargement and did not gain membership of the OECD in the first round of its enlargement (unlike the Czech Republic, Poland and Hungary). Mečiar openly advocated Slovakia shift towards Rus-

sia. At that time, US Secretary of State Madeleine Albright called Slovakia a “black hole of Europe”.

A political turnaround began towards the end of 1998 with the advent of the first government of Mikuláš Dzurinda. By 2002, major negative inheritances of previous governments were eliminated, banks and natural monopolies were restructured and privatised and the country caught up with its neighbours from the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia) in the EU integration process. The government began macroeconomic stabilization and accelerated the reform process (EU *acquis communautaire*). The second government of Mikuláš Dzurinda (2002–2006) completed the macroeconomic stabilization and institutional reforms needed for EU integration and, in particular, implemented deep structural reforms. These included public finance reform, tax reform, fiscal decentralisation, social reform, pension reform, labour market reform and healthcare reform. Most of these reforms were drafted in 2003 and launched at the beginning of 2004. The World Bank declared Slovakia to be the most reform-minded country in the world. The country began to rapidly converge with the western European peers. In 2004–2008, when the rate of convergence with the EU-28 average was +1% for Hungary, +6% for the Czech Republic and +5% for Poland, Slovakia’s convergence rate stood at +14%. The reforms introduced under Dzurinda’s two governments, especially the second one, were the main driving force behind boosting Slovakia’s per capita GDP to a level comparable with the Czech Republic, even though at the time of the break-up of Czechoslovakia in 1993 it was only 62% of the Czech level. Many other factors demonstrate the ongoing success of ambitious reforms. While as recently as 2000 the S&P rating of Slovakia was four and three grades lower than those of the Czech Republic and Hungary, respectively, by 2005 Slovakia was accorded the highest rating of all V4 countries (one grade higher than the Czech Republic and Hungary, and two grades higher than Poland).

Between 2000 and 2008, the country recorded the highest rate of economic growth in Europe, reduced unemployment from 20% to less than 10%, cut the public deficit from 12.3% to 2.1%, reduced sovereign debt from more than 50% to 28% of GDP, and decreased the risk of poverty to 10.9% (the third lowest in the EU), while the share of public expenditure in GDP dropped from 51.2% to 35%. At that time, Slovakia had the largest inflow of foreign direct investment in the region.

Even though Slovakia was initially excluded from the first group of CEE countries that applied for EU membership, it not only joined the EU in the 2004 enlargement wave, but also became the second country of that group (after Slovenia) that joined the Eurozone, and remains the only V4 country

to do so. From a country that 25 years ago did not make a single car, Slovakia became the largest per capita car producer in the world.

Conclusions

Despite today's deviation from liberal system and reforms in many countries (Russia, Hungary, Poland) I am deeply convinced that liberal approach and liberal reforms are much more effective and it will be more and more visible that countries which will implement this kind of reforms will grow much quicker than countries building illiberal democracy and state capitalism.

Л. М. Григорьев

Различие целей и смена интересов актеров в ходе трансформации

Я искренне благодарен Комитету за то, что меня удостоили такой премии. Честно говоря, я думал, что именно эту медаль мне не дадут. Те, кто в курсе моей биографии, знают, что одна из первых работ по приватизации России была написана еще в 1991 году, но что я изначально был против массовой ваучерной приватизации по строго научным соображениям. Так что моя лекция сегодня — это результат локального чуда демократии — очень приятно и интересно. Я был в сложном положении как сравнительно коротко рассказывать о реформировании России. И решил поговорить о проблеме интересов участников трансформации — акторов как модно теперь говорить — о подходе, который я развил в журнале «Полития» в марте 2015 года: «ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИИ: ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДЛЯ ЭЛИТ?» (в конце этого доклада есть список основных моих работ по трансформации, и еще несколько выйдет в нынешнем году).

Есть общее представление о том, что в России мы многого не сделали, о чем только что упомянул предыдущий оратор, с более его счастливым случаем реформ в Словакии. Но мне кажется, что главное — это недостаточно ясный учет смены интересов основных игроков внутри страны, и не учет ситуации с внешними игроками. В этой статье я взял шесть акторов (игроков) и посмотрел их интересы в 1990, 1996 годах, в начале и конце 2000-х годов и так далее до 2014 года (примерно в 6 точках). Сложность трансформации самой и ее изучения состоит в том, что на каждом этапе акторы переопределяли свои интересы. Эти группы (слои) даже состав свой меняли, поэтому я даже использовал такие простые термины как интеллигенция, рабочие, поскольку на каждом этапе это были уже другие люди, но занимающие примерно то же место в обществе. И у них менялись интересы, менялось взаимодействие. Особенно тяжелым было воздействие транзитивного кризиса (минус 43% ВВП).

К сожалению, я не смогу за 30 минут показать даже ту логику, что есть в статье или в моих работах по российским реформам. Друзья, которые читали эту статью, говорили, что это больше похоже на техническое задание для исследования по нашему переходному

периоду. Дальше я буду показывать слайды, но развивать свои идеи более широко.

Принципы подхода

- Положение и интересы основного набора Акторов меняются на каждом переломе истории.
- Состав самих Акторов меняется (и быстро) от этапа к этапу – нет жесткого состава «команд».
- Акторы на старте: политический элиты; возникающие финансовые элементы; интеллигенция; трудящееся население; новый бизнес.
- Плюс внешние элиты с очень разными интересам.
- Динамический процесс – раз акторы меняют свои интересы от реалий и сами меняются, то по этапам идет и смена характера взаимодействия. Отсюда смена относительных мощностей и ролей.
- Опубликовано в «Полития» – март 2015...

Слайд 1

Начнем с того, что мы все-таки недооцениваем специфику нашей истории. Представьте себе болото с лесами где-то в IX-X веках, через которое плывут норманнские корабли, потому что они не хотят платить Константинополю, они ходят в Азию, постепенно выбивают местных князей, осаживаются надолго ... Мы иногда из почтения забываем, что Рюковичи – это нормальная для Европы того времени нормандская династия, как в Нормандии, потом в Англии и так далее. Потом умные византийцы подарили нам христианство, так что у нас даже есть Праздник Покрова по защите христианского города от наших предков-язычников. Мне кажется, что коварство константинопольских дворцовых интриг, сложности жизни имперской Византии (откуда и имперское раболепие), «брутальность» норманнов, длительное взаимодействие со Степью (печенеги — половцы и т.д.) формировали наших князей и дружины, их менталитет и национальную идентичность (включая былины) задолго до нашествия Батя.

В результате исторического воздействия и необходимости выживать на перекрестке больших дорог мы, конечно, приобрели значительное своеобразие. Наша история отличается, как сказали бы инвестиционные банкиры, на два-три «стандартных отклонения» от большинства европейских стран, хотя мы от христианского корня и с норманнской династией. Мы всегда были под очень интенсивным

внешним воздействием. В Англии после Вильгельма Завоевателя никто больше не высаживался с нашествием. У нас идея о том, что мы всегда отвечаем и во внутренних и во внешних отношениях, вечно придумываем что-то «асимметричное, но адекватное» — относится и к стране, и к нам лично. Но мы даже не подозреваем, до какой степени мы все хорошо приспособляемся, терпим, переделываем все приносное под себя. Мы себя недооцениваем, так же как мы недооцениваем специфику менталитета нашей страны.

Едва ли не главное — в нашей страненикогда не было скольконибудь устойчивого мира и безопасности. Напомню, что по Ключевскому веками 85 тысяч вооруженных ратников должны были стоять с апреля до октября на границе и охранять броды маленькой в общем лесной страны — тут недалеко верст 200 на Оке... Они не работали в поле, не участвовали в турнирах, хотя академик Ю.А. Пивоваров напомнил, что в Киев приезжали с Запада рыцари на турниры, но это, видимо, только в 11 веке и до Схизмы. Зато у нас тренировка армии шла каждый год — большие войны, затем маленькие, пограничные и так далее. У нас никогда не было «необстрелянных» офицеров. Здесь мир был только как короткие промежутки между большими войнами. И это отчасти причина, скажем, «нервной» реакции элит на внешние вызовы, а также фаталистической реакции населения на то, что «вопять кругом враги». Этот опыт естественно передается через историю и литературу и закреплен в культурных кодах. Это важно для поведения элит, взаимодействия с внешним миром по сей день.

Вот от этой страны 1533 года (в два нынешних федеральных круга) и началось ее расширение. Следующее, что важно помнить про нашу страну — это ее упрямство и поразительную способность к выживанию и относительно быстрому восстановлению после тяжелейших катастроф. В принципе если оказаться на таком месте между Европой и Азией, когда у вас конфликты везде — это еще надо выжить сначала. После прихода Батые с земель не очень богатых собирается двойная рента, происходит известное замедление развития. Еле спасли культуру — спрятали по монастырям. Потеря времени для развития и экономики, и городов, и дорог (римляне о нас не позаботились) была огромная, а догоняющее развитие стало нормой бытия.

Слайд 2 показывает откуда пошла будущая империя при Иване Грозном. Это Московское княжество с Новгородскими землями — два наших федеральных округа, земля бедная, мехов порядочно, но своих металлов нет, ни серебра, и свинца, ни меди, ни железа покрупному, а Степь — в 200 километрах на юг от Москвы. Борьба за выживание на этом месте, конечно, доминировала. Мы анализируем

тексты, события, но век за веком это было постоянное напряжение и постоянные расходы. Короли и нобилитет, дворяне и торговцы строили в Европе красивые соборы, замки и дома. А что у нас осталось из каменного строительства вне Кремля с тех времен? Английское подворье на Варварке, почти и всё. Отставание было намного больше, чем принято считать, если взять не только колебания доходов, но и потери активов и богатства, особенно людей, «человеческого капитала» при войнах и набегах. Так формировался тип личности, который во многом дожил до XX века и даже выдержал серию катастроф XX века. Эту страну и народ надо любить, какая она есть, и адаптировать (модернизировать, реформировать) от ее реалий, а не от желаемой нормы.



Слайд 2

В проблемы работ по трансформации, которая началась в конце 80-х — начале 90-х гг. меня ввел Евгений Григорьевич Ясин. Он пришел в ИМЭМО в декабре 1989 года и попросил помощи — тогда появилась первая идея программ (осенью 1989 г., говорят, была программа Гайдара — Машица и еще кого-то, но я ее так и не видел). У меня был и некоторый научный актив (капиталовложения, корпоративные финансы и деловой цикл), и опыт в полгода в США в 1979 по обмену эконометриками. В тот момент я, на память, один к Ясину и Явлинскому пришел: у меня был (и есть) коллега, который тогда был единственный, кто умел делать сезонную очистку, а моя будущая жена набила нам месячную статистику отраслей промышленности СССР за много лет.

Так что мы в феврале 1990 года подсчитали, что пик промышленного производства в Советском Союзе пришелся на ноябрь 1989 года. Так потом и оказалось. В марте 1990 г. мы готовили бумаги для серии обсуждений в Вене и Будапеште, тогда была первая статья о приватизации с Сергеем Алексашенко и «500 дней».

Особый путь России или нет!

- Нормальные люди после 1000 лет ненормальной истории с вертикалями, без мира и покоя...
- Карл Маркс: «В России абсолютизм, ограниченный царевубийством» — от Норманнов и Византийцев!!
- Лень хороша в 19-20 веках против тяжелого ручного труда, не охватывает творчества. Роботы скоро всех вылечат от лени — читайте Херберга!
- По границам СССР (и России) только на границе с Норвегией не было войны! А везде выборы — и вряд ли удастся уйти от регулярных обострений!..
- В русской армии не было офицеров без «опыта»!
- Азиатский способ коррекции режимов: от бесконечного стога к русскому бунту...
- Ответ россиянина на все трудности всегда был «Ассиметричным и Адекватным!» И так будет!

Слайд 3

Я убежден, что нечего стесняться — это был, конечно, провал элит Советского Союза в том, чтобы найти способ избежать столько тяжелого кризиса и распада. Думаю, что 1990 год был последним, когда можно было сделать если не мягкую, но «полужесткую посадку» — падение ВВП составляло еще только 2%. Еще можно было договариваться и процесс по «500 дням», который вел Владимир Машин в команде Явлинского-Ясина, давал некоторые результаты при переговорах с другими республиками. Тогда еще не было такого отчаяния от кризиса, что нужно вырваться немедленно всем. А в 1991 году падение ВВП составило 16% — это уже совсем тяжело. Тогда рухнули межрегиональные распределения и стало ясно, что в Москве хаос, и тогда, конечно, местные элиты стали организовываться на выход. Н.В. Зубаревич говорит, что реформаторы «потерялись в пространстве», она имеет в виду, видимо, Россию. Но сначала меняющиеся политические элиты потерялись в пространстве СССР, потом они потерялись в своих республиканских пространствах (с учетом национальных меньшинств) — кто больше, кто меньше. И все не справились с защитой граждан от тяжелейшего кризиса.

Я собираюсь закончить в 2017 году третий том «Экономики переходных процессов», где будут собраны мои опубликованные и новые статьи по собственности, среднему классу и элитам. Может быть, решусь показать, как примерно могло бы выглядеть общество то ли Советского Союза, то ли одной России, если бы мы совершили трансформацию с очень низкими политическими издержками. Я понимаю, что это нереально. В данном случае я буду максимально реалистичен, потому что для фантастики у меня есть другой способ удовлетворения собственного любопытства. А пока просто отметим, что в то время никто не обсуждал то, куда мы идем. Получалось, что все по интуиции полагали: мы попадем из среднеразвитой страны плановой в средне-развитую рыночную, да еще с эффективностью и демократией.

1990–1991 годы – картина примерно понятна – кризис, конечно, не был бы таким, если бы не распад страны и одновременно распад СЭВа. Я помню, как мы с Е.Т. Гайдаром сидели на переговорах с канадцами в декабре 1991 года: в стране не было зерна, канадцы давали бесплатно зерно, не было денег заплатить за портовые сборы, топливо и вытащить свои суда с канадским зерном. В декабре 1991 года мой старший товарищ, с которым я до сих пор дружу, столкнулся с нехваткой хлеба в Петербурге (это для местных жителей). Он нашел зерно, на память, в Саратове, созвонился по вертушкам и обменял «по бартеру» зерно на питерские телевизоры под новый 1992 год. Таково было состояние России на момент старта. Дестабилизация во многом шла от распада хозяйственных связей — экономики Грузии, Молдавии и Украины сжались еще больше.

Рабочие потеряли больше всех — вместо роли главного, квази-привилегированного класса они оказались безработными, доходы рухнули и потом еще несколько раз за десятилетие. Низкоквалифицированные держались на работе за малые деньги, более квалифицированные или уходили, или по десять лет ждали возобновления производства. Бедная часть интеллигенции выживала на «челночной» торговле. Но все происходило так быстро, высвобождавшие рабочие и учителя на местах не успели войти в мелкий бизнес. Их место в розничной торговле, услугах и ресторанах во многом стали быстро занимать мигранты из других районов РФ и республик бывшего СССР. При более организованной приватизации можно было бы поддержать «своих местных».

Фактор времени — длина транзитивного кризиса в 10 лет — сыграл свою драматическую роль. В Центральной и Восточной Европе кризис тянулся в общем лет пять (1989–1994), а у нас десять (1990–1999). Семьи не могут выдержать такого кризиса: минус 43% и 10 лет

вниз. Люди не могут поддерживать новую демократию, не имея перспективы и надежды. Они срываются с места, теряют квалификацию, мигрируют и эмигрируют. Отсюда поток людей в Москву и большие города, с Дальнего Востока на запад страны, на Запад и тому подобное.

Массовая интеллигенция в СССР (учителя, врачи, инженеры) выросла на вложениях СССР в образование, науку, ВПК, но при низкой зарплате. Но она оказалась непропорционально велика мгновенно сузившейся экомомке (то есть случился инсульт). Советский Союз подготовил по разным причинам огромное количество интеллигенции, особенно инженеров, медиков и учителей, причем очень приличного качества. В массе они были людьми порядочными, верящими в справедливость, патриотами и хорошими профессионалами, но не в бизнесе, правда. Они поругивали советские порядки, рассказывали анекдоты, занимались туризмом, поскольку за границу не особенно пускали. Они так ждали демократии и справедливости, но не думали, что приход демократии изначально будет «за их счет», а «справедливости» не прибавится. Заметная доля ее была ввязана в оборонку.

Наука держалась на ощущении важности работы для страны, личной жажде открытий. Но экономически — на уравниловке, таланте и энтузиазме и — главное — на «дешевизне» ученого с интересной работой, как у Стругацких (на память): «Какие могут быть проблемы у человека, у которого есть интересная работа!». Как все, кто жил в то время, я знал гениев-бессребреников. «Эффективные менеджеры» еще не задавили гениев, поскольку надо было показывать результаты, а не отчеты! Но основная масса ученых жила по сути дела бедно, но чуть лучше среднего, в том числе академическая наука и все городки, где можно было сносно жить, но по нынешним понятиям «очень умеренно». В этой ситуации этого хватало для того существования, зато, конечно, ходили на байдарках и много читали, поскольку не отвлекались на общественную (политическую) жизнь в связи с ее отсутствием...

При низкой конкурентоспособности промышленности при открытии рынка, конечно, инженеры и рабочие стали избыточной рабочей силой, в том числе и избыточным стало само образование. Поскольку осуществить сколько-нибудь плавный переход не получалось, то ясно было, что большая часть отраслей не выдержит конкуренции.

Нашей трансформации искренне помогали многие люди на Западе. Очень многие к нам отнеслись прилично в 1990–1992 годы, хотя они мало понимали нашу страну и пришли с советами слишком общими и правильными вообще. Нам, например, пытались помочь с денежным союзом республик, Мировой банк пытался помочь сохранить торговые связи. Пятнадцать политических независимых элит в целом

ни с чем из этого не справились, ничего этого не сохранили, поэтому шло взаимное обрушение в стиле бессмертных «Фомы и Еремы». Там были эксцессы вроде запрета Грузии на торговлю с Россией (на мою память) и в Грузии обрушился туризм. Так что у нас ВВП упал на 43%, а в Молдавии, Грузии, Украине ВВП падение было 60%. В Грузии исчезли поставки Ставропольского края для туристов, потому что исчезли в том числе и туристы. И на коммерческом уровне это не восстановилось.

Массу негативных последствий можно было бы избежать, но это требовало очень большой координации, чего не получилось. Совершенно неясны были цели реформ. Все это было по умолчанию, по мечте каждого, но не сформулировано и не акцептовано, даже в программе «500 дней», но в ней хоть не было упоминания социализма. Ну нам сочувствующие коллеги говорили: «Ну, вы помяните социализм, и будет легче в продвижении Программы», но мы дружно отказались — не было веры. Хотя в то время было много реформаторов и прогрессивных людей, которые в 1989–1990 годах «до последнего» писали об улучшении социализма. В «500 днях» мы все-таки радикально «отломились». Говорю это не в похвалу нам, а потому что это уже было такое состояние умов. В отличие от Центральной и Восточной Европы (там на энтузиазме освобождения там приняли стандарт у ЕС — и все) у нас надо было бы достигать компромисса между надеждами разных слоев общества, регионов и наций — тяжелейшее дело.

Спасти социализм было нельзя в это время или надо было проводить намного более сложные реформы в СССР и раньше — не были готовы и не было чувства угрозы. И миллионы людей потеряли нормальную жизнь — ретроспективно за хладнокровным изучением статистики и законодательства, институтов трансформации нельзя терять картину массы личных драм и трагедий. Надо было заниматься масштабным кризисом системы, а проблема была в том, что не было никакого образа, куда мы идем. То, что прошло в ЦВЕ в более или менее однородных развитых странах на минус 25%, в бывшем СССР в целом пошло много тяжелее. Кстати стратегическую программу с таким образом будущего страны, который был привлекателен и реален, с тех пор так и не создали.

Не было согласия в том, куда мы попадаем и куда хотим попасть, хотя политики, конечно, всегда обещали подъем. Я полагаю, что всем хотелось демократии, не очень понимая, какая из этого вытекает у всех ответственность, в том числе и у субъектов, и у объектов политики. Стоял ли вопрос о справедливости? Конечно, подразумевался, хотя никто не ждал все сразу у всех. На слайде 5 показано то, как наш ВВП

относится к американскому за длительный период времени. Так что вопрос скорее — почему у некоторых так много, если у большинства так плохо. Брошюра Е.Г.Ясина с соавторами 2011 года показала, что только 20% россиян к этому году жила лучше, чем в Советском Союзе (но не вполне те, кто жил в этом квинтиле до реформ). Еще 20% жило примерно также и 60% (!) жило хуже, чем раньше. Разумеется, все квинтили граждан получили намного больше свободы слова и свободы передвижения и самовыражения, но большая доля хлебнула бедности после коллапса квази-эгалитарного общества.

Неясные цели трансформации, 1990

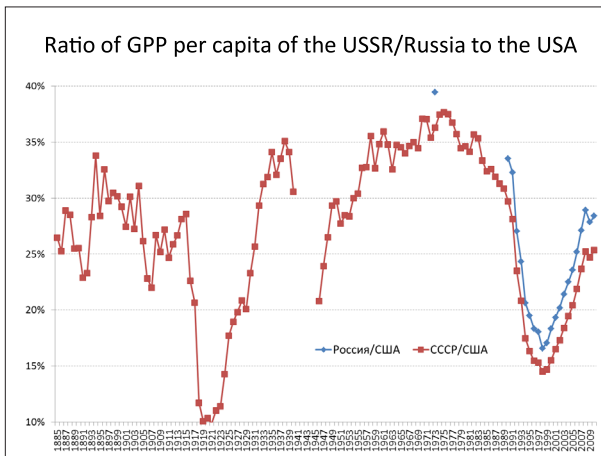
- Благополучие живущих в том время
- Выход из военной конфронтации с Западом
- Переход к нормальной идеологии (какой?)
- Образ будущего практически не обсуждался — по умолчанию должны были появиться сразу: благополучие (без очереди); демократия (в неясных формах); справедливость (как без нее?)
- Попытки предложить программу АНЭА с 2003 не прошли — и вот теперь ЦСР проводит опрос!
- Распад СССР не мыслился, национализм тоже
- Выход из конфронтации — наша победа (наивно!), а не поражение в борьбе с Западом!

Слайд 4

В любом случае я считаю, что претензии к «народу», которые как-то проскальзывают в дебатах, совершенно неверны и неприличны. Большая часть вынесла тяжелейший кризис, а наши эмигранты показали, что в институциональных условиях стран ОЭСР «россияне» (от всех народов) — отличные работники и тотально деполитизированы (кроме Израиля). Так что наши потери в этот период огромные: порядка двух миллионов людей в экономической эмиграции этих десятилетий обычно имеют высшее образование, успешно работают, следят за событиями в нашей стране и постоянно обсуждают, правильно ли уехали...

На 5 слайде показано, как Россия двигалась перед кризисом 2008–2009 гг. за предыдущие 125 лет. Состояние российской экономики после начала трансформации ухудшалось быстро, эйфория от демократизации и открытости быстро прошла. И принципиально важно,

что трансформация шла по трем параметрам: идеология, собственность с рынком в придачу и распад страны. Пятнадцать Центральных банков, печатающих деньги в 1992 году — это кошмар денежной системы. Мы получили гиперинфляцию за 4000% — это был просто разнос. Реалии приватизации — десятки тысяч предприятий за 3 года и преимущественно даром. Доход Минфина, формально показанный в бюджетах за десять лет, составлял 123 миллиарда рублей или порядка 11,7 млрд. долларов (официальные доходы бюджета по курсу рубля по годам приватизации — см. «Экономика переходных процессов», 2009, т. 1, стр. 509–512). Несколько десятков предприятий в Аргентине и Бразилии принесли 45–65 млрд. долл. Мне друзья в Минфине тогда говорили, что содержание Министерства приватизации было дороже, чем доход от приватизации.



Слайд 5

Я был один год председателем Комитета по иностранным инвестициям и подготовил программу о продаже предприятий. Я приводил к Е.Т. Гайдару иностранные компании, которые были готовы платить за некое предприятие примерно 50 млн. долларов за 20% акций. Им казалось это очень дешево, что это хорошая сделка. Это не прошло, поскольку отклонения от ваучеров были запрещены (в Чехословацкой «ваучерной» схеме их бы приняли «как родных» и продали бы). Я потом проверил и оказалось, что то предприятие было куплено тем же иностранцем, но за 85% акций они потратили где-то 20 млн. долларов через директоров и ваучеры. То есть мы отказались изна-

чально от бюджетного дохода за проданные доли, что могло бы помочь макростабилизации. А потом отказались от всех приватизационных выигрышей, которые подарили «хватким и удачливым», потому что разумной стратегией при захвате предприятия по низкой цене была трата денег на защиту собственности. Новые собственники, выждав, когда нормализуется обстановка, при его продаже получали приватизационные выигрыши в стоимости активов (capital gains).

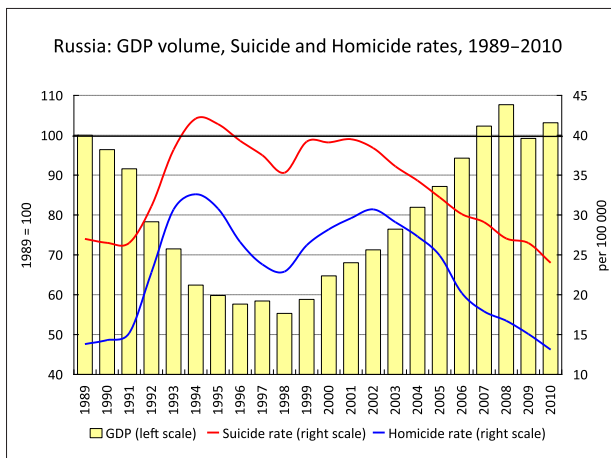
Претензии к приватизации обсуждаются давно — я собственно решил в свое время уйти из Правительства потому, что оно расхотелась с моими базисными представлениями о смысле процесса. Не буду повторять свою логику разногласий здесь — все опубликовано, например, в моей книге «Экономика переходных процессов». Здесь отмечу только два пункта: упущенная выгода продажи хотя бы части долей предприятий и тем самым снижения тяжести бюджетного кризиса; отсутствие широкого слоя собственников акций и через четверть века, что имеет, разумеется, и социально-политические последствия.

Я отпросился у Е.Т.Гайдара в августе 1992 года потому что, во-первых, настал «паралич» (потеря) всех счетов всех СП в России в ВЭБе. Во-вторых, в Законе о налогах (мне не присылали его на согласование по должности в декабре 1991 г.), забыли упомянуть вообще какой-либо специфический статус иностранного бизнеса в России, что обнулило все права СП в России (порядка 40 приличных предприятий). Гайдар выяснял у меня потом, как это вышло... И, в-третьих, иностранцев исключили из приватизации. Ну, так просто и все кончилось — у меня есть статья 2001 года в «Вопросах экономики» №6 — нечего было делать практически.

Второе — крайне редко упоминаемое — отсутствие массового акционера имело сложные отдаленные последствия, отмечу лишь: явную обиду граждан на отсутствие даже видимости справедливости по результатам приватизации; отсутствие массового собственника как защиты от национализации; ненужные мировые рекорды по производству миллиардеров. Западный взгляд на нашу приватизацию с водится к радости и похвалам за радикальность расставания с социализмом. После чего все больше насмешек за появление массы миллиардеров, которые как бы они объявились сами собой, а не из этой приватизации советских масштабных активов.

На слайде 6 красным обозначена относительный уровень самоубийств, а синим — это уровень убийств... Главное — это ужасный шок начала 90-х гг., и близость рисунков двух показателей и второй шок после 1998 года. Я напомним, что норма самоубийств в расчете

на 100 тысяч населения в 5 раз больше в крупных промышленных городах, чем в Москве. Обратите внимание, что их динамика совпадает и на второй год после 1998 года. Это косвенный, серьезный показатель состояния общества (кстати, городов, а не деревень) в ходе трансформации. На мой взгляд, некоторые политологи недооценивают тяжелейшие ситуации в семьях, когда выражают недовольство недостаточной зрелостью народа. У верхов интеллигенции после 1990 и особенно после 2000 года произошел переход на вполне приличные контракты, но это – совсем небольшая часть гуманитариев. Потом показатели на графиках вышли на те нормы, которые были раньше в 1989 году, как это ни парадоксально (хотя всегда есть подозрение по качеству статистики).



Слайд 6

Я попытался разложить это движение реформ по этапам. На каждом этапе акторы перераспределяет свои интересы и необходимо (в науке и прикладном анализе) возвращаться к тому, что та или иная важная социальная группа представляет собой по составу, благосостоянию, достигнутым «групповым» успехам и новым «вождедениям». То есть нет интеллигенции, которая, получив кусок хлеба через двадцать лет мучительной трансформации, не захочет честных выборов, снижения коррупции и т.п. Нет финансовой элиты, которая всегда хочет политически или экономически одного и того же, и вряд ли есть единство интересов ее частей (например, по курсу рубля) — неустойчивые компромиссы надо все время восстанавливать.

Теперь к классике – к Манкуру Олсону. Так жаль, что он не дожид до Нобелевской премии, которой он достоин. Новая финансовая элита после слома государственной собственности – сначала «бароны-грабители» по определению. Вопрос — они стали потом «стационарными бандитами»? Меняется ситуация — проходят годы, дорожают их активы — они опять хотят прихватить актив-другой? То есть они опять «грабители», а потом осваивают овые захваты как «стационарные бандиты». А потом подумали-подумали и решили еще чего-нибудь приобрести. И мы понимаем, что те, кто захватывал большие активы в стране, оказались фактически между четырьмя типами претендентов, «хищников» с их точки зрения:

- соседи по джунглям (иные бароны);
- государство (которое хочет доходов);
- иностранные бароны, которых не пустили в приватизацию;
- наконец, бедное население (этак процентов 60–80), которое не просит ренационализации (и партии такой нет), но хочет «справедливости» и не признает раздачу национальных активов легитимной — ничего с этим не поделаешь.

Я не жалею тех, кто захватил большие активы, но отношусь к этому как к историческому факту. Кто против? Во-первых, были очень недовольны иностранные инвесторы. В 1996 году на А. Чубайса на Западе стали «наезжать», что он не дал возможности купить ничего из нефти. То все были так счастливы от массовой мгновенной приватизации, то вдруг расстроились. Во-вторых, мы понимаем, что российский народ, как и многие другие народы, не любит крупных собственников, внезапно объявившихся неизвестно откуда. Это психологически понятно — и легитимность крупной собственности в стране не решена. Мы с А.А. Курдиным опубликовали об этом статью в январе 2016 в «Вопросах экономики». В-третьих, были блуждающие бандиты, которые стали стационарными. Если ты чуть зазеваешься, то они могут сыграть роль барона-грабителя в индивидуальном порядке, если не в общественном. И, наконец, было государство, которое спало-спало, раздавало, думало, что счастье будет враз.

А что оно получило взамен? Мы понимаем, что, конечно, олигархи, видимо, мало что платили на аукционах в 1996 году. Но зачем, имея такие дефициты, влезли в такую историю с шестьюрублевым долларом на много лет, влезли в эти ГКО, безумные внешние займы. Что мы с этого получили? Экономический рост, инвестиции? Практически, нет. Я не буду влезать в макроэкономику, это дело более или менее разобрано, мы это внутри страны не обсуждаем, нам неудобно. С такими долгами можно было остаться в стагнации — цены на нефть подскочили и помогли.

Я опубликовал это в своей книжке 6 лет назад, и вынужден повторить, что все еще рано для объективного анализа. Те люди, которые делали революцию, те люди, которые получили активы, основные бенефициары, они слишком молоды и богаты. Как говорил Карл Марк (на память): «Англиканская церковь легче перенесет нападки на девять из десяти ее догматов, чем на одну десятую своих доходов». Этого нельзя трогать потому, что у него миллиард, этого — потому, что министр, этого — неудобно тронуть потому, что он в тюрьме, а этого — потому, что он умер. Эти люди будут у власти еще 10–20 лет, фактически обладая властью. Я хорошо помню большую часть олигархов, когда они торговали компьютерами. Один из олигархов в частном разговоре признался мне в начале 90-х: мы продавали продовольствие, пришедшее по бесплатной помощи с наценкой, но мы «по-божески» его продавали. Так что сделать с крупной собственностью ничего радикального нельзя — я много раз обмозговывал разные варианты — общественные издержки были бы чудовищные — надо искать «мягкие» варианты расширения социальной базы собственников.

Давление извне на страну создает проблему для людей, которые получили большие активы, создает угрозу отбора контроля. Отсюда для многих самым правильным стало продать все и бежать. Вы можете найти огромное количество наших миллиардеров на Западе, которые купили себе билет в западное общество, приобретя какой-нибудь клуб, например, футбольный или другой. Приезжают профессора из университета, куда он дал грант, где есть профессор имени его. Приезжает прогрессивный иностранный профессор и рассказывает нам, что он «имени олигарха». Тот просто уехал и продал все. Другая возможность — это, сидя на Западе, управлять из оффшоров. Причем, всё висит на оффшорах, потому что эта вся приватизация не дала возможности держать все внутри. У меня есть такая статья про «эффект трамвая». Обычно все ждут, трамвай подходит, пробивается толпа и все кричат: «Подождите, подождите, пустите меня», а как только человек заходит, то можно закрывать двери и ехать дальше. И олигархам надо наконец-то договориться, «закрывать дверь» и перестать кого-то «выкидывать в окно», но и перестать «впускать кого-то». То есть взять амнистию и уехать на «трамвае». Я опубликовал это пару лет назад. Нельзя бесконечно пускать кого-то или выкидывать кого-то, так как это создает неустойчивость. Естественно в этой ситуации возникает проблема с интеллигенцией, как со средней интеллигенцией, которая была когда-то. Кстати, кто такие были челноки, в профессиональном плане? Значительная часть по профессии были учительницами начальных классов, инженерами и так далее. То есть

это был все-таки образованный мидл-мидл-класс, опущенный почти до уровня бедности, который приспособился. У него не было шанса стать мелким предпринимателем внутри, потому что они не успевали выжить, в это время на их место уже вошел частично миграционный элемент (в торговлю, в ресторанный бизнес). Внутри бывшего Советского Союза произошло смешение слоев. Естественно, начался уход на Запад. Я когда-то опубликовал данные о том, что пару миллионов образованных людей мы экспортировали: это хорошо, если только пару миллионов. Полмиллиона видно сразу — говорят, 300 тысяч в Берлине, 300 тысяч в Лондоне. Это образованные люди, там нет сантехников, рубщиков мяса, водителей автобуса. Большинство из них остались еще гражданами России, но их нет здесь, их нет на политическом поле, они не прижаты, им не надо бороться. Говоря об отдушине, я повторяю то, о чем говорил утром. Это 25 глава 1 тома «Капитала». Почему в Америке не сложилась европейская революционная традиция? Карл Маркс закончил обещанием неизбежного взрыва в 24 главе, а в 25 главе объяснил то, почему в Америке нет революционных движений. Потому, что активный элемент создает газеты, профсоюзы и партии во время подъема, а во время кризиса «снимается» и уходит. Естественно, экспортировав такое количество образованных, здесь мы как-то выживаем потихонечку. В значительной мере остался сарказм, забота о том, чтобы пристроить детей. И тем самым на фоне огромного роста высшего образования, творческая часть, возможно, постепенно сужается. Как марьянорощинский мальчишка, не ставший хулиганом потому, что мама была учительницей, очень хорошо представляю себе этот процесс, так как я вырос среди учителей, физиков, военных и даже одного посла и одного художника — лауреата Государственной премии — все в одном школьном классе.

Политического влияния интеллигенции мало, но мы живучи до невозможности. Здесь в аудитории уже мало пожилых людей. Я хорошо помню конец 50-х годов, когда появились дамы, которые учились в Институте благородных девиц и они учили английскому языку. Наша живучесть как интеллигентского класса выше, чем мы думаем, но мы должны думать о том, как мы выживаем и как мы общаемся с собственными детьми и друзьями. И мы должны создавать что-то новое и интересное на русском языке, если хотим сохранить его и свои позиции в мире. Это является одним из важных моментов. Если мы будем только стонать и говорить, что мы – то ли особые, то ли не особые, то из этого ничего не выйдет. Мы должны создавать новый культурный, научный и прочий продукт, мы должны продолжать доказывать, что мы интеллектуальная нация. И если мы хотим, как ни

парадоксально, выжить, то мы должны, на мой взгляд зацепиться за то, что мы являемся очень творческими людьми.

Понятно, что гастарбайтеры извне замещают нижний уровень, верхний как-то проседает, и значительная часть молодого поколения, вместо того, чтобы стать рабочими, расширяется в армии МВД, гвардии, МЧС. У нас, по оценке, до полутора миллиона охранников в стране. Они все спят на работе, возможно, они решают демографические проблемы страны. Важно то, что у них есть семьи, хорошая зарплата и им абсолютно не грозят ментальные проблемы, кроме скуки. А креативный класс сжимается до небольшой интеллигенции и несколько замученных предпринимателей. Остальное – это собственники из-за рубежа, управляющие активами, юристы и армия, МВД, МЧС и нацгвардия, которые все это охраняют. Она охраняет собственность, сложившуюся в результате нашей замечательной приватизации, от захвата всеми остальными, в том числе иностранцами. Олигархи прекрасно понимают, что случае нормального либерального западного правительства, быстро выяснится, что у них много недостатков при покупке и их быстренько выгонят и перекупят. Они боятся и держатся за эту политическую элиту, в том числе потому, что она их защищает.

Важно отметить, почему мы — как страна- относительно хорошо переносим текущий кризис. Пропаганда начисто прозевала колоссальный бум товаров длительного пользования в 2010–2014 годах. Почитайте «Доклад о человеческом капитале» АЦ 2015 года, и адаптацию (неофициальная, конечно) целей устойчивого развития ООН к нашей стране (на 2030), которую мы сделали в докладе 2016 г. Мы понимаем, что часть этой нефтяной ренты ушла на пенсионеров, оборонку и частично вывезена, мы нашли все-таки то, что просочилось к населению, причем несколько шире богатых децилей. Мы — страна – перевооружили фонды домашнего хозяйства, особенно компьютерами, доступом к интернету, автомобилями. Поэтому мы относительно легче переносим этот кризис, чем прежние. Падение потребления большое, но у бедных тяжело. В значительной мере произошло сокращение потребления богатых. Когда падает продажа автомобилей с 3 миллионов покупок до 2 миллионов — это, конечно, не бедняки.

С малым бизнесом все не очень сложно. А в большом бизнесе не сформирован корпоративный контроль. Все толкуют про инвестиционный климат, но он нужен для фирм, у которых есть нормальная функция собственности, контроля, инвестирования, которые максимизируют что-нибудь для хозяина. Проблема российского бизнеса состоит в том, что здесь, в силу специфики контроля, нет нормальной функции инвестирования и контроля. Но для малого бизнеса, как

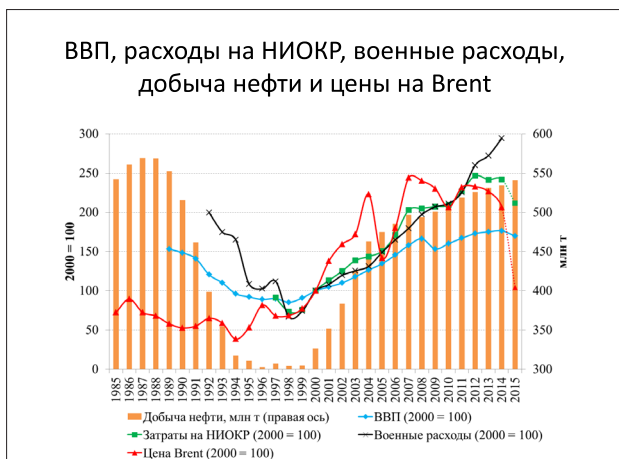
всегда, нужно немножко кредитов, помещения и чтобы у него ничего не отнимали.

Но в ситуации коррупции и в ситуации такого формирования, мы получили огромный слой малого бизнеса частично из мигрантов внутри или извне страны: я имею в виду торгово-ресторанный и прочие, которые, конечно, не полезут ни в какие схемы гражданского общества — только существуют. Ну, кто может выйти протестовать по поводу выборов или всего что обсуждалось? Ну, учителя, ну, инженеры, ну, бюрократы сами против себя частично. Младшие эксперты против старших экспертов? Но огромная масса малого бизнеса попала в такую ситуацию, когда она находится в коррумпированной обстановке. Они интегрируются, но это вопрос поколений.

Я поставил на один график сразу: добычу и цену нефти, НИОКР, военные расходы (слайд 7). То есть это один график, который исчерпывает любознательность политолога. Здесь есть всё, что нужно знать политологу, чтобы написать страниц 300 российской истории. Вот, тут появился рост военных расходов, тут цены на нефть. Да, но каков кризис 1990-х! Мы все-таки не сознаем, что в 90-е годы, ладно уж с политикой, но мы могли не выжить как страна и нация. Я читаю в основном книги по истории, но, по моим представлениям, мы были на грани развала. Идея нашего дальнейшего распада время от времени возникает. Она для нас теперь обострилась и даже, может быть, чрезмерно выразилась, в ряде действий политических элит. Но мы прошли через абсолютно немыслимый кризис... Причем, глубина нашего кризиса меньше, острота с точки зрения роли в мире, может быть, выше, чем в других странах постсоветского пространства.

Многие зарубежные политические элиты, не надо питать никаких иллюзий, нас не любили никогда. Да они и своих соседей не любили, но Россия была чужаком и опасным по впечатлению, действиям и нарушению равновесия время от времени. Я не сторонник пропагандистской шумихи о заговорах, но интересы есть интересы — различий в этом отношении наши реформы не отменяли, хотя мы отменили социализм.

Сначала нас не любили, потому что была Схизма в XI веке, а потом нас не было на карте. Потом мы стали возникать и первое эмбарго было против Ивана III. Есть переписка шведского и польского королей про санкции — звучат очень современно — вытащил из старых книг. Сначала был Иван III, а Иван IV и потом Петр реализовывали программу Ивана III, с его Софьей Палеолог, и со всеми вытекающими отсюда претензиями на 3 Рим и т.п.. Иван Грозный, кстати, держал Нарву 18 лет и нанимал датский флот из 4-х кораблей каперствовать в Балтийском море в пользу Московского царя.



Слайд 7

Появление нового гиганта державы было никому не нужно. У нас не было металлов, мы экспортировали в основном меха (куницу — откуда гривна кун) и ввозили все металлы. Представляете, какое впечатление произвели в Центральной Европе при Петре солдатики Меньшикова. Они отвоевывали немецкие крепости у шведов по побережью нынешней Польши, Германии. У нас есть проблема, что у Советского Союза, и в какой-то степени у России (ненамного лучше): мы воевали почти со всеми соседями. Мы являемся континентальной империей, у нас нет прокладки из океанов. Правда, есть Ледовитый океан, там тоже идет соперничество, но все-таки там холодно. Единственная граница, где мы никогда не воевали — это норвежская.

В 15–20 странах, которые нас окружают, раз в несколько лет проводятся парламентские, президентские и местные выборы. Всегда можно поговорить немножко о русских шпионах, о каких-то двусторонних проблемах... Надо к этому быть готовым. Это реальная фактор нашей истории, помимо геополитических разборок. И чтобы мы сейчас не делали, это может возвращаться эхом. Это реальная история, но она очень тяжелая. Так что фактор внешних элит в нашу эпоху — значит очень много для страны с нашей историей. Только очень наивные люди могут думать, что показатели поддержки (по опросам) того или иного, даже очень неожиданного и необычного события равно 86% по причине пропаганды. На самом деле тут много глубже и фактор изменения интересов внешних элит к России по определению не может быть только от наших действий — тут история постарше и поинтересней.

Моя идея в 2008 г. — в тех программных работах – состояла в том, что государство не может «встать» на гражданское общество и бизнес. Вылезти по одиночке, вдвоем из глубокого колодца невозможно. Надо бы втроем прижаться спинами и ползти вверх. На сколько это актуально? Я думаю, что уже нет: государство «встало» на гражданское общество и бизнес, но не «вылезло» до конца. В стране с таким неравенством не может быть чистой либеральности. Хорошо, во время подъема за 2010–2014 гг. «просачивание» доходов заметно ниже верхних децилей. Все равно, вы не можете сделать субсидирование и таргетирование на половину населения. Вы не можете сделать массу вещей, пока не сделаете еще несколько шагов к более сбалансированной социально-экономической структуре.

Внутри страны происходит перепад между регионами и слоями, как в ООН между Бангладеш и Италией, может быть, исключая самые края. Это очень сложная страна, и в ней нельзя куда-то двинуться без поддержания равновесия между частями. У Уильяма Эшби есть такая теорема: нестабильность больших систем с большим количеством взаимосвязей. Большие системы стабильны, если мало связей между частями. Тогда дестабилизация одной части, если она мало передает, то можно стабилизировать систему, даже если какая-то часть нестабильна. Если связи большие, то дестабилизация любой части немедленно дестабилизирует всю большую систему. А мы являемся большой системой с большими взаимосвязями. Поэтому нужно решать проблему договоренностей между элитами, социальными слоями, регионами, иметь колоссальное терпение, искать компромиссы.

Интеллектуалы в избытке

- Если развитая страна опустилась по сложности производства – она экспортирует «мозги»
- Места в реформах, начиная с приватизации, не нашлось... демократы пошли на выезд, особенно жалко студентов, которые греют чужие фирмы
- Даже Нобили «Там» появились – будут еще...
- Бюджетники, Образование и теперь Наука постепенно сжимаются к уровню страны с этим типом производства, экспорта и государства
- Интерес потерян – осталось: сарказм, пристроить детей и сохранить свой интеллект
- Политическое влияние мало – по бедности и потери роли в производстве, хотя в Оборонке еще живем.
- В сущности они очень живучи – даже удивительно...

Меня бывает спрашивают о том, как я сам-то переною эти четверть века. Я должен сказать, что я выживаю вместе со всеми, как гражданин, с массой неприятностей. Как экономист, я все время придумываю что-нибудь такое, чтобы сделать и помочь стране. А как историк, я, конечно, наслаждаюсь всем вокруг, потому что многое понимаю — это феноменально интересно. Было, правда, очень плохо, когда понимал, что происходило что-то «не то» по моим представлениям.

Ниже у меня есть 4 слайда моих работ по «транзишину». Это тоже не все, но я решил, что это часть моего «награждаемого лица», и должна быть предъявлена. В августе 1990-го года я написал, что у нас пройдут реформы и будет единое мировое хозяйство после реформ. А в августе 1991 года выходит статья под названием «Экономика — новая фаза кризиса». Е. Гайдар писал в «Коммунисте», а я писал в «МЭиМО». Он писал на инсайдерских материалах, а я писал про Советский Союз также, как писал бы про Мексику. Была у меня тогда статья, опубликованная, когда я был Председателем Комитета по иностранным инвестициям. Я все написал о том, как надо было бы делать. Потом — уже в 2008 году мы насчитали примерно 40–44 группы интересов, а это реалии. Здесь есть статья, которую я сделал в 2010 г. на историю «500 дней». А если бы я писал Программу, то ради сохранения оригинальности и интеллектуальности страны, писал бы ее от и для интеллигенции.

**Без компромисса между основными
игроками нет «Большого плана» развития»**

- 25 лет с «500» и всех тех надежд...
- Страна не смогла сохранить уровень развития при переходе от среднеразвитой плановой до рыночной – растеряли и уже в опасности.
- В стране с таким неравенством не может быть чистой либеральности или простого дирижизма.
- Стратегии и Большой цели за 25 лет так и не сформулировали – только «кушли от социализма».
- Интересы элит стали защитными: массы не в восторге; государство зажимает; внешний мир выглядит опасным.
- Впереди – если сможем договориться – ГИБРИДНАЯ политика на одно-два поколения... При внешнем нажиме – особенно.
- Дальнейшее развитие возможно при компромиссе целей основных игроков внутри страны, еще Евразес, БРИКС, ОПЭК, Евросоюз, НАТО – надо договариваться.

Слайд 9

Статья о «трансформация элит», из которой я вычерпал часть этих подходов, выходит на действительность сегодня, но все менялось у наших акторов и все будет меняться. Будущее все равно стоит на

разумном понимании того, кто мы есть. Особые мы, или нет, но нам нужно найти способ в динамике соответствовать меняющимся интересам многих групп. Возможно, это очень сложная интрига, но, я воспользуюсь случаем, я занят важным делом, я завожу в русский язык одно общеславянское слово, оно есть в Словении. Это славянский эквивалент, синоним слова «интрига». В русском языке есть выражение: «сплести интригу», есть «сплетня», а изначально «интрига» в наших языках — это «сплётка». Нам нужна очень сложная национальная «сплётка» для завершения трансформации.

В заключение неполный список моих работ по нашему транзишину. Страна меняется — я стараюсь помочь, руководствуясь обязательно принципом «не навреди», а потом реформирую. Во всяком случае на всех этапах преобразований я придерживался вполне простых (не радикальных) взглядов. И не стесняюсь показать своих работы с самого начала. Спасибо!

Будущее важнее Истории!

В начале реформ - 1

- «К единому мировому хозяйству» // Приложение к «МЭиМО», 1990, #8
- «Без акционеров нет рынка» — А. Вавилов, Л. Григорьев, В. Мащиц, В. Мусатов, Б. Федоров // «Известия», 5 апреля 1990
- Переход к рыночной экономике (программа «500 дней» в соавт.), М., 1990.
- Soviets Need a Unified Free Economy. New York Times, September 12, 1991
- Проблемы приватизации в СССР (в соавторстве с С. Алексащенко) — В «Проблемы перехода к рыночной системе хозяйства в СССР и мировой опыт», часть 1 // ГПСИ ИМЭМО, 1991
- Леонид Григорьев, Евгений Ясин «Все поделить? О проектах российских законов о приватизации» — «Независимая газета» — 1 июня 1991
- Экономика СССР: новая фаза кризиса (в соавт. с О. Корчагиной, О. Ивановой) — Приложение к журналу «МЭиМО». — М.: Наука, 1991
- Ulterior Property Rights, chapter in «The Post-Soviet Economy». Edited by A. Ausland, Pinter, London, 1992
- Глазами инвестора, «Московские Новости», №23, 7 июня 1992
- Распределение собственности и контроля в процессе приватизации: последствия для иностранных инвесторов. — В «Иностранные инвестиции в России: тенденции и перспективы». — М.: «ИНФОРМАТ», 1995, с. 62-74

Что писал потом — 2

- Средний класс в России на рубеже этапов трансформации. — «Вопросы экономики», № 1, 2001, с. 45-61 (в соавторстве с Т. М. Малевой)
- Россия — десятилетие перемен / Глава 2 в «Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2000 год» — ПРООН, 2001
- Завершение первого периода реформ. / в сб.: Российская экономика на новых путях. — М.: Институт бизнеса и экономики, 2001, с. 8-14
- Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя. — «Вопросы экономики», № 6, 2001, с. 15-35
- Коррупция как препятствие модернизации. (В соавторстве с М. Овчинниковым) «Вопросы экономики» №2, 2008
- Послекризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций. (в соавторстве с С. Плаксиным и М. Салиховым) «Вопросы экономики» №4, 2008
- Инвестиционный процесс: накопленные проблемы и интересы. «Вопросы экономики» №4, 2008
- 500 дней на революцию сознания? В «ЭКО» №5, 2010, с. 6-19

Слайд 10

Еще писал — 3

- «Экономика переходных процессов» (свод работ 1989-2009 гг.) в двух томах – 530 и 580 стр. М., МУМ, 2010
- «Коалиции для будущего. Стратегии развития России». (Л. Григорьев, А. Аузан, С. Афонцев и другие – «Сигма»). РИО, Москва, 2007
- «Запрос элит на верховенство права». В «Верховенство права как фактор экономики» под. Ред. Е. А. Новикова. М., Мысль, 2013 – 2-е издание, 2016
- «Программы приватизации 90-х годов» В «Права собственности, приватизация и национализация в России» под ред. В.Л. Тамбовцева. М., Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2009
- Российские регионы. (экономический кризис и проблемы модернизации) под ред. Л. Григорьева, Н. Зубаревич, Г. Хасаева, М., ТЕИС, 2011
- «Элиты – Выбор для Модернизации» в “Russia: the Challenges of Transformation”, Piotr Dutkiewicz and Dmitri Trenin (Editors), NY UP, 2011

Слайд 11

И теперь — 4

- «Мировая экономика в начале 21 века» (учебное пособие – 90 пл.) под редакцией Л. М. Григорьева, «Директ-Медиа», М., 2013
- Цели устойчивого развития ООН и Россия. Под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева, Москва, АЦ, 2016
- Прогноз энергетики мира и России до 2040 года. Под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, Л. М. Григорьева, ИНЭИ РАН – АЦ, 2016
- «Структура социального неравенства современного мира: проблемы измерения.» (в соавт. с А. Салмина) «Социологический журнал», №3, 2013, с. 5-16
- «Трансформация России – для людей или для элит?» – «Полития», №1 (76), 2015 г., с. 114-139
- «Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России» (в соавт. с А. А. Курдин) – «Вопросы экономики» №1, 2016, с. 36-62
- «Социальное неравенство в мире – интерпретация неочевидных тенденций». Журнал НЭА, №3, 2016, с. 160-170.
- Grigoryev Leonid. Russia in the System of Global Economic Relations // Strategic Analysis. Delhi, Vol. 46. 2016. № 6. Special Issue: Russia in Global Affairs. P. 498-512

Слайд 12

CONTENT

Introduction.....	5
Authors.....	9
S. Hedlund. The Attraction of Extraction: Fundamental Institutions of Russian Long-Term Development Strategy.....	11
Yu. V. Latov, R. M. Nureev. Forks of development of the Russian power-property in the century-wolfhound 1917–2017	28
A. P. Zaoostrovtssev. “Service state” in the post-soviet Russia: II reincarnation of Muscovite matrix.....	46
G. L. Tulchinskii. Understanding of the Russian modernization inversions: from A. Ahiezer to S. Hedlund.....	69
P. A. Orekhovskii. The discourse of Russia’s modernization: inevitability of next Failure	91
V. M. Shironin. Modernization and reforms in Russia as dialogue of cultures.....	108
V. L. Tambovtsev. Culture as a factor of modernization: positive, negative, or indifferent?.....	119
A. V. Obolonskii. The ideology of a unique way, or «Unique way» into a civilizational dead end.....	135
A. N. Medushevskii. The myth of the Russian revolution: Structure, evolution and impact on social transformation of the XX century.....	156
P. V. Usanov. “New economic policy” in the light of Austrian economics.....	177

S. A. Afontsev. Evolution of industrial policy: General models and national priorities.....	190
LECTURES OF INTERNATIONAL LEONTIEF MEDAL	
LAUREATES 2016	208
I. Mikloš. The end of Economic Liberalism?	208
L. M. Grigoriev. The distinction between goals and the changing interests of actors in the course of transformation	216

Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь?

Под ред. А. П. Заостровцева

Технический редактор и сопровождение проекта Е. Н. Четвергова

Корректор Н. Н. Орехова

Издатель: Международный центр социально-экономических исследований

«Леонтьевский центр»

190005, г. Санкт-Петербург,

ул. 7-я Красноармейская, дом 25, литера А, пом. 6Н

Тел.: (812) 314–41–19; факс: (812) 570–38–14

karelina@leontief.ru

www.leontief-centre.ru

Подписано в печать 21.07.2016

Бумага офсетная. Формат 60X90 1/16. Гарнитура Minion Pro.

Печать электрографическая. Усл. печ. л. 13,8.

Тираж 300 экз. Заказ № 1586.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика

в копировально-множительном центре «АРГУС»

ИП Семенов М. Ю.

Санкт-Петербург–Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28/21, тел.: (812) 451–89–88

Свидетельство 78 №007196479 от 10.12.08